



*Анатолій
Мамідров*

ЗБРАННОЕ



ХУДШИЙ ИЗ ПОРОКОВ
ПЬЕСЫ ИЗ ПСИХУШКИ
НОВЕЛЛЫ ДНЯ



**АНАТОЛИЙ
МАЛЯРОВ**

ЗБРАННОЕ

ХУДШИЙ ИЗ ПОРОКОВ
ПЬЕСЫ ИЗ ПСИХУШКИ
НОВЕЛЛЫ ДНЯ

Николаев · «Илион» · 2013

УДК 821.161.1(477)

ББК 84-4

М 21

Видано в рамках обласної Програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській області на 2011–2015 роки

Свідки моєї одиссеї вже покинули нас. Доведеться читачеві повірити мені на слово. Тим більше, авторитет Фелліні говорить: «Єдине обґрунтоване право, на яке має людина, – це право свідчити про себе самого». Про кого б я не розпускав плітки, я говорю про себе. Автор.

Маляров А. А.

М 21 Избранное : Худший из пороков ; Пьесы из психушки ; Новеллы дня / Анатолий Маляров. — Николаев : Илион, 2013. — 322 с.
ISBN 978-617-534-140-7

Свидетели моей одиссеи уже покинули нас. Придется читателю поверить мне на слово. Тем более, авторитет Феллини гласит: «Единственное обоснованное право, на которое имеет человек, – это право свидетельствовать о себе самом». О ком бы я ни сплетничал, я говорю о себе. Автор.

УДК 821.161.1(477)

ББК 84-4

Літературно-художнє видання

МАЛЯРОВ
Анатолій Андрійович

ВИБРАНЕ

ГІРШИЙ З ПОРОКІВ · П'ЕСИ З ПСИХЛІКАРНІ · НОВЕЛИ ДНЯ

Російською мовою

Формат 60x84¹/₁₆. Ум. друк. арк. 18,72. Тираж 900 пр. Зам. № 534-140.

ВИДАВЕЦЬ І ВИГОТОВЛЮВАЧ

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Іліон».

54038, м. Миколаїв, вул. Бузника, 5/1.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1506 від 25.09.2003 р.

ISBN 978-617-534-140-7

© Маляров А. А., 2013



ХУДШИЙ ИЗ ПОРОКОВ

РОМАН

ПРЕДЫСТОРИЯ

В тридцать с небольшим утраты даются нелегко. Весной у меня не приняли заумный спектакль. Я скрежетал зубами и вострил лыжи. Но подошел наш пухленький главный, Анатолий Яковлевич, обозначил отеческую улыбку и прогудел:

– Не спеши. Поедем на гастроли. Я дам тебе комедию-самоигралку, пригласишь «олений», вывезут.

«Оленями» в труппе звали трех молодых, одаренных и независимых актеров.

...Первый день в чужом городе не снял напряжения. Редкая в наших краях чопор-

ность, много зелени, соседство вычурных старинных этажей в три окна с убогой панельной архитектурой. И полное сознание, что ты не котируешься. Слова директора-распорядителя – доказательство тому:

– Жить будете в гостинице «Арена», не один, с залуженным Пришибовским.

Я открыл рот возразить, но распорядитель не любил коллизий и подтолкнул ко мне начищенного, припудренного подстарка, недавно перешедшего к нам из Одессы. Я побрел с ним под ручку, внимая его вступительной речи:

– Коллега, ты умеешь снисходить к человеческим слабостям? Да или нет? Так вот я ночью выхожу. По два, бывает, по пяти раз. Мочевой пузырь. Не может же у человека быть все на уровне: и талант, и мочевой пузырь. Так эти пуресы не хотят со мной поселиться. А я так тихо все проделываю – ты и не услышишь.

Про Лео Вениаминовича я успел узнать такое: переодеваясь в театральный костюм, он тщательно проверяет содержимое своего кошелька и передает его помощнице. Сигареты покупает поштучно – из экономии. В универмаге, выбрав покупку, просит отгородить его в уголке, спускает брюки и достает из нашитого на трусы кармана с крупной английской булавкой деньги. Комик он профессиональный, но, не приведи Бог, ему подадут реплику неточно – в гримуборной будет истерика.

– Я так тихо выйду и зайду, ты не будешь в претензии.

– Ладно. Я сплю аки безгрешный. Но уж если вы меня потревожите...

Устроились в небольшом чистом номере с желтыми стенами и рубиновыми искрами на шторах. Телефон, горячая вода, чего еще надо!

В первый вечер Лео Вениаминович разделся, снял майку, вытряхнул ее в приотворенную дверь на проходящего мимо жильца и лег на спину. Одеяло натянул под мышки, руки выпростал и сжал сусликами над грудью. Я уснул сразу. И спал, как обещал, без движения и храпа. Где-то за полночь, по видимому, опасливо озираясь на меня, Лео Вениаминович выходил. Как он вел себя, можно только догадываться, однако

проделал все так тихо, что сам пришел в восторг и не стерпел, растолкал меня, что не так уж просто, и, сияя, спросил:

– Коллега! Ну, как я выходил?! Я даже тебя не разбудил.

Я не был в претензии...

Выйдя из ботанического сада, я чувствую себя одиноким: слишком красиво для рядового рабочего дня. Через короткое время войду в репетиционный зал. Т-образно стоят столы, снуют «олени» и занятые у меня «стариками», ждут от меня чего-то. А я не горю желанием навязывать им не слишком веселую комедию. Надоело скользить по поверхности, когда рядом с тобой, вон за теми роскошными, оставленными для нас старыми господами окнами, мои современники недоедают, не любят друг друга, воруют. Вместо обнажения пошлости и глупости нашей жизни, повальной несправедливости я в который раз преподнесу зрителю рассироленную, во всех инстанциях одобренную басенку, буду выжимать смех самыми непотребными трюками.

Я рад, что имею в резерве полчаса времени. Издали вижу крупную фотографическую рекламу. Наша прима Нина с полуобнаженной грудью и вытаращенными глазами. Два героя из комедии плаща и шпаги застыли в глубоком реверансе, шляпы с плюмажами на отлете. Частокол женских ног из оперетты дурного толка – я даже не припомню, из какого это спектакля. Репертуар у нас серьезный.

Под афишами стоят две девушки, обе в зеленых летних платьях различных тонов и покроев. У одной пышные каштановые волосы ниспадают на спину, другая прижимает ладони к губам. Изучают названия пьес и имена исполнителей. Пришибовский выходит из-за стенда с его изображением.

– Ты видишь, больше не нашли моих фотографий. Только в двух ролях. А я играю здесь в трех спектаклях.

– Ради Бога, не огорчайтесь. Пройдет два-три спектакля, и в городе только и будет разговоров, что про вас.

Заметив пристальный взгляд, которым я смерил девушек, Лео Вениаминович плутовато ухмыляется:

– Можешь разыграть красавиц. Я подслушал. Вон ту, рыжую, зовут Женей, а другую как-то странно, Це-це, Цецилия,

что ли. Ты же молодой, подойди, подпусти тумана, пусть знают наших.

Я хочу пройти мимо. Он преграждает мне путь и, ласково беребя за плечи, подталкивает к девушкам. Сам исчезает так же лихо, как и появился.

– Доброе утро, девушки! Я хочу наняться к вам гидом.

– Вы из театра?

– Да, Женя.

– Что? – Она огорошенно вскинула густые и, в отличие от волос, не рыжие, а черные брови, засмеялась: зубы прелестные. – Вы за нами следили? Приятно, очень приятно.

– Да нет, я только подошел.

Ей можно дать двадцать лет. Чистый овал лица, не худенького, но с тонкой кожей, густые волосы венчиком встают надо лбом и спокойными волнами уходят за плечи. Большие голубые глаза с черными ресницами. Хороша у нее фигура! Тяжелые груди делают девушку старше своих лет, изящный изгиб талии и развитые бедра. Легкое платье играет под летним ветерком и переливается многими зелеными оттенками...

Рядом с Женей подруга, которую Пришибовский назвал Це-це, выглядит бледно: худая, излишне поджарая, с печальным выражением лица и раздражающей россыпью мелких родимых пятен на шее. Она не остановила на себе взгляд, и потому я настойчиво смотрю на нее.

– Не следил, но знаю, что вас зовут Це-це.

Женю донимает новый приступ смеха.

– Не лукавьте, следили вы за нами. И сейчас говорите неправду. Как же верить вашим словам о спектаклях, если вы с самого начала дурачите нас.

– Я послушный мальчик и не лгу. Не я выследил вас, а вон тот великолепный артист, что приближается к служебному входу. Он мне все о вас сообщил.

– Нехорошо подслушивать.

– Ему нет нужды подслушивать. Он гипнотизер. Он усыпил вас и выпытал все, что ему нужно. Вы и не заметили.

– Вот какие у нас артисты! – вставила Це-це не без иронии.

– А вы приходите на спектакли. Он после поклона в конце съедает зрителя. Любого, по желанию жертвы.

Жене нравится разговор, который и на разговор не походит. Она переводит взгляд с одного щита с фотографиями на другой и спрашивает, по-детски тыча пальцем в костюмированные фигуры:

– А этот принц чем занимается?

– Он околдовывает женщин с первого взгляда.

– А эта толстая старуха?

– Это – победительница республиканского конкурса на лучшую тещу.

– Послушайте, что у вас за театр!

– Приходите на спектакли, увидите.

– А вы, случайно, не зазывалой работаете?

– Скромный распространитель билетов, – я дурашливо кланяюсь. – Борзовик, с вашего позволения.

– О, теперь многое проясняется. Доставайте билеты, будем брать.

Мне очень нравится Женя. Я сознаю, что не по Сеньке шапка, но на всякий случай достаю пригласительный на две персоны, выпрошенный у администратора для горничной, протягиваю Цецилии, чтобы уравнять шансы девушек.

– Прошу. Сегодня открытие, все билеты проданы. Это на завтра.

– Сколько это стоит?

– Театр готов доплачивать таким очаровательным зрителям.

Я хочу понравиться и нажимаю на педали со всей мочи. Чувствую, порох на сегодня кончается, поспешно прощаюсь.

– Жду завтра к девятнадцати.

Удаляюсь продуманно небрежной походкой, про себя закливаю: придите, придите!

...Моя трактовка пьесы звучит странно. Главный говорил о комедии, а я вижу трагикомедию, скорее, драму. А юмор? Есть много юмора, он печален, как в жизни, – смех над собственным бессилием.

«Олени» ухмыляются. Они легки, современные, они не голодали, их любят режиссеры и женщины, больших потерь они еще не знают. Я говорю им, что скучно смотреть на персонаж,

который весь сверху, пусть зритель больше догадывается о его переживаниях. Не надо разжевывать и подавать буквально и слова, и мысли, общепринятые прописные истины уже изрядно надоели.

Сегодня я никого не могу убедить, чувствую себя опустошенным. Повторяется история с проваленной постановкой. Там я не сумел повести за собой, а может быть, кому-то выгодно было убедить меня, что я не смогу повести за собой.

Так проходит первая репетиция.

Так проходит и вторая.

Жду вечера, бреюсь, принимаю душ в гостиничном номере, наглаживаюсь.

– Коллега, как тебе девочки?

– Какие? – Я понимаю, о чем Лео Вениаминович, но притормаживаю.

– Мешегине! Можно подумать, что ты прихорашиваешься к Анатолию Яковлевичу.

– Ах, вы о вчерашних? Одна лучше другой.

– Ну, желаю успеха!

Он лежит поверх одеяла в одних трусах с нашитым карманом, нога на ногу. Он мыслит. На физиономии выразительная игра чувств.

– Как опытный ловелас, просвети меня, во что обойдется приглашение двух дамочек в ресторан?

Неожиданно. Собственно, в логике характера Пришибовского.

– По полторы сотни на душу.

Он резко, слишком резко для пятидесяти лет и его радикулита, садится.

– Ты с ума сошел! И ты позволяешь себе такое?

– Если вы позволите?..

– Стоп! На что намекаешь? Не собираешься ли ты угощать на одолженные тугрики?

– Лучше не идти?

– Нет, нет. Ты иди, ты же молодой. Славные семиточки.

Однако коллега отворачивается к стенке, не желая участвовать в эдаком неразумном расточительстве.

Четверть седьмого пополудни. Жду, прячусь за рекламными щитами, за витражами фойе, неудобно перед своими.

Женя подходит одна. Платье – накидка из вишневого шелка. Она старше двадцати лет, величава и недоступна. От этого я внутренне отстраняюсь, чуждаюсь ее. Встречный ветерок поднимает крылатку, показывает обтянутые таким же шелком груди. Они большие, и мне хочется, чтобы это мне не нравилось, раздосадовало меня. Ну ее к лешему!

Она не ищет меня взглядом, она идет прямо на щит, у которого я пригорюнился, непоколебимо уверенная, что ее ждут со вчерашнего дня.

– Добрый вечер! – произносит она, вздохнув, словно после стометровки, и едва заметно закатив глаза.

– Вы так спешили...

– Я спешила извиниться. Цилия не может сегодня. У нее завтра экзамен.

Я хочу выразить полное удовлетворение стечением подобных обстоятельств, но такт требует своего:

– Жаль. Никого так не жаль, как студентов в июне! Она где учится?

– На экономическом. Третий курс.

– А вы свободный человек? – решаю спросить напрямик.

Сияние глаз притупляется, левое веко заметно прищуривается, что-то прячет.

– Мы однокашницы. Только я... мне нужно было досрочно сдать.

Мы протискиваемся к входу. Она подает пригласительный билет. Контролер, даже не глядя на тисненый картон, вежливо кланяется мне с эдаким пониманием сути. Проходим, как в собственный дом.

Мы весь вечер молчим: она в плену у искусства, а я у нее в плену.

Провожая девушку домой; нам хорошо. После говорливого проспекта, в полутьме, упрятавшей все городские изъяны, пошли каменные переулки, голые, пахнущие заночевавшим здесь солнцем, но без единого деревца.

Женя вдруг останавливается.

– Нам лучше расстаться здесь.

– Вы уже дома?

– Почти. Улица Сельробовская.

Молчу, мне кажется, что я испортил вечер, во всяком случае, отдалил девушку, не в том жанре держал себя.

– Вы что умолкли? – тормошит она меня.

– Думаю... Не познакомить ли вас с моими «оленьями».

– Не врублюсь. Помимо Пришибовского, вы привезли с собой животных?

– Это молодые артисты. Модники, стройные, с хорошими лицами. Стремительные и благородные, как олени.

– Приманка?

Звучит тихий смешок, и я вижу перед собой взрослого ребенка, с лица которого постепенно сходит сияние, оно гаснет, нежная кожа стынет. Холодею и я.

– Пусть это называется так, только приходите.

Она подает руку, в пожатии – понимание и намек. Она удаляется, не оглядываясь, я могу без помех рассматривать ее движения под косыми и яркими фонарями. Сноп волос золотится и в такт шагу вздрагивает на плечах, платье длинной юбкой полощется на высоких, хорошей лепки ногах. Мой взгляд падает на увеличенную тень. У Жени даже тень прекрасна! Черт знает, что приходит в голову, когда смотришь вот на такое уходящее чудо!

День неприятностей. С утра Анатолий Яковлевич бочком протиснулся в створку двери. Он легче прошел бы прямо.

Наш главный очень неприятный человек на репетиции. Полезный, но неприятный. Но сегодня, в присутствии признанного мастера, у меня работа идет живо и продуктивно. Является любимец публики, один из «оленей» – Олег Сидяев. Я не замечал его отсутствия.

– Андреевич, – шепчет он сценически через зал, да так, чтобы ни для кого не пришлось повторять. – Вас просит к телефону Женя. – И повторяет: – Женя!

Вот тебе раз! Тайный страх шибает мне в затылок. Я с подчеркнутой благодарностью киваю, иду в вестибюль, из рук дежурной беру теплую трубку. Это пальцы и руки холодеют.

– Слушаю, Вилава.

– Я не знала вашей фамилии. Николай Вилава – звучит. У меня минута времени.

Женя в трубке – обладательница низкого контральто. Ей больше лет, больше той прибавки, что я уже дал. Хорошо, совсем близко к моим годам. Вслушиваюсь.

– Я сегодня прийти не могу.

Молчим оба. Я потому, что свершилось то, чего я ждал и боялся, а она молчит по не известным мне причинам.

– Только сегодня?

– Да. Завтра я вам позвоню. В гостиницу.

– Минуточку, я вспомню номер...

– Я знаю.

Еще одна черта натуры: все, что ей нужно, узнает без посторонней помощи.

– Я вас очень прошу – позвоните. Я вам кое-что обещал.

Она получает удовольствие от моего волнения, вернее, от моей натужной сдержанности.

– А вас где искать, в случае чего? – походя спрашиваю.

Я явно спасовал, потому долго не слышу ответа.

– У меня одно условие игры, – наконец звучит в трубке настороженно и строго, совсем не в духе нашего общения. – Вы никогда, ни при каких условиях не должны меня искать.

Я лишаюсь всякой возможности возразить.

– Я буду ждать вашего звонка. С шестнадцати до восемнадцати.

Я кладу трубку, чтобы этого не сделала она. Бестактно? Не похоже на меня? Но если первой положит она, это навсегда.

...Пришибовский снимает майку, вытряхивает ее в приоткрытую дверь на прохожих, надевает снова, натягивает рубашу и говорит:

– Я пошел. Перекушу, пройду и – на спектакль.

Потом, одетый, смотрит на ручные часы.

– А ты все будешь сидеть – ушки топориком?

Стоит, не уходит.

– Люди, когда читают, переворачивают страницы.

Пауза.

– Тебе помочь? – Проверяет ощупью состояние своего лица перед зеркалом. – Может, сказать главному, что ты на больничном?

Выходит за дверь, возвращается, думает вслух, как в старой драме:

– Конечно, такой шанец случается раз в жизни и совсем не с каждым иудеем.

Лео Вениаминович считает, что он сказал много и веско, можно спокойно идти обедать и играть комедию. Выходит тихо, точно из больничной палаты, спиной прикрывая дверь.

Она звонит. Я жду, пока трижды прогудит зуммер, снимаю трубку:

– Как дела? – спрашиваю.

Самый банальный вопрос ставит ее в тупик. Она толком не находит что ответить.

– Не спрашивайте...

Она хотела парировать непринужденной общепринятой репликой. Получилась нешуточная просьба.

– Вы меня умышленно интригуете?

– Да. – Ей удается упростить тон.

В ее короткой борьбе с собой я чувствую нечто непростое. Девушка на распутье. Хорошо, если это просто уход от одного поклонника и приход к другому. Господи, как я усложняю обычные житейские перипетии!

– Заходите! – ни с того ни с сего слышу свой бойкий голос.

– Куда? В театр?

– Да нет. Попутно, сюда. В театр пойдем вместе.

Я перегибаю палку, со страху, что ли.

– Я подойду к «Арене» через полчаса. Идет?

С глазу на глаз я не столь решительный. Кроме того, понемногу собираются трезвые наблюдения. Пока обмениваемся пустыми словами: «Лето у вас холодное», «Дожди шли долго», – замечаю, что восторженность Жени припорошена другими, менее яркими эмоциями, голос глуше. Вот! Под левой щекой умело припудренная ссадина, похожая на засос. Я мог бы не заметить. Но я замечаю все. Болтовня продолжается: «Парков у вас много», «Старинный город, издавна благоу-

раивается, люди не разучились сажать деревья»... Но я не узнаю прежнюю живую девчонку. Что-то все-таки случилось в последние сутки. Она устала, словно после дальней дороги.

В зрительном зале она не меняется, с началом спектакля косым взглядом замечаю, что очарование старого, может быть, отжившего свой век искусства слегка подчиняет ее.

На сцену врывается Лео Вениаминович в роли обаятельного подтопанного простака. За спиной вспыхивают очажки смеха, потом перерастают в хохот. Как бы преодолевая груз забот, Женя смеется.

...Близится полночь. Оставлен беззаботный смех в стенах театра. Идем по опустевшей с диковинным названием улице. Что-то недоступное, необъяснимое заполняет пространство и сжимает, глушит звуки, движения, притупляет мысль, что-то опасное, известное с чужого голоса. Я не лишен красноречия, но не могу придумать ему названия, боюсь трогать... потому болтаю: «Так я познакомлю вас с «оленьями». Женя долго освобождается от своих мыслей. «Со всеми вместе или с каждым в отдельности?» «Как пожелаете». «Начинайте». Боюсь, что я ей наскучил и эта наша встреча – последняя. И вдруг слышу:

– Послезавтра обязательно встретимся, – повелительно, нежно...

– Это для вас важно? – как бы со стороны слышу свой голос.

– Если бы вы знали, как важно! – по слову, раздельно произносит девушка.

Я делаю шаг к ней, получается очертя голову. Злюсь на себя за все мои прежние грехи, на нее – за ее чистоту и недосгаемость. Беру ее лицо в ладони и, скорее, вспоминаю, чем вижу при свете старинного фонаря над головами – ее синяк на шее.

– Это не ссадина, – отвечает Женя на мою заторможенность. – Это поцелуй. – Потом рассудительно и строго: – Только пусть он вас не огорчает. Это совсем не то.

Спросить у нее, не замужем ли она, не подвергалась ли насилию в течение прошедших двух суток. Глупо.

– Вы придете, – шепчу уверенно...

– Я пришла сегодня. И как только смогу, приду...

...Двадцать три часа. Пришибовский вытряхивает майку в проем двери, надевает и сусликом ложится. Я давно гляжу в потолок, вспоминаю. Она убежала; присела, нырнула под руки и убежала. Миновали сутки, я репетировал, ждал ее звонка, стоял в маске палача с топором в последнем акте трагедии «Мария Стюарт» – ждал ее звонка, вот лежу ухом к аппарату – и жду.

Лео Вениаминович спрашивается:

– У тебя есть деньги?..

– А что?

– Может, жевать нечего?

Услышать от коллеги намек на предоставление кредита, ну, знаете!

Хорошо же я выгляжу. Надо отвернуться к стенке. Думаю: надо изыскать способ и разочароваться в Жене, на этом пожаре мне ничегошеньки не выгорит. Она с причудами, с завихрениями.

Двадцатилетние студентки третьего курса, да еще экономического факультета, так себя не ведут. Потому у нее и нет надежного кавалера, несмотря на всю ее незаурядную, даже отпугивающую красоту. Но чего она от меня хочет? Если девушка легкого поведения, живет за счет гастролеров, то пора бы уже тащить в ресторан, проявить хоть какие-нибудь свойства натуры. И куда она исчезает через день? Может, она все-таки замужем, ведет двойную жизнь? Потребовать объяснений? Но по какому праву? Я ведь тоже не свободен.

– Хорошо, что мы с тобой сегодня шли вместе...

Пришибовский с приплюснутым лицом и сузившимися глазами пытается меня маленько напугать:

– Поздно ведь. А ты не слышал? Неделю назад из психушки сбежало двое опасных. В городе ищут, приметы по радио сообщали. Я шел с тобой, и не страшно было... Что творится! Куда смотрят!..

Думаю: потребовать объяснений? Но по какому праву? Развернется, уйдет, и, как выражается Лео Вениаминович, «шанец испарился». А она для меня нынче единственная отдушина в моей не совсем упорядоченной жизни. Или совсем не упорядоченной жизни. Я предан своим хлопотам, купаюсь в успехах и

неудачах, заметно чаще в последних. Скорее всего, именно это охладило жену. Зарплата более чем скромная, воровать не научен – да в искусстве стащишь разве что чужую мыслишку, – значит, достаток ниже среднего, от поллучки до поллучки с двумя днями научного голодания. Выручают советы диетологов да мое полное безразличие к гардеробу и внешнему лоску. Мне недосуг, я все пытаюсь создать нечто значительное. И, взвесив свои возможности, прихожу к выводу, что не создам никогда. Может быть, Женя уловила во мне кое-что из самой сути и потянулась именно к такому. Но кто бы мне объяснил, что происходит.

Звонок обрывает размышления. Синхронно садимся в постелях: я и Лео Вениаминович. Испуганно смотрим друг на друга, потом на телефон. Тарабанит, трезвонит, похоже, междугородный.

– Слава Богу! – восклицает Пришибовский. Гора падает с его плеч, он заждался звонка, измучился. Теперь улыбается, кивает мне: – Хватай, хватай трубку!

Моментально укладывается лицом к стенке и накрывает ухо подушкой. Его нет. До меня долетает сбивчивая речь:

– Я не ошиблась?

– С приездом! – ерничаю я.

– Ой, не говори, – как-то естественно переходит Женя на «ты».

– Что за нужда исчезать?

– Условия игры.

– Много у тебя условий? – Я нажимаю на «тебя», по телефону легче сблизиться.

– Еще одно. Не спрашивать, где была.

– Допытываться не в моих правилах. Откуда звонишь? Удобно ли устроена? Сидишь, лежишь?

– Стою.

– В прихожей?

– На углу.

– Не понял.

– На углу! У автомата!

– Я бегу к тебе.

– Я ваюсь с ног. Я действительно «с приездом». Автостопом со всеми злключениями.

– Зачем же звонишь? – Верх великодушия с моей стороны.

Ищу отвлеченную тему:

– Завтра шестое июня, день рождения Пушкина. И мы с тобой отмечаем эту дату.

– Где?

– У меня. Я свободен весь вечер.

– Ты с кем квартируешь?

– С великим артистом. Он тебе симпатичен.

Из-под подушки Пришибовский выпростал всключенную голову:

– Я занят. Обойдетесь без меня.

С заткнутыми ушами этот человек слышит не только то, что я говорю, но и то, что в трубке.

...Жду с шестнадцати часов. Чувствую снедающее нетерпение – пятнадцатилетний школьник, но никак не мужчина. Падаю в собственных глазах, корю себя и – не свожу глаз с асфальтированной дорожки между старыми каштанами. Там я ее вскоре увижу.

Она пунктуальна: приходит и останавливается у мокрой садовой скамейки. В руке тяжелая красная сумка, на плечах комбинированная курточка из плащевого импорта. Все светится, искрится. Демонстративный взмах рукой куда-то в сторону и вверх до уровня третьего этажа. Потом подражательный мальчишеский свист. Разыгралась девушка, несомненно привлечет внимание целого десятка жильцов с других балконов.

Ко мне входит подчеркнуто запросто. Я гоню мысль, что гостиничные номера для нее знакомы. Умышленно, что ли?

Вспаривается сумка. Витые розовые свечи устанавливаются на дальние углы стола, в глубине размещается большой, подсвеченный красками портрет Пушкина. В блюдо из-под графина высыпаются пирожные-картошка и конфеты.

– Вино мое, – тороплюсь достать из-под кровати бутылку.

Она загадочно улыбается и отрицательно качает головой. Выставляет «Фетяску».

– Нет, мое. Ты не знаешь, что я люблю кисленькое.

– Я про тебя ничего не знаю.

– В этом мое спасение, – без тени шутки отзывается Женя.

Зашториваю и без того мрачные окна, подхожу сзади, стягиваю с ее плеч куртку. Через высокое плечо девушки всматриваюсь в портрет поэта: черные искрящиеся глаза живут. На них накладывается ее взгляд и тоже чернеет. Она разливает вино. Дает молча пригубить. Она не жадна к спиртному, едва отхлебывает. Мне хотелось бы, чтобы она упиалась и повернулась ко мне. Она ставит, потом отодвигает стаканы, замечаю неуверенность, дрожь рук. Как вспыхнули свечи, не помнится. Она шепчет:

– Это в последний раз.

Что-то вещее витает в воздухе, вселяет страх. Я не понимаю ее глухих слов и не переспрашиваю, лишний вопрос разобьет обаяние вечера. Она приближается ко мне, кривит губы, кротко отворачивается, дует на свечи. Темно. Чтобы не упустить, не опоздать, не опростоволоситься, я накрываю ее рот поцелуем. Нашупываю пуговицы у нее меж лопатками – она поворачивается ко мне спиной, я касаюсь подола ее платья – она поднимает руки. Я начинаю движение – она продолжает.

Сколько прошло времени, ни я, ни она определить не можем, у нас – вечность, во вселенной – миг. Мы дрожим, у нас текут слезы. Потом нас донимает приступ смеха.

– Ты останешься у меня.

– А куда мы положим Лео Вениаминовича?

– Между нами.

Обрывается ее смех вдруг, и я помню, после какой шутки:

– Я не пойду тебя провожать.

– Новости!

– Я боюсь сумасшедших.

– В нашем городе все сумасшедшие, – отшучивается Женя.

– Как! Ты не знаешь? Из психушки на днях сбежало двое добрых молодцев. Пришибовский сказал, что по радио передавали приметы. Опасные!

Вот тут-то и воцарилось самое полуночное молчание. Тишина и темень. После торжества любви – такое зияющее ничто... стало жутко.

– У нас в городе сумасшедшие все... И те, кто передавал приметы, и те, кто рассказывал Пришибовскому... Все, кроме двух сбежавших из психушки.

Минуту назад я величаво отдыхал, откинувшись на scom-канную подушку: поперек кровати. Рука покоилась на девичьем бедре, прикрытом только тьмою. Я был счастлив, впервые чувствовал себя собственником крупного состояния, мои капиталы надежно охранялись древнейшими законами. И вот ушат колодезной воды опрокинут на мою голову, волосы мокрые уже не от трудов любви, а от содержимого этого ушата. Голос, похожий на осыпающуюся с большой высоты цепь или шарканье пустых мельничных жерновов, не мог принадлежать женщине, только что забывшей великого поэта, прервавшей ритуал в самом дебюте – ради меня, мчавшейся мне навстречу каждым движением, каждым вздохом, поднявшей все земное и брэнное на божественную высоту – ради меня. Нет, говорила другая женщина, зрелая, беспристрастная, даже не женщина – ментор.

Чудес не бывает, не могли подменить прямо в моих объятьях слабую, сексуально несдержанную девушку таким учителем жизни. Я пробую вернуть на минуту утраченное наше бездумное, парящее состояние, прибегаю к реплике из моей новой комедии:

– И я порой не чужд литературных образов, реминисценций.

Меня не слышат.

– Умалишенных подбирают в первый же день. Они поступают импульсивно, непредсказуемо. Их боятся обыватели, тут же спешат изолировать. А этих неделю не могут найти. Прибегли к крайности: объявили розыск, приметы.

Я понимаю, что следовало бы принять ее тон, но ничего не могу с собой поделывать, недомыслие так и прет из меня:

– Из дурдома могут бежать только дураки...

– Инакомыслящие. Герои-одиночки.

Она уже сидит. Не гневается, просто отстраняется от меня, словно от недоумка, а я, огорошенный, эдак красиво продолжаю:

– Диссиденты. Если таковые, паче чаяния, обнаружатся в вашем непорочном городе, то обыватели помогут их выловить в первую же минуту. Народец у нас натасканный и припугнутый.

Чувствуя, что право на обладание любимым телом помаленьку утрачивается мной, я пробую ладонью перехватить удаляющееся плечо. Оно отзывается мелкой дрожью.

– Припугнутый, – слышу как бы издали. – Прости, я тут обозвала всех горожан сумасшедшими. Это в запальчивости. – Забыв подумать, Женя говорит мне прямо в лицо: – Есть ведь такие, что перехватывают беглецов и прячут. После допросов, знаешь, бывает, с побоями, после заточения в вонючей палате с решетками и настоящими психами, как правило, буйными, после декалитров гормональных и еще черт знает каких уколов, притупленные, угрюмые, с располневшими задами, брюхатые, титькатые, они нуждаются в опеке, в присмотре и выхаживании.

– И тут появляются врачи и харчи?

Я ляпнул такое, наверное, только потому, что пришла в голову рифма, или потому, что не мог себе представить, что Женя серьезно принимает к сердцу столь далекие, по моим представлениям, невероятные, политические коллизии. Она вспыхивает:

– И харчи, и врачи, и многое, что тебе, благополучному, изолированному от горестной стороны жизни, и присниться не может!

Я жду, что она отхлебнет из стакана и станет одеваться. Суетливо ищу, чем бы ей помешать. Но мои режиссерские стереотипы непригодны. Девушка действительно отхлебывает «Фетяски», подносит к моим губам тот же стакан, ждет, пока я наглотаясь, медленно подсаживается ко мне, говорит самое доброе и достоверное из того, что она знает:

– Есть такие. Кормят по чуть-чуть, по рецепту, связывают с родней, увозят на хутора, доставляют туда и врачей, и харчей.

Тут Женя долго не произносит ни слова, взвешивает, что ли, решается как-то через силу, прежде потрепав меня по прическе, погладив спину и приобняв:

– Девушек привозят, чтобы вернуть им веру в себя, в дело, ради которого они страдают. Да, да, по совету психолога девушки проводят с ними время... Любят их... Прости, далеко не все сумасшедшие в моем городе...

Кажется, я проникаюсь благим, но совершенно непонятным для меня чувством. Вроде впечатления от только что прослушанной пьесы, далекой, из прошлого века, на чужом языке. Я знал, что живут люди плохо, видел много несправедливости слева и справа. Но, прожив четверть века в относительном благополучии, я отстраненно сознавал, что есть другая жизнь, лучше, честнее, богаче, что за нее борются, отбывают тюрьму, оказывается, и сумасшедший дом. А эта обыкновенная двадцатилетняя девушка знает, она посвящена в страшные тайны и, доверяя мне, признается. Со стороны это красиво и значительно. Читать, ставить похожий материал – выигрышно, если бы самая малость – позволяли... но мне становится жутко: избави Бог впутаться в нечто подобное в жизни. Слезы матери – вспоминаются напутствия малограмотной, обожающей своего единственного сына женщины: «Ты там не болтай, кнутом обух не перешибешь, только будешь мучиться и меня в могилу сведешь...» Пересуды коллег и знакомых – вряд ли кто из них пожертвует своим убогим благополучием ради призрачной идеи...

Я нахожусь, как исправить атмосферу вечера. Встряхиваюсь, кричаю:

– Женечка! О чем мы в постели?

Впервые слова оказываются уместными. Она, наверное, тоже одумалась, а то и побоялась моего языка на людях. С неожиданной легкостью соглашается:

– И то правда. Выпьем и забудем.

Пьем. Но она это делает совсем не так, как в начале свидания.

...Я продолжаю репетицию.

А сам думаю: с Женей придется покончить. Даже если я нафантазировал лишнее. Для отдушины, для легкого времяпровождения она не годится. Эта загадочность, экспансивность, обнаженные нервы. И таинственность...

Не хочется делать перерыв, помощница, тем не менее, показывает на часики на своей пышной груди. Тут же подходит Сидяев и, вместо обычных занудных выяснений зерна образа, шепчет:

– Через минуту вам будет звонить Женя.

Хочется, чтобы Женин звонок был последним, чтобы «олень» вообще пошутил...

– У тебя свободное время с трех до семи?

Все-таки она.

– Да?

– В три я жду тебя у оперного. И пойдем в парк, – подарочно произносит девушка.

Голос свежий, в нем много ноток, какие преобладали в первый вечер нашего знакомства. Во мне пробуждаются сладкие воспоминания, кажется, плен продолжается.

– Не слышу благодарности.

Так говорят с человеком, который многим обязан... увязан.

– Твое слово – и достаточно...

– Я тебя люблю.

Что тут скажешь?

– Непостижимо, за что?

– Блажь. В три часа, на углу.

По-моему, она повесила трубку раньше, чем закончила фразу. Девушка помаленьку становится хозяйкой положения.

В три часа на углу Женя сказала:

– Вчера я подала заявление в загс.

Ни жалоб, ни стенания, одно смирение. Она в шелковом платье, белое со слабыми желтыми и зелеными листьями, осенняя россыпь на летнем фоне. Она скромно показывает свои частые, сияющие зубы, но смеха не слышу, хотя думаю, что трюк с загсом ею придуман, чтобы досадить мне. Я уверен, хотя другой на моем месте не был бы так уверен – надо знать Женю.

Уже ступая рядом со мной к остановке троллейбуса, она заговаривает элегическим и вместе с тем как бы посторонним, упрощающим ситуацию тоном:

– Поедем прощаться с городом. – И, усевшись в полупустом вагоне, командует, будто таксисту: – В парк!

Мне начинает казаться, что плетется какая-то нелепица. Встретиться – лишь бы отметить. Она не совсем такая, какая была, скажем, позавчера, – суется, по временам забывает о спутнике. Я тоже хорош! Насытился свиданием, могу вольно рассуждать о посторонних вещах в присутствии столь изумительной красавицы, вместо того, чтобы каждой фиброй души внимать ей.

– Двадцать лет прожила... И только здесь. И вот смотрю чужими глазами, – шепчет девушка.

– Можно предположить, что ты собираешься покинуть город навсегда.

Женино лицо немеет, непривычная бледность холодит его:

– Представь себе...

Говорит и страшится продолжения речи, избегая вопросов. Вскрикивает и торопится к выходу.

Меня переполняют тревожные предчувствия. Ожидать неприятностей у меня нет оснований, претендовать на руку и сердце Жени я не могу...

Старый парк – гордость горожан. Спускаемся в долину, идем вдоль культурных угодий. Девушка и впрямь вся внимание, как бы пытается охватить взором всю зелень, и небо над ветвями, и возню птиц. Приводит меня к старому пню под куполом молодой листвы.

– Здесь мы встречали рассвет после выпускного вечера. Каждое дерево у нас имело имя. Рома, Оксана, Парфен...

– Ты рано принялась вспоминать. Поживи еще.

Она просто, без нажима возражает:

– Никому не дано знать, сколько ему отведено... всего этого...

Свидание мне кажется скомканным, вымученным, не для нас с Женей, для кого-то третьего. И вот слова, обращенные ко мне, впритык – нос к носу:

– Все, что я тебе говорила о «врачах-харчах», особенно о девушках-врачевателях, для твоего же блага... забудь.

Девушка вдруг пятится в тень каштана, за угол маленькой часовни. Хочу понять ее: поцеловаться, что ли, надумала. Ступаю следом. Щеки ее вспыхивают неровными пятнами. Тут же

бледнеют мертвенно. Глаза косят, стригут, выражают все, что угодно, только не желание.

За спиной хлопает дверца автомобиля. Заранее бессмысленно похолодев, озираюсь: высокий шатен в приличном костюме стоит между нами и «волгой». Передняя дверца открывается, водитель опускает на тротуар одну ногу.

Женя делает шаг в сторону, едва не натывается на коренастую фигуру прохожего, тоже молодого и прилично одетого, который необъяснимо, с трогательной вежливостью преграждает ей дорогу. Она приосанивается, делает шаг ко мне, откровенно целует.

– Бай-бай, – говорит заурядно, криво улыбаясь.

Идет к машине, задняя дверца открывается.

Я жду худшего для себя. Как перед умирающим, передо мною проходит вся моя сознательная и подсознательная жизнь, даже глаза зажмуриваю. И вижу Женю на ночном хуторе, в объятиях беглого диссидента...

Гула двигателя не слышу. Поднимаю веки: ни «волги», ни приличных людей в штатском... Ни Жени.

Спектакль или летаргия? Лыщу себя надеждой, что это все-таки свадебные дружки воруют невесту. В западных городах обряды живучи...

Шамкающий голосок старушки у часовенки:

– Конечно, этим трем мерзавцам куда легче скрутить человека и получить все блага, чем изо дня в день тянуть лямку в хозяйстве.

Женю брали двое. Третий мерзавец – это я. Я не встал между нею и товарищами в штатском, я даже не спросил у них ордер на арест. Я только дрожал от страха.

ИСТОРИЯ

1

Солнце бьет в спину. Тени вытягиваются, гаснут. Плоское, длиннопалое мое отражение скользит по асфальту независимо от меня, усугубляет мое уныние.

Моя Лида говорит: натуру человека можно определить по размазанной им кляксе, по заваренному чаю, по плевку, по отброшенной им тени. В последнее время она все чаще определяет мой характер, и довольно грустно.

Я не размазываю кляксы, не плюю, от тени отворачиваюсь.

Отворачиваюсь и вижу Адама. Я не знаю имени этого прилично одетого, собранного и, вместе с тем, раскованного молодого горожанина. Встречаю его изредка среди иных приметных лиц. И не без опаски. Слухи доносят, что это оперативник, курирует культуру. Лучше свернуть в аллею, избавиться от преследователя и, попутно, от длиннопалой тени.

Адам наступает на мою тень. Сливается с нею – две беды в одну. Он коротко раскланивается:

– Николай Андреевич Вилава? – говорит приветливо, как это делают знакомые, которые желают вам только добра и беспокоят лишь в самых необходимых случаях. Место безлюдное не выбиралось – это случай.

«На ловца и зверь...» Этот воспитанный, подстриженный всякий раз накануне, опрятный человек не мог так выразиться. Пословицу я раскопал в своей вспугнутой памяти. И приготовил непринужденное восклицание: «За какие грехи?» Пока молчали, сложилось его прозвище – Адам. Адам – значит первый. Первый пришелец из таинственных, коварных служб, не рекомендованных при свете дня приятелями, в глуши ночи – радиостанциями из-за бугра.

Мысли прыгают, не позволяют понять самого себя. По Библии, страх – худший из пороков. Знаю, пробую отвязаться от него. Наша встреча – игра случая, без всякой связи с дальнейшим. Разговор необязательный. Товарищ до подробностей осведомлен о моей персоне, я не вчера с дерева слез... признаться в суете, миссия его в моем случае не совсем понятна. Людям вроде меня, то есть перегруженным творческими задумками, нравственными копаниями, семейными хлопотами, к тому же во многом с товарищами заодно, подобные «здравствуйте – прощайте» бытуют только в цепочке многих иных случайностей... и ужаса, тем более животного, до жгучего желания тут же помочиться испытывать не стоит.

Слепо узнаю опасность и так же незряче избираю защиту. Так подросток, зажмурившись, сучит кулачками мимо обидчика.

– Николай Андреевич Вилава? Не могли бы вы, Николай Андреевич, зайти к нам? Ну, что ли, завтра, если вам удобно? В восемнадцать? – императив в форме позитива. Приказ в виде просьбы...

Выпаливаю ответ сразу, только бы избавиться:

– Отчего же! Репетиции закончены, вечер свободный, дома скажу – занят. Напомните адрес.

Глупо. Кто в городе не сторонится серого здания, забранного в чугунные решетки по первому этажу, с лепкой над оконцами. Понимаю, что дурковатый вопрос выдает волнение, прыскаю смешком. Адам поддерживает настроение. Он привык к поведению кролика в минуту внезапности. Впрочем, не желает, чтобы принимали его за удава. Он всего лишь наш защитник... от нас самих.

С долей церемонности удаляется, забыв напомнить свое настоящее имя.

Потом пришла ночь. Беспокойство возросло. Какая нужда во мне у столь сакраментальных органов? Кто люди, у которых возникла такая нужда? К чему приведет мое новое знакомство? Материальчик для новой пьесы ищут не тут, а вот путевку туда, где Макар телят не пас... без права переписки!.. Никакой юмор не утешает.

За полночь из притертого рядом ложа слышен шепот Лиды:

– Люблю, когда у тебя с главным перипетии. Меньше думаешь о женщинах.

Хорошенько же выглядит муж, если даже ревнивая жена понимает, что тут не следует искать соперницу.

Поволтузившись почти до утра, добрел только до двух вопросов, тех самых, что влетели в голову сразу: что из преступной биографии Вилавы известно товарищам, и как их осведомленность отразится на судьбе сына Антоши.

О том, что любой, взятый наугад гражданин не может быть чист перед нашими законами, паче перед их трактовкой узурпаторами, я не сомневаюсь. Та же Лида под локоть шепнула: у нас нет поступка без проступка. Вот и выискиваю свою вину

перед отечеством, а не находя, придумываю, чтобы предъявить на потребу. Там не чистота нужна, а вина, материал для работы служебной мельницы. Лучше без давления признаться, отбыть и забыть. Закруглиться одним эпизодом, на больше меня не хватит. Не хватит терпения, снисхождения к идиотизму нашего общества, избранного мной амплуа своячка-бодрячка. Взорвусь на второй же беседе: «Я вас ненавижу! С пеленок! Нет, еще в чреве матери ненавидел! Мамины сталинские страхи через кровь переселились в меня! Как и ее жалкие попытки избежать вас, спасти дитя свое!.. Господи, да никто на меня не влиял! Вы сами разбудили во мне животное... нет, человека!» Святой Боже, как я красноречив в подушку!

Надо успокоиться. Истреплюсь, поблкну, завтра буду выглядывать моченым яблоком. Больше безразличия к окружающему миру, к себе тоже. Насколько лучше выглядят художники, учителя, работяги, которые с полным безразличием относятся к людям и к своей профессии. И живут дольше и лучше.

Стоп! А вдруг Лида, выспавшись, потребует объяснений волнению, потухшему желанию «на сон грядущий»? Что намолоть ей? Нужна еще одна версия. То есть две: для Адама и для Лиды. И обе убедительные. Все мои силы уйдут на сочинения для этих двух особ; на спектакли, а паче того, на мою скрытую слабость – сочинение пьес, ничего не останется.

Кому выгодны тысячи запретов, препон, табу, всякий день встречающихся на моей дороге? Я пытался хотя бы прояснить природу существования кучи ненужных организаций, тысячи дармоедов, которые истощают общество, разлагают мораль. Деликатно расспрашивал. Меня поправляли, потом стали обвинять в «непонимании самой сути», потом исподволь одергивали и превращали сообразительного, деятельного парня в удобного пентюха.

К домашнему пренебрежению солидной супруги прибавлялось неуважение в театре. Добро бы гонение шло от аппаратчиков, карьеристов, а то ведь достают братья по труду, из зависти, из солидарности в некоей главной идее, соблюдая условия большой игры, идя в стройных колоннах. Доводят до психоза, порой приходит ощущение, что я не живу, а кажусь

себе. Жутко. Оглянусь назад – и там не жил. Проскочил тридцать лет с хвостиком – и ладно. Холодею от мысли: что если в конце жизни вот так обрадуюсь: проскочил отведенное мне – и слава Богу? Вопросик. Ни в одном задачнике на последней странице на него ответа не найдешь. Как и на другой: зачем арканят органы? Вдруг к добру! Пачкают перед выдвиганием, метят грешком, чтобы легче было помыкать этим рыльцем в пушку. Приемчик хорош, если не для порядочных людей, то хотя бы не лишенных остатков совести. Окунут в свою грязь, пустят слушок и – уж какое тут инакомыслие! Не примут в свой круг даже рядовые обыватели.

Может быть... Черт знает что может быть!

И зачем меня выдерживают целые сутки? Для созревания худшего из пороков? Повели бы сразу, как на экзамен. Спросили бы самое трудное. Всевышний всегда посылал мне на экзаменах правильные ответы, не оставит и ныне. Вижу свое ожидание между жерновами, которые вертятся, расходятся, сходятся, должны молотить, раз уж они существуют. Утешиться тем, что тысячи граждан за милую душу приняли двойную жизнь и не углубляются в философию, пользуются выгодами от нее, как домохозяйка – от электричества, газа, сплетен... Что было до возникновения органов насилия, к чему приведут эти органы человечество – плевать. Мысли накатывают селевыми потоками. Я уже начинаю думать, что не обстоятельства терзают душу, а потребность души терзаться находит себе повод... Я и забыл, что вчера в далекой самогонной деревне, в хате под стрехой умер добрый работяга, безгрешный грешник дядя Ладим. Бросить бы все – причина уважительная, – поехать, постоять над гробом, предаться бы раздумью о вечном, о долге, о главном. Куда там! Заполонили все мое существо мысли о скверне, о собственной шкуре. Понимаю, что в голод и холод, в дни благоденствия и в годы гонений, на суше и в море, среди мерзостей и пакостей, роскоши и наслаждений, и тысячу лет назад, и ныне, и тысячу лет впредь будут теплиться мораль и справедливость. Это, как любовь, неискоренимо. Знаю, но вот в эту минуту для меня главное – явиться в урочный час по скрытному, из-под полы, манку гражданина в штатском, глав-

ное – покориться, не напрячься, не выпасть из течения, которое вольно несет, держит на плаву, подпитывает тебя и чадо твое...

Завтракаю с показушным аппетитом, глотаю, не разжевывая, успеваю пошучивать и подгонять Лиду, только бы она не задавала въедливых вопросов.

Репетирую задорно, остроумно трактую сцену, горю. Бессонная ночь, страхи и надежды пробудили во мне энергию, снабдили двойной памятью. Я щедро подсказываю текст, кажется, помню всю пьесу. Предупредителен с мужчинами, люблю всех женщин, каламбурю. Страх умеет делать людей талантливыми.

Грудастая субретка Клаша после очередного моего комплимента настораживается, косит глазками:

– Николай Андреевич, вы меня сегодня пугаете!

Парирую в ее духе:

– Хищный самец вначале запугивает самочку, потом овладевает.

А сам думаю: поменьше бы промашек... шила в мешке не утаишь...

...Смеркается. Скорее всего, ранняя тучка заволакивает закат. Тени робко прячутся, моя – тоже.

Неприкаянно переступаю порог вестибюля. Чистые непокрытые ступени. Вверх – в кабинеты, вниз – к подвалам. К камерам, пыточным, или как они здесь называются? Куда мне? Подкатывает дурковатый смешок, объяснить его, как и всю мою покорность, не могу. Не выйти ли на улицу, отсмеяться над этой вселенской игрой бездельников и явиться скорбно и величаво?

Выручает упакованный в форму мрачный юноша, вскинувший навстречу подбородок: вы к кому? – спросивший немо, видимо, по их артикулу.

На простенький вопрос ответить не могу, и впрямь, к кому я?

– Мне на восемнадцать.

– За вами спустятся.

Стало легче, значит, мне наверх. Сквозь витые перила вижу: скользят до блеска надраенные ботинки, потом отутюжен-

ные штанины, не сомневаюсь – мой вчерашний ловчий. Хочу его ненавидеть, придумываю отвратительные характеристики. Ничего не получается. Наречен Адамом, Адам и есть. Он именно такой, каким его мог создать Бог. Без малейших излишеств, только необходимое и целесообразное: где хорошо круглое, он кругл, где удобно для жизнедеятельности продолговатое, он продолговат. Характерных отклонений ни в чертах лица, ни в осанке нет. Современник с расхожего плаката. Таким молодого человека хотело видеть высшее руководство – и угодливые художники творили идеалы, а кадровые селекционеры подбирали штат.

Он не улыбается, однако в наклоне головы, при желании, можно разглядеть приветливость. Возникает желание расслабиться, даже пошутить, эдак в духе учреждения, куда занесла судьба: «Ну, как работаете? Не мешают стоны из подвала?»

Язык во рту высох и разбух, противнее ощущения молодой мужчина вряд ли может испытать. Сухой пар спускается по спине. Не оттого ли, что Адам принес с собой весь груз, весь авторитет организации, которую представляет. Не произнося ни слова, под бременем всех своих полномочий он разворачивается. Я сам для себя команду: «Следуйте за мной!» Поднимаюсь следом за хорошо подбитыми, с профилактикой, каблучками. Силуюсь сохранить гоно́р, хотя бы независимый вид. Это тоже оборона.

Вчера товарищ не представился, имени-отчества не назвал, видимо, считает, что куратора из такого уважаемого учреждения обязаны знать в каком-то там театре. Хуже, если у человека убеждение: охваченный органами гражданин обязан сам выяснить, как зовут его мучителя, так же, как сам должен опровергать обвинения, которые ему предъявили. Я не хочу ни выяснять, ни опровергать. Я из другого теста, надо – сам придумую имя, обойду эти рифы подальше, даже зажмурюсь. Не вижу, значит, их нет.

– Посидите, будьте добры, здесь.

Не кабинет и не приемная. Ниша, закуток с жесткой, обшитой дерматином скамьей, укрытие за поворотом коридора, в полутьме.

– Побеспокойтесь, чтобы вас не видели.

Куда уж дальше! Побеспокоились без меня. Просто высываться не стану, искать пути для возможного бегства тоже. Мысль о бегстве не приходит в голову: в стороне маячит, но в голову не впускаю. Боюсь худшего. Боясь худшего, мы накликаем много еще худшего.

Оперативник удаляется степенно, с загадочной целью. Остаюсь один и только сам себе могу задавать вопросы. Например, такой: что станет доминантою предстоящей беседы? Хорошо или плохо для меня все то, что происходит? Ну хотя бы то, что посадили в закуток и велели не высываться? Зачем прячут клиента? Тут все свои. Чтобы не запомнил в лицо сотрудников секретной службы? Хуже. Из кабинета в кабинет, поди, шастают осведомители, стукачи, или как еще их называют в народе? Их и впрямь желательно оградить от стороннего глаза, иначе им трудно будет «работать». Вот повяжут меня и тоже будут оберегать, так что следует с пониманием относиться к служебной конспирации.

Наблюдения успокаивают, ничего не попишешь – жизнь. Наша жизнь. Все-таки надо отдать должное: в этом заведении дело поставлено, не то что в театре. Видимо, хорошо платят за счет нужд производителей и их семей.

Две минуты спустя звучит голос как бы из стены. Сохраняя самообладание и чуть ли не кадая в штаны, поворачиваюсь, разыгрывается воображение: охмуряют! Ушел влево, явился справа, резкий окрик. На самом деле, ничего надуманного; обыденно зовут в кабинет на третьем этаже. Поводырь шагает впереди, руками не размахивает, головой не вертит, ни единого лишнего слова. Однако по всему видно, что проделывает он все излишне ритуально, с налетом торжественности. Никак подражает кому-то? Мы оба лицедеи. Я изображаю святого угодника. Можно позировать для иконы. А хозяин – цивилизованного инквизитора.

Ба! Да мы оба новички!

Я в роли кролика, Адам – в роли хирурга. Худшая из бед моих – интуиция. Она обгоняет нестойкий разум, порой открывает такие пласты бытия, которые ни осмыслить, ни объяснить себе я не в состоянии, немею – и только.

Продолговатая комната с двумя столами, поставленными углом. На короткой столешнице горбатый и невзрачный, отечественного производства, телефон. Пустая пепельница. Хорошо тренированная кисть подхватывает ее и отводит в сторону.

– Не курим.

Как выговорено! Даже незначительные детали, касающиеся вашей особы, здесь хорошо известны.

– Прошу, приземляйтесь.

Наверное, со стороны слышно, как постукивает кровь в моих висках, и мысли слышны: скромно живут, аскеты, слуги. Скромники, аскеты, слуги. Застрял между этих трех слов, так и приземлился на краешек стула. Заставил ноги вытянуться под столом, откинулся на спинку стула, изобразил второго хозяина в кабинете.

– Когда заходили к нам, осмотрелись? Хвоста не заметили?

Еще задача. Что в таком случае выгодно отвечать? Не замечен посторонними, и пускай экзекутор уверенно продолжает операцию? Или взят на заметку пристальным взглядом странного прохожего и в случае излишне долгой задержки – на сутки, на двое, на сколько им заблагорассудится – возникнет опасность слухов. Мол, знают в городе, куда зашел молодой человек, кажется, режиссер, не так их много в городе, чтобы не знать. Зашел и не вышел. И над Серым домом с решетками должен витать страх, не за морями да лесами стоит он, а в нашей родимой, прибитой жутью державе. В последнюю секунду мне стало совершенно безразлично все, кроме трех слов, слитых воедино: скромники – аскеты – слуги. Срабатываю на оперативника:

– Никто не видел.

Слукавил, в порядке защиты подставил глаз, надеясь, что этот ворон в цивиличном не клюнет. Пускай для первой или одной из первых работ Адама все складывается превосходно. Ничто не раздражает начинающего оперативника, потому покладистость и согласие имеют силу.

Доброжелательно, словно давний друг, Адам спрашивает о таком, что заставляет меня вздрогнуть всем телом. Вальяжность моя исчезает, пульсация в висках прекращается.

– Как домашние? Сын?

Сын Антоша – неутихающая боль моя. Тощий девятилетний старичок, с пеленок напичканный ворохом отрывочных сведений по истории и технике, географии и кулинарии, литературе и астрономии; он держит настольной книгой трехтомник энциклопедического словаря, на стенах во всю ширь распял физическую и политическую карты мира со своими карандашными дополнениями. На потолке подклеены цветные фотографии облаков: перистые, кучевые, грозовые. При паразитических познаниях Антоша в обиходе беспомощен. Не ткни пальцем в тарелку, посидит над нею, пояснит разницу между Новой Каледонией и Старой и не поест. В классе дерзко отстаивает свою точку зрения, а на переменке уступает игру любому сверстнику, что понаглее. Я неизменно ношу с собой жизнь сына. Всякое упоминание о нем настораживает, призывает меня к защите. Любой ценой... И вдруг в этом зловещем доме:

– Как домашние? Как сын?

Я слышу реплику так:

– Вы хотите, чтобы с вашим Антошей было все в порядке?..

2

... – Как домашние? Сын?

Я услышал реплику так: «Вы хотите, чтобы с вашим сыном было все в порядке?»

– Уже избрал профессию? – вопрос понятен родителям. – Шофер? Пограничник?

Как тут ответить, чтобы не навредить Антоше? Подобный выбор не для маленького мудреца. Он такое примет за шутку. Его удел придет позже и будет взрослым. А звонка от таких дядь, как Адам, достаточно, чтобы обратить его в дым.

– Одаренный мальчик, – осведомленно роняет мучитель.

Не пустой звук. Предупреждение: в случае заметной ошибки отца никакой дар сыну не поможет. Плевать на декларацию: сын за отца не отвечает.

Расположившись удобно и надолго, с лопатками на спинке гнуптого стула, с вытянутыми ладонями на столешнице, Адам не без удовольствия замечает:

– Для вашей семьи – удачный год. У жены прибавка к зарплате, у вас, в театре, намечаются продвижения...

Приятно слышать продолжение. Если бы только это говорилось не в застенке.

– О жене знаю, о продвижениях – не слышал.

– Кое-какими сведениями мы располагаем...

Недомолвки с долей бравады. Кнут и пряник для меня. Но это промашка в расчете на полную дремучесть подопытного. Оперативщик выказывает себя молодым, не обжившимся в хищной ауре. Козыряет впопыхах. И это после волчьей хватки с сыном! Замнем промах.

– Вроде бы главный, Вадим Вадимович, собирается уходить... возможна ротация...

В горячке забываю, что «ротация» – круговое движение, по словарю, а у нас – замена одного оболтуса другим, близлежащим, так, чтобы ничего не менялось для кукловодов сверху.

Адам хватает лишку. Задабривает некоего режиссера и драмателю, которого велели обласкать и приручить. А перед ним еще и мозгляк, отравленный многими бедами, припугнутый и готовый на уступки ради сына.

– Разумеется, решает управление культуры, но мы краем уха слышим...

– Ваш край уха стоит двух из управления, – беспардонно льщу в целях самообороны. – Мне даже неудобно...

Половину моей фразы Адам пропускает, вторую – переинтерпретирует:

– Неудобно? Оставьте. В тридцать с небольшим лет получить коллектив!

– Я не имею права. Беспартийный.

Видимо, мне очень уж хочется продвижения. Но не карьеры желаю я в эту минуту, мне надо получить хоть что-нибудь взамен моей податливости. Хочется в творческой номенклатуре стать кое-кому не по зубам. До того жажду, что начинаю кочевряжиться. Оперативщик не позволяет мне усомниться:

– По опыту работы, по способностям... Бывают исключения. Например, вы.

Саднит мысль: мне предлагают взятку. Господи, век прожил бы в своем затхлом театрике, в своей осмотрительной се-

мье, на харчах из пыльной лавки и не знал бы, что вот такие «человеки со стороны» ворочают делами, имеющими решающее значение для штатных расписаний, творческих течений, судеб отдельных граждан, которые и поклоном их не удостоили бы. И так запросто.

Чтобы приобрести штаны вместо изношенных, обычно мне приходится откладывать три месяца, недельку-другую выказывать перед женой всю непригодность тех, что на мне, потом искать товар подешевле. Быт интеллигента. А тут: вздумал – попроси, дадут. Не попросить ли немедленно джинсы? Старые прожег кислотой, заряжая аккумулятор «Запорожца» богатого тестя. Дадут и запишут по важной статье государственных деяний. Если товарищи умеют ловко, артистично, так что и отпечатков пальцев не сыщешь, сломать особь, то они с успехом сумеют ее облагодетельствовать. Во мне пробуждается богопротивное чувство – алчность. Это не желание, имея кое-что, получить больше, а – имея много, получить все! Соглашаться с намеками Адама неблаговидно. Выпирает подлянка. Даже если прикинуться барашком: не моя инициатива, ради блага дела, никому не в ущерб. Ведь где-то согбенная, голодная колхозница тупой тяткой пропалывает свеклу, вечно простуженная доярка в четыре утра подмывает корове вымя, не доживающий до пенсии тракторист катит, окутанный тучей пыли от лесополосы до лесополосы за мешок неочищенной пшеницы... Их заработки перечисляются и на высокую оплату секретных служб, и на гонорары театру, развлекающему всяческие службы.

Подло, никакой философией не отмоешься. Я не нахожу, в каком тоне продолжать беседу. Выручает Адам:

– В дальнейшем из повседневных ваших манер придется убрать фривольность...

Это когда – в дальнейшем? При продвижении по службе или при вступлении в услужение к оперативщику?

– ...эту юношескую категоричность оценок, некоторую невзвешенность...

На меня подуло сквознячком. Возникает настороженность, кожей чувствую: в кабинете присутствует третий. Или микрофон, видеокамера – поеживаюсь. Утешаю себя тем, что микро-

фон записывает и то, что говорит Адам. А он намекает на мое пренебрежение к моральному поощрению трудящихся вместо оплаты рублем. Самим-то им рубли выплачивают за всякую пакость без задержки. О моих жалких попытках мыслить и выражаться неординарно, то есть не так, как принято в передовицах газет...

Ничего, ничего, говори, свет мой ясный, для тебя этот вечер – тоже экзамен! Холодею от намека, что органам известно: у молодого специалиста – следует добавить: перспективного, – более значительные заблуждения. Вилава слеп и глух к широким нуждам нашего общества. Слушает не наше радио...

Воздух зябнет, дышать трудно. Хочется возразить, но в этих стенах не ждут и не допустят возражений. И получается, что я веду два диалога одновременно: вслух и про себя. Вслух я предаю святыни, а про себя держусь молодцом, понимаю и оцениваю ситуацию достойно. Буду нежить себя не реальной беседой, а внутренней. Тут я волен мыслить. Про себя говорю Адаму: «Меня сломали ночные зарубежные передачи больше, чем вы хотели бы. Они запугали ужасами ваших застенков и не вооружили меня на борьбу, а возделали мой характер под вас».

Внешнюю беседу хочу повернуть так, чтобы сделать ее единственной и завершить все наши дела в один присест. Но поучает он:

– Ваши коллеги не прочь посудачить в кулуарах о вас. – И с легкой издевкой по адресу распущенной актерской братии: – Сочинители, лихачи, балагуры. Не стоило бы давать им пищу. А вы подбрасываете, и говорят, мол, у Вилавы недержание мыслей, навешивание ярлыков.

На мой, по-видимому, открывшийся рот впервые появляется легкий укрощающий жест ладонью:

– Полагаю, что это не так. Или не совсем так. Но коли говорят и вам известно, что говорят, и неприятно, как всякому советскому человеку, почему не опровергнете? Известно, если не опровергнешь, значит, соглашаешься.

С далекого берега мне метнули конец каната: хватайся, пообещай опровергнуть – отпустят. Неужто за тем и звали?! Но проклятая натура, мне непременно хочется достойно возра-

зять: если я крою халатность, вселенскую некомпетентность наших власть предержащих, их профосов, если я сомневаюсь в их моральной чистоте и справедливости, то, извините, я не считаю, что говорю неверные вещи. Сам видел, как подвозят дефицит на дом большим «пурицам»...

Надо бы возразить, но вовремя спохватываюсь. Здесь не перечат; чем убедительней возражение, тем возражающему хуже. И этот ли умница и красавец не знает, кто и чего стоит в нашем мире! Он сам потчуетя от номенклатуры. С покладистой улыбкой лукавлю во все тяжкие:

– Хвалу и клевету приемли равнодушно.

У него ровные, крепко посаженные зубы, впереди крупные – конские, сказала бы независимая Лида, если бы, не приведи Господи, увидела нас с глазу на глаз. Мимика Адама скупа, в выражении малоподвижных, цвета желудей, глаз сквозит бездна терпения. Вечер, ночь пробеседовать этому психоаналитику ничего не стоит, слушать бредни говорунов, выуживать из них крупницы информации и, нанизывая их одну на другую, сопоставлять с рассказами всех предыдущих посетителей его «кулуаров». Когда я услышал «коллеги в кулуарах», я оценил находчивость начинающего оперативщика. Далеко шагнет на своем поприще молодой человек! Но чтобы уверенно подниматься, ему нужны ступеньки, одна из них – я, Николай Вилава, – крепкий орешек и не заваливающий клиент. Меня раскусит – «пятерка» по труду и шажок наверх. Мелкая натура, та самая, которая минуту назад жаждала хлестко возразить, тут передумала и соглашалась подставить спину, пускай товарищ ступит единой и отпустит с миром. От такого противоречия стало жарко, на лице, разумеется, появилось голодное выражение. Знаю без зеркала, насмотрелся в жуткие минуты жизни. И смиренность моя, и податливость проистекают от множества жутких минут в моей жизни. Добрая мера парализующего, енотового ужаса наваливается на плечи от сознания собственного бесправия. Сколько раз убеждался, что судьбой моей распоряжаюсь не я, мной помывают какие-то силы, и способности управления хранят в тайне. Никогда не знаешь, кто дернет за ниточку и куда поведет...

Визит входит в должную колею. Адам не спеша готовит вопрос, наконец, доверительно понижает голос:

– Однажды вы не переехали в столицу.

Почему? Телепат. Ясновидящий!

– Я? Ах, да! – тяну время, сообразил, что сознаться не опасно, потом переадресовываю вопрос:

– Не лучше ли об этом справиться у моих руководителей?

– Они не знают.

– Знают. Кто же не пустил меня?

– Что значит «не пустил»? Вы что, их собственность? – Неподдельное возмущение. – Вы не их дитя малолетнее и не рядовой их батальона. Следовало настоять. В конце концов, поехали бы сами и поступили работать туда, куда хотелось. Вас же приглашали.

Если бы не искренность, если бы не искренность и сочувствие, я подумал бы, что Адам издевается, таким хитрым образом напоминая, что человек предполагает, а власть располагает, а если жестче, то: верши свои дела, да не забывай про удила!

– К приглашению у нас еще столько приложений! Не соглашалось начальство на перевод – и приглашению грош цена. А когда я позвонил в столицу, мне намекнули, что меня обогнало телефонное право. Я был представлен ни больше ни меньше – диссидентом.

Адам вздыхает и качает головой:

– Вот видите...

Сокрушенно шевелит своей красивой, без изъянов, головой, обескураживает, вызывает на откровенность, можно утратить бдительность. Надо собраться. Ропщу:

– Что я должен видеть?

Мягкий взгляд с надеждой успокоить:

– Опрометчивая оценка факта, неосторожная реплика – и какой-нибудь доброжелатель делает неблагоприятный вывод. – Рука отечно поднимается, отворачивает полу пиджака, щупает в кармане, ни с чем возвращается. – Не курим.

Догадываюсь, что не курит мой собеседник только сегодня, чтобы не искушать меня и подпитывать волю затравлен-

ного. Учат этому в спецшколах или не перевелись еще столь обходительные люди?

– Не было у меня слишком необдуманных оценок. По роду работы я бываю с выездными спектаклями в глубинке, наблюдаю запустение в селах, встречаю толпы немощных дедушек да бабушек, отчаиваюсь, сопоставляя то, что вижу, с тем, что играю на сцене и читаю в нынешних книжках, делюсь с коллегами...

– И комментируете. – Это слово прозвучало холодно, отчужденно. Следующее с досадой: – Критикански.

Я должен очнуться, вспомнить, где я и кто передо мной.

– Если моя критика приобретала вид критиканства, я прошу прощения, заводился.

– При ветеранах партии, пенсионерах стоило ли допускать шальные выпады?

– Вы знаете больше, чем случилось на самом деле.

– Такова работа, – не слыша меня, парирует Адам. – И все же немаловажно: зачем при уважаемых людях? Дразнили их, сознайтесь?

– Нет.

Почему «нет»? Ведь «да» сильно смягчало мое дело, скрадывало злой умысел. Но в течение последних минут во мне преобладал наблюдатель, я не заметил, как сидящий во мне фрондер включился в игру и вот подвел. Ему, видите ли, не хотелось, чтобы я походил на всякого, сидевшего на этом стуле до меня, на трусливого и угодливого клиента. Наблюдатель вмиг спрятался, страшно стало мне. Я заерзал.

– Я оставлю ваше возражение без внимания, – с легким сердцем успокоил меня довольно-таки толковый молодой товарищ. – Нам самим изрядно надоели подобные старатели. Пишут, звонят, повторяя друг друга и сами повторяясь. Потратишь уйму времени, проверишь: сигнал выеденного яйца не стоит. Не те люди помогают важному делу. Не умные, не объективные, стараются не ради человека, а в угоду древним страхам, пошлым привычкам. Не видят, как меняется жизнь. С такими и мы становимся слепыми, да, да! А уж государство – тем более. Судит о конкретном человеке порой поспешно, прибегает к карательным мерам. Согласитесь, получается некачест-

венная работа. В укор и нам, и... – Вдруг крайне настораживающий вопрос: – Вы в курсе, что означает понятие «сексот»?

Излишне напрягаюсь, чтобы постичь, куда вел последний монолог оперативщика, я спасовал и выпалил:

– На школьный лад: доносчик, ябеда.

Лоб его нахмурился, сокрушенно наклонился: нелегко с начинающими.

– Как можно изуродовать, опошлить достойное слово! Полностью оно звучит так: секретный сотрудник – сексот. Человек, который несет на своих плечах высокую гражданскую миссию. В школьной хрестоматии мы читаем стихи о товарище Нетте, на досуге рассказываем легенды об Абеле, стар и мал по несколько раз просматривают фильмы о Штирлице. Каждый из них сексот. Разве повернется язык назвать их ябедами?

Артистическое начало в Адаме сидит крепко. Надо ему сию минуту забыть о стукачах и мелких доносчиках – он забывает, несет затасканные легенды и верит им. Верит в благие намерения всех бойцов невидимого фронта, к когорте которых принадлежать – великая честь. Поверхностным чувством я отзываюсь на его речи, хотя школьное просветительство мне претит. Жажду справиться, действительно ли Адам настолько предан органам или пристроился по знакомству на непыльную работу и служит без веры и правды, зарабатывая детишкам на молочишко. Пора бы мне упростить игру, обратиться по имени-отчеству, но как его величают?

Паузы, чтобы задать столь церемонный вопрос, не находится. Уместней этот:

– Скажите, где вас готовят? – Это «вас» звучит здорово, побуждает добавить: – Работать приходится с людьми. Psushe – не болванка и не кочерга.

Номер проходит, вопрос нравится, на него кратко и емко отвечают:

– После заурядного института – армия, потом отбор по ряду критериев. Ну... – с долей скромности потупленный взгляд. – Ну, специальная школа, практика.

Что такое заурядный институт, я знаю, хотя мой не был заурядным. Однако далеко не в каждом институте учат нама-

тывать горячие кишки гомо сапиенса (человека глупого) на холодный и ворсистый кулак юс стриктума (строгого права). Слово «армия» вызывает мысли о казармах, пропахших застарелым потом, об издевательствах «дедов» над «салагами», далее, про пьянку офицеров, блядство их жен, про несунув-прапорщиков – такое заведение тоже не лаборатория для возвращения душевных тонкостей и философских глубин.

Пока длится пауза, а может быть, ее и нет, просто винтики в голове завертелись с утроенной скоростью, в общем, в несвежем уже мозгу, умело прибитом и разглаженном Адамом в течение двух часов непрерывной, деликатной пытки, во мне зашевелилось нечто противоположное первому негативному всплеску, и я думаю: а почему бы в удушливой, аморальной атмосфере не взрасти высоким помыслам?

В страданиях и раздумьях, как протест, пробиваются на свет Божий и крепнут натуры и там. Потом учатся не по принуждению, равняются на великих и встают против рутины, грязи, безнравственности. Может быть, такие Адамы воюют за мораль и добро. В открытую они не могут, не готово общество, слишком большая армия (в прямом и переносном смысле) противостоит им. Потому и идут вот в такие секретные организации. Да, да, именно в удушье и насилии прорастает протест.

Далеко ходить не надо, я наблюдаю небрежность, корыстолюбие, показуху заметного большинства. Любая, даже дельная, инструкция сверху обрастает поправками, как работать, чтобы не работать, как привести рабочее время в соответствие с личными потребностями.

– Люди не видят отклонения от нормы, когда тратят рабочее, оплаченное государством время на удовлетворение личных потребностей.

Да-а! Если я слышу голос Адама, а не привидения, то страхи мои не напрасны. В который раз он отзывается на мои мысли.

– Саботаж стал бедствием.

Говорит он для себя, тем глубже вдирается в мое сознание. Я мямлю, бормочу что-то в том духе, что ведь наше безделье кто-то обрабатывает, старуха с тряпкой или каменщик с мастерком. Он соглашается.

– А начинаешь воевать с таким положением, шумят: подавляешь свободу.

Человек, которого я почитаю хранителем безобразного, уродливого положения, вдруг заговорил моими словами. Если это не уловка, то можно прийти к выводу, что в мире что-то произошло, а я прозевал. Адам все больше интересуется меня. Пока он зондирует мою душу, а ну-ка присмотрюсь я к нему.

– Простите, вылетело из головы. Как ваше отчество?

Имя, можно подумать, у меня из головы не вылетело. Маленькая хитрость – называя отчество, корректный опер начнет с имени:

– Сергей Павлович.

Пошарив взглядом по стенам и не найдя часов, я украдкой поддернул рукав, прижав руку к боку, и посмотрел на собственные ручные. Два часа минуло. Ничего себе! Собеседник не мог не заметить неуклюжего движения плечом и косога взгляда. Понял, что клиент маленько притомился и можно подбросить хворосту в квелый костер. Вальяжным жестом Адам, то есть Сергей Павлович, положил перед собой листы бумаги, усеянные мелкими буквами. Откуда вынул, остается загадкой факира. От моих глаз они лежат на расстоянии полуметра, прочесть вполне доступно, гляди, на это и рассчитывает товарищ. Впрочем, по другую сторону стола сидит не юноша – излишнее любопытство повредит отношениям. Я поглядываю на окна, совсем погасшие, на лицо оперативника, в полутьме чуждое и опасное. Ноль внимания на бумаги. Придет время, сам подаст «документы» и предложит прочесть. Пока пренебрежем ими! Вот начал:

– В одной из характеристик... – упругие губы пожевали, выражая презрение. – Написал один из ваших руководителей. – Презрение относится к автору характеристики. – Писал он в высшую инстанцию, разумеется, не подозревая, что копии имеют свойство тиражироваться.

Развитая кисть дотягивается до выключателя. Свет падает отнюдь не снопом и не в лицо бедному ответчику, а ровно, мягко рассеивается по всему пространству помещения, даже не сразу уловишь местонахождение источника. Последние слова и подсветка, очевидно, дают понять, что из поля зрения это-

го дома не ускользает и самая ничтожная деталь бытия. Вон с какими округлившимися бровями и как запросто читается фрагмент отзыва о моей персоне. «Имеет склонность к интриганству»...

Нелепость до того очевидная, что я моментально соглашусь:

– Заметная склонность! – И, не давая округлиться вслед за бровями его глазам, бойко продолжаю: – Да, да. Вот примеры. Есть у нас в штате заведующий музыкальной частью Корецкий. Повышенная нервная возбудимость, активность за пределами нормы. Ежедневно он должен кого-то развенчивать, выводить на чистую воду. С одним условием: заочно. Такой-сякой говорит такое-сякое, а делает еще хуже и все не то, что делает все прогрессивное человечество. Начальство привыкло к такому его поведению, даже извлекает пользу. Он коммунист и по уставу имеет право критиковать. Надоело мне это до чертиков. При его появлении я покидал кабинет, но он шел следом и хватал за фалды. Как-то врывается ко мне и с порога: «Сидяев за кулисами выкинул такое!...» В порядке избавления я молча набираю телефон брехаловки, попадаю на Сидяева и выразительно говорю: «Олег, зайдите ко мне. Здесь Корецкий на вас говорит такое!» Оратор потух, побледнел и – в дверь спиной с возгласом: «Интрига!»

Рассказчик и слушатель улыбаются в той мере, какой требует ситуация. Понимание и поощрение получено:

– Еще можно? Артист Дробот у нас борец за творческое совершенство. Входит как-то: главный то-то и то-то. Распаляется. К тому же гундосит и покашливает. Призывает к солидарности и походу. Я, чтобы отделаться, говорю на полном серьезе: «Коллега, ты не в форме, а я еще не проникся чувством справедливого негодования. Приходи послезавтра, я проникнусь, навалимся вместе». Мне показалось, что коллега уловил мой ход, даже улыбнулся. На поверку, в тот же вечер я получил замечание от главного Вадима Вадимовича за подстрекательство молодежи к групповым интригам.

Мне больше нравится мой рассказ, чем сама ситуация, Сергей Павлович улыбается.

– Видите, какие люди нас окружают. Детский сад!

Я глухо думаю, так глухо, чтобы мои мысли не долетели до пронизательных мозгов собеседника: «Какие отцы, такие и дети. Дрянь сидит наверху, дрянь воспитывает – внизу». Не приведи, Господи, расслышит и это!

– Несомненно, – отвечает он своим мыслям, а я краснею и вскидываю глаза. И, вперившись в мои зенки, Сергей Павлович говорит: – Вам кажется, что вы их раскусили, а по сути, они пользуют вас по своему усмотрению. Простите за грубое выражение, пользуют ради побега с репетиции или рюмки водки. Однажды вы, совершенно неосознанно – мы твердо уверены в том, что вы не ведали, что творили, – так вот, вы помогли преступникам. Не хмурьтесь и не вздрагивайте.

Наверное, я помрачнел и пошел мелкой дрожью.

– Да, да. Гастроли. И... Женя.

Боже, какой же я проstack, если так отчетливо можно читать мои мысли! Но Адам, то есть Сергей Павлович, великодушен, он не собирается извлекать из моего состояния максимум. Улыбается, словно чему-то постороннему, мало касающемуся нашей беседы:

– Вас использовали как прикрытие. Женя с подругой работали в далеком хуторе, кормили, развлекали беглых. И отдавались им. Это были аспиранты их университета. А мы, то есть наши коллеги, не могли выйти на диссидентов, потому что у Жени всегда было алиби. Она встречалась с вами.

Дав мне уяснить, переварить сведения, ужаснуться коварству столь простоватой с виду, столь непосредственной девушки, оперативщик завершает мое истязание.

– А вы полагали, что встретили истинное чувство, получили Прекрасную принцессу. Повторяю, вы ни на йоту не виноваты... Но как важно, чтобы рядом оказался наш человек, чтобы сориентироваться, кто есть кто, и не дать нанести удар по невиновному.

И снова пауза, чтобы я мог прояснить для себя поворот мысли, выныривая из уймищ сведений, воистину потрясших меня. Мои ошалелые мозги едва улавливают, что мне что-то предлагают, деликатно, издали, как вариант, как необязательный совет. Даже уходят в сторону:

– Мы обходимся, управляемся сами... Правда, издали трудновато. А мыслящие, трезвые и дельные товарищи, те, что рядом работают... Те могли бы вмешаться, исподволь корректировать поступки, даже некоторые высказывания. Сколько бед можно предотвратить для тех же несмышленишек! Можно стать выше над этой мишурой, над мышиною возней. И не допустить, чтобы карающие органы вслепую ударили по грешным и праведным. Отделять, по Святому писанию, злаки от плевел. – Еще дается минута на размышление. – Если крайне нежелательно вмешиваться непосредственно... так сказать, откровенно, можно информировать... – Сказано, между прочим, мягко, не для меня, избави Боже, оскорблюсь. – А компетентные органы всегда помогут невинным людям... В работе, вообще.

Если обдумать этот бесконечный диалог ночью наедине с собой, можно прийти к мысли, что вряд ли Сергей Павлович с такой беспардонной прямоотой вербовал меня.

Говорились и другие слова, за дверью чудились шорохи, несколько раз в течение вечера он поднимал не звеневший телефон, слушал по полминуты, скрывал перемену настроения. Я задавал себе вопросы: откуда идут сигналы снять трубку, почему я не слышу речи с другого конца провода, кто нас слушает и корректирует беседу? Раздражала звенящая тишина в паузах, мне казалось, что подслушивают нас и записывают.

И встреча наша только предварительная, когда-то будет главная, уже по материалам нынешних моих высказываний, которые проанализируются опытными сыщиками, а то и электронными машинами. Держава потратилась на оборудование таких кабинетов прежде, чем на мини-трактор садовнику или огороднику.

Адам был разным: то собранным, то раскованным и приятным. Я постепенно попадал под непостижимый, добродушный, порой игривый гипноз этого вербовщика, он выросал в моих глазах, явно выигрывал в сравнении со всеми знакомыми мне людьми его возраста.

Я силюсь не подчиниться его воле и разваливаюсь на части. Одна, крупная, доля моего существа остается неприкосновенной, сохраняет порядочность, как я ее понимаю, исповеду-

ет человеческое достоинство, прячет себя подальше от бесовского наваждения, от посягательства, временами иронизирует над собой, смотрит со стороны и обогащается опытом. Другая, совсем незначительная, долька меня уступает, попадает под власть, которая уже явно становится неограниченной. Хуже того, эта слабая частица усердствует, предлагает себя, опережая спрос. Думаю, эти уступки по крохам ничто иное, как самозащита, она не приведет к большим угрызениям совести. В целом я ведь остаюсь верным себе, это всего лишь тактика, введение в заблуждение, основа – неприкасаема...

Но позвольте, кого в этом кабинете вводят в заблуждение?

Где-то стучит метроном, отмеривает отчуждение или присвоение.

Тело томится в неподвижности и вместе с тем спешит в разные стороны, похоже на старый фильм, снятый рапидом. Как бы пряча голову, присматриваюсь к стрелкам расписного циферблата на моих аляповатых часах, с изумлением наблюдаю, как перемещается минутная стрелка. Да, да, именно минутная, а не секундная. Было двадцать один час три минуты, на глазах стало – четыре, пять, шесть. Вскоре минутная стрелка станет обгонять секундную. Жутко. Чтобы не сдвинуться разумом, надо затолкать часы под рукав и не слушать стук метронома. Иначе не устоишь и сойдешь с ума не от ужаса, а от кричащего бессилия, от чего-то из кошмарного сна, вроде: человека недоумершего заколотили в трухлявый гроб и спускают в яму; там, за крышкой, немо причитают плакальщицы, переругиваются пьяные могильщики; человек не слышит, домысливает весь ужасный ритуал, пытается помочь себе – не может, тогда пытается проснуться, но это уже не сон... Потеряешь рассудок в оцепенелом состоянии спешки, в сладком до боли возбуждении, эйфории, что ли. Душа облеγχится, умом охватишь все разом, взгляд пробуравит твердь, и вот-вот начнешь видеть сквозь грунт. И полюбишь все, что окружает: кабинет без единой лишней детали, собеседника, который на поверку оказывается своим в доску парнем. Он во всех проявлениях характера намного достойней тех настороженных, припугнутых, задоенных и озлобленных молодых людей, которые

окружают тебя ежедневно в местах общего пользования, в коридорах и на репетициях.

Квадратную комнату в сером доме не хочется покидать. Тут ясность, этикет, равновесие. И безопасность. Во всяком случае, находишься в самом страшном месте, и дальше хуже быть не может. К добру ли, к худу ли, но человека видят здесь насквозь, понимают, стараются помочь выбраться из той трясины, в которую втянули коллеги, доброжелатели, любовь... Женья...

– А мы вам поможем в продвижении...

Безусловно, это повторялось немо, как глас плакальщиц и матюки гробокопателей, – вслух не произносилось. Если покопаться в очумевшей памяти, можно отыскать слова Сергея Павловича о том, что не помешало бы нам, равнокультурным, равнопорядочным людям, объединить усилия в борьбе с недомками, с той небольшой частью населения, что не умеет определиться в жизни, шебуршит, вредит и людям, и себе. Короче, привлечение к достойному секретному сотрудничеству. Нашлись увещевания и угрозы, превратившие разовый, ни к чему не обязывающий визит в длительную порочную связь, привели к проституции на общественных началах.

Лучше все это опустить, лучше продолжить отношения с того момента, когда купля-продажа уже свершилась, купчая в кармане.

С кем-то другим совершили сделку, а теперь уже заместитель того, другого, продолжает операцию. Заместитель вроде бы и не виноват в сговоре, не присутствовал при шантаже, он пожинает чужие посевы, тянет лямку вынужденно, подменяя действительных виновников, оставить ее не может, ибо коней подобрали до него, средства вложены, на ветер не пустишь. Посторонний, без обертонов, голос, знакомый с детства, наверное, мой, – звучит, бьется о правую стену, потом о левую, возвращается и возвращается:

– Ради Бога!

Слово к делу не подошьешь, со временем забудется. Вежливая в мелочах уступка, тропинка на широком лугу. Форма вполне соответствует издавна занятой позиции, частное со-

глашение, не более, безусловно, разовое, одно из проходных однодневных решений.

Чем заурядней согласие выражается внешне, тем болезненней протестует душа, и чем яростней возмущается внутренняя, большая часть существа, тем упрощенней, самоотверженней гремят слова согласия. Доходит до того, что я сам лезу в петлю. Антошина деревенская бабушка определила бы: без мыла в задницу. Пойми после этого собственную психику, пойми и совладай с нею.

Адам и тот торопится, теряется от такой внезапной и легкой победы. Не было у оперативщика весомых улик против такого с виду стойкого, развитого молодца, и усилий чрезмерных не прикладывал, не давил, и вдруг – такая виктория. Как профессионал своего дела, Сергей Павлович, естественно, не мог не знать, что жертву для него готовили тридцать три с половиной года бытия этой персоны в наилучшем из обществ, при полнейшем противоречии между словом и делом, в угаре селекции бездарностей и холуев почти на все руководящие должности, в гаме невежд-мыслителей и косноязычных ораторов, в повседневном труде на чужого дядю, в полной зависимости от не избранной тобой тети, от клятвенных заверений и легких, бесстыдных отречений, от... от... Гражданин давно созрел либо для отчаянного восстания, либо для всякого бульона, какой из него пожелают изготовить. Знает это Адам или не знает?

Адамов готовят другие учителя, список обязательной литературы предлагают иной, между прочим, и хлеб-соль на стол подают не те, и стипендия несколько выше.

– Вы подумайте... подумайте до завтра.

Молодому службисту не нужна столь скорая победа. Наставник его, патрон или шеф, как его тут величают, разумеется, сидит в соседнем кабинете, рядом или над головой, следит при помощи современной телевизионной и радиотехники за работой своего подопечного. Наверняка хотел бы видеть незаурядную дуэль: резвость и маневренность косули, а также изысканную ловкость и мертвую хватку молодого волка. А еще: чтобы клиент проявил стойкость, твердость убеждений и

редкое в наше время чувство собственного достоинства. Чтобы его можно было уважать. Пусть бы свое первое или там одно из первых дел его подопечный проиграл, вернулся ни с чем. Наставник имел бы возможность сделать ряд замечаний, пожурить ради формы молодого, начинающего хищника или там охотника за душами, но потом пришлось бы шефу признать: «Крепкий орешек вам попался, лейтенант. Оставьте его в покое. Пускай и такие размножаются во имя сохранения породы».

И позже вспоминал бы, рассказывал бы вечером другу по ремеслу, дома жене или на явочной квартире, иногда приспособиваемой для личных нужд, в антрактах, перекуривая, развлекал бы любовницу. С изумлением и похвалой поднимал бы глаза горе: какого парня встретил среди обыденной массы! Непробиваемый. Утолил давнюю тоску по личности. Мужчина!

Можно не надеяться, такого про меня никто не скажет. Во рту накапливается горечь. Неизбежный и односложный результат, можно было соглашаться в первую минуту и не убивать время. Давно бы поужинал.

– Заходите завтра, в восемнадцать.

О возможной моей занятости забывают. Усложняют задание:

– Не помешали бы некоторые доказательства. Принимать буду не один я.

...Тут опускают и требуют доказательств любви...

3

С чем явиться в серый, забранный в чугунные решетки дом?

Вещественные доказательства должны быть убедительными не только для Адама, но и для того парня, с которым он будет принимать меня не один. И в то же время не слишком унижительными для меня, все-таки Вилавы. Такой характер, очертя голову бросаюсь в проигрышную затею и при этом расчищаю хоть клочок плацдарма для отступления. Расхожее выражение звучит: хорошая мина при плохой игре. Уместней и совсем обнажающе подходят слова Антошиной бабушки: скрытный песик, укусит и зубки спрячет. Отвратительная чер-

та, однако опыт свидетельствует, что она наиболее практична. К тому же меня не покидает мысль, что ловцы, на которых зверь, то есть я, набежал так споро, «народ видалый», как говорила та же бабушка, и не простят мне моментальной уступчивости, будут смотреть свысока, говорить сквозь зубы. Переставляя людей, как шашки на доске, они особенно презирают тех, кто даже не за медный грош, а в потоке, впопыхах перешел в их «вечное и потомственное владение». Ехидная фраза уже не из бабушки, а из классика.

Следовало бы поломаться, поводить недельку-другую, уступить подороже, гордыни ради. Смешно. Случалось, ершились в том доме, выступали, показывались всякие, но без толку: шатко ли валко ли, машина работает. И время для препирательств я упустил, теперь разумно согласиться с пословицами, снующими в голове, и продолжать игру в своего парня, искать выгоду хоть в этом.

Дома застаю двух засидевшихся Лидиных подруг. Молодые женщины с хозяйкой посредине устроились на угловом диване и уже несколько часов со вкусом хлебуют припрятанный для их нечастых девишников цейлонский чай, без стеблей, без примеси. Выглядят они совсем девочками и красавицами, раскраснелись под оранжево-пурпурным абажуром с обольстительными росписями. Поносят своего ловеласаначальника, который, если верить подругам, во всем многолюдном отделе только и не переспал, что с ними тремя. Сквозь небрежно задернутые портьеры из передней комнаты слышу щебет и повизгивание, складную речь, остроты и выпады, далекие от тяжелых раздумий о нашей звонкой жизни, о добре и зле. Живут же люди!

Я устраиваюсь на узком, жестком диване, закидываю руки за голову, вытягиваю ноги – так отдыхают хорошо потрудившиеся грузчики – и обдумываю свою новую роль в человеческой комедии. Многолик и занозист мир, обитают в нем пастухи и генералы, проститутки и монахи, диссиденты и оперативщики. Кому-то в этой юдоли, для равновесия, надо служить и сексотом. Почему бы не мне, произвольно избранному Николаю Вилаве? Почему бы мне не смириться и не находить пре-

лести в новой должности? Среди прочего ныне мне дарована возможность и некоторое право выбирать, кого карать, а кого миловать. Попаду я, скажем, в компанию, позабористей той, что затаилась за тяжелой портьерой, сойдутся туда граждане из различных учреждений, уступчивые и ершистые, молчаливые и речистые. После второй рюмки развяжутся языки, пойдут свежие и с душком новости, после третьей – анекдоты, а в них персонажи из неприкасаемых сфер, товарищи неподсудных званий государственной иерархии. И я, еще недавно свой парень, не чуждый поточить язык о чиновного болвана, чудак, по оценочным данным, вне всяких подозрений, получу трижды неладный шанс решать, что наматывать на ус, а что пропускать мимо ушей, чьи потрошки подводить под всевидящее око инквизиции, а на чьи, куда более симптоматичные, закрывать глаза. Вот какой рождается судья с неограниченными правами, и, как водится в наших высоких инстанциях, без необходимости отвечать за свои приговоры. И угрызений совести можно избежать: я ведь только подаю необязательные уведомления, никаких мер не принимаю. Дальнейшее вне моей компетенции, на следующем круге еще просеют, сверят с доносами иных сексотов, потом можно надеяться, что из моих заложников никто не останется на жерновах; центробежная сила сметет их еще до того, как накроет верхний камень. Во всяком случае, мне докладывать не станут, я и знать не буду, кому сито, кому решето выпадет. Отвратительно!

Ладно, то, что я предполагаю, станется не сразу, не сегодня – со временем. Нынче необходимо найти крохотный аргумент, чтобы получить это лютое право. Надо постараться, с детства приучен всякую работу делать хорошо.

Инстинкт самосохранения подсказывает несложную увертку, кажется, и свидетельство лояльности налицо, и первый случай обойдется без пострадавших. По бабушке: и козы сыты, и сено цело. Или: рыльце пушком покроется не сразу. Не далее как вчера в букинистическом магазине наткнулся на кипу журналов, в одном обнаружил рассказ Александра Солженицына. Вот как! В торговой точке, вверенной некоей идеологически подкованной душе, продается отщепенец, злопыхатель,

враг. Это же популяризация черт знает чего и кого! Смешно и глупо. Втайне посмеются над подобным пафосом и разумненький Адам, и его шеф, если он не олигофрен. Но ухватятся оба и положительно оценят вклад в укрепление надзора – такая работа. Вчера эту припыленную книжку журнала я, на всякий грядущий случай, заткнул поглубже за фанеру стеллажа. Не уяснил себе даже, зачем. Вслух – для того, чтобы не приобрел кто-нибудь другой и не распространил контрпропаганду, а про себя – чтобы перевести дух, накопить смелости и выкупить для собственной радости.

Насмешливый голос из подсознания подсказывает: то сама судьба распорядилась. Судьбе все наперед известно, вот она и помогает наименее докучливым, наверное. Прилив энергии встряхивает меня, прогоняет уныние, женские голоса в соседней комнате кажутся привлекательными, даже искушают. Тянет подняться с дивана, войти эдак подарочно к молодайкам и сделать общий комплимент. И пообещать, что про них я никому сообщать не стану.

И тут же чувствую себя неумытым, небритым, что ли. Не иду к женщинам. Ни к кому не хочется идти.

Это не во сне, хотя самочувствие престранное, состояние похоже на бредовое, слух, нюх, зрение обострены. Настороженно воспринимаются заурадные вещи: стук, блик, аромат. На самом деле появляются в мире, или это бесконтрольные импульсы моего существа не извне, а изнутри возникают? Треснет ветка, отягощенная каплями дождя, шальной ветерок наткнется на податливую форточку и захлопнет ее – не кровь ли в висках, не сердце ли? Совершенно непохожие звуки. Но вот глухой топот, нарастающий, однообразный. Это уж точно мои собственные шаги. По мокрому асфальту, потом по ковровой дорожке, утопая, немея – не дослушаешься. Ковер змеится по ступенькам вверх. В прошлый раз было не застелено. Не дорогого ли гостя так встречают?

Я в знакомом коридоре на третьем этаже, на мне промокшие брюки, лучшие из моего скудного гардероба, на спине рыжий плащ с отсыревшими плечьями, непокрытые волосы можно выжать, как белье. Впрочем, подмышки тоже мокрые.

Чтобы не испортилось вещественное доказательство, журнал, я его внедрил за пояс и старательно накрыл полами пиджака и плаща.

В кабинете средних размеров, обитом пластиком под дуб – такие нередко встречаются в фильмах про полковников внутренних служб, – за лоснящимся от лака столом поднимается чернявый, хорошей выправки мужчина лет сорока с небольшим. Продолговатое, открытое лицо как бы просыпается на встречу вошедшим, подсвечивается доброжелательной улыбкой. На мужчине темно-синий, естественно, цивильный костюм, на только что причесанной голове следы недавней пробежки под дождем. Тоже с улицы, – отмечаю по вновь приобретаемой привычке замечать и фиксировать детали бытия. Новый вид занятий сродни моему прежнему, режиссерскому, по крайней мере, в начальной стадии. Тут же бросаю взгляд со стороны и издали на свои потуги влиться в цепи невидимого фронта. Застаю себя врасплох, жалким и ничтожным. Хорошо, что не дают углубиться и растерять всю приобретенную за дорогу прыть.

– Алексей Алексеевич, – словно желанному гостю, не убирая улыбки с тонких губ, подает руку хозяин кабинета. Пожатие заметно слабее, чем можно было ожидать от его жилистой кисти, в нем ни намек на значение. Не ожидая лишних слов, таких же ненужных, как и встреча с начальником отдела, – канарейка уже в клетке, я подбираю живот и, пошарив у ширинки, достаю примятый журнал. Бедный Солженицын, Лев Толстой нашего времени! Для каких услуг пользует тебя благодарный читатель!

– О, да вы по школьной привычке! – непринужденно и тихо восклицает чин в штатском и откидывает голову назад, всматриваясь и приглашая посмеяться.

Интересно, ожидал ли он «вещественных доказательств»?

Читал ли он Александра Исаевича? Разумеется, читал, тут широкие возможности, «поступают» отборные книги, «нерекондованные» фильмы, даже порнография.

– Из-за дождя. Зачем же портить ценный журнал? – не найдя ничего более уместного, усмехнулся я вяло и проговорил хрипло и прерывисто, петушком.

– Конспирация! – подает из-за спины уважительную реплику Сергей Павлович и, после кивка старшего, переходит к приставному столику, садится. И слава Богу! Съжившаяся от его присутствия сзади моя спина может расслабиться.

– Приятно познакомиться, – продолжает хозяин кабинета, приосаниваясь в жестком кресле и убирая, похоже, отменяя бумаги, папки, ручки. При таком дружеском, ни к чему не обязывающем разговоре атрибутика канцелярии, тем более средства, которыми можно насторожить, взять «на карандаш», ни к чему. – Мы вас не оторвали от дел? Если так, в ту же минуту можем отвезти.

Во-первых, я не считаю безопасным разъезжать в машине, номера которой известны заинтересованным людям; во-вторых, а вдруг да не туда завезут!

Пока копаюсь в своих ощущениях, пропускаю часть фразы, концовка которой звучит так:

– ...если возникнут осложнения, вы не стесняйтесь.

И этот намекает на «услугу за услугу», к тому же авансом. Контора с достатками и влиянием, если способна вот так, ни с того ни с сего облагодетельствовать. Не стану я прибегать к их услугам, но вот побеседовать... Тут меня уважают.

Реплика за репликой, возникает впечатление, что некоего молодого человека пригласили не в служебный кабинет карающего начальника, не в рабочее время, и никакие значительные чины тут не обитают. Обыкновенно, по собственной воле он, то есть я, заглянул к старым приятелям покалякать. О делах, заданиях и речи не предвидится. Понятно, новобранцу предоставлена возможность выговориться, пожестиковать, вспотеть или продрогнуть, в общем, конная выводка или выставка собак. На людях держаться умею, за спиной многолетнее хождение по подмосткам. Научиться бы мне держаться наедине с собой. Вворачиваю что-то о погоде в связи с лакированным паркетом, на который упала капля с моего рукава.

«Не обращайтесь внимания!» – отечески теплый голос в ответ. Говорят наравне со мной, начатую шутку продолжают, смеются, как новой, длинных историй не рассказывают, не утомляют излишним вниманием. Летучий диалог клеится до

того согласно, что каждый из троицы едва успеваешь вставить свою реплику. Вот образец: Сергей Павлович: «Листал вчера Паркинсона...» Я: «Чиновники плодятся самопроизвольно и в темпе кроликов...» Алексей Алексеевич: «Пришли к выводу три чиновника». И правда, в каком-то смысле мы все трое – чиновники.

Смеемся. Можно подумать, что ни сидящему во главе стола, ни его младшему сотруднику не известна моя история с Женей на гастролях, косвенная помощь диссидентам, товарищи вроде бы забыли, что приведен я для вербовки.

До чего же приятно! Хотя бы однажды в течение года, пусть на первое апреля, шутки ради собиралось в Доме актера или на квартире такое милое, почтительное общество.

Время бежит стремительно, это метафора. Но когда я ненадолго наткнулся взглядом на циферблат впаиваемых в штукатурку часов, дар речи покинул меня. Минутная стрелка перемещалась на глазах. Со вчерашнего вечера визуально наблюдать движение времени стало чем-то вроде моей привилегии. Я быстро оправился от шока, мне действительно не было жутко.

В кабинете не переходили к делу, не намекали на конец аудиенции. Немногословный молодой мужчина напротив не осложнял жизнь своим присутствием, а зрелый товарищ получал удовольствие от общения с нами обоими. Однако пора и честь знать. Проявлю инициативу.

– Не смею злоупотреблять вашим временем, – умышленно с ленцой шевелюсь на притершемся стуле.

Чтобы подчеркнуть, что визит имеет хоть какой-то смысл, безымянным пальцем подвигаю журнал с крамольным рассказом ближе к Алексею Алексеевичу.

– За журнал благодарю. Перечитаю.

Особое рвение не проявлено, нечто вроде уступки гостю. Прощаемся без натяжек, без связи с прошедшим и с будущим.

Уже в прихожей, в предбаннике, не придумаю, как назвать пустую комнату с несколькими удобными креслами и угольным столиком, из-за неприжатой двери, едва ли не спиной, слышу две короткие реплики, засвидетельствовавшие, что все это время в кабинете шла работа. Осевший от конфиденциальности голос Адама:

– Теперь к Леониду Евстафьевичу?

– Угу. – Или: – Ну-ну, – что-то, рассчитанное только на тренированный слух подчиненного.

Я не одарен от природы ни абсолютным, ни просто острым слухом. В сером доме, в его обитых до половины внутренних стенах и слух, и нюх, даже сообразительность мои болезненно обостряются. Без дополнительных причин я снова пугаюсь. Имя некоего Леонида Евстафьевича, что ли, настораживает меня?

Святой Боже! Какой невинный и безобидный простачок встречает нас за грозно обитыми, забранными в рыцарскую ковку дверями. Кабинет расположен в конце вытянутого коридора, размеры его поменьше прежнего, мебель добротная, но без шика, обитает тут чин пониже, делопроизводитель, клерк в штатском, куценький, весь в морщинах, от лица до пиджака, припорошенный пудрой, прилизанный бриолином из старых запасников, предупредительный и липучий, как паутина, старикашка.

– Приятно, приятно! Вам подвернулся счастливый случай поздравить меня с правительственной наградой. Знаете рубрику в газетах «Награда нашла героя»?

Я с долей подобострастия улыбаюсь, а сам думаю: неподражаемо звучат слова старика, когда он выпренно говорит о себе, наверное, впадает в детство. Ему бы сидеть в доме невестки в закутке и, сняв вставные челюсти, проминать деснами, что подадут. А тут он бодрится, порхает; застарелый прием показывать свою дееспособность и молодечество в рамках обжитого кабинета. Выпусти такого за пределы – не даст себе рады в заурядной очереди, расшибется о первый же трамвай. А тут – король, вершит! И утешение получает в виде побрякушек на лацкан. Заливается кенарем:

– ...Тридцать пять лет минуло, вознамерился уйти на пенсию, так вот через тридцать пять лет правительство оценило мой скромный подвиг. В Западной Украине, в борьбе с бандеровцами.

Скромный подвиг? Какое правительство? – шебуршит мятежник внутри меня. – Правительство уже трижды менялось.

Старое про тебя забыло на том свете, иначе бы призвало к себе на службу, а новое никогда не узнает. Подвернулась какая-то кампания – по разнарядке пришла горсть цветного металла. Перепроизвели...

– ...Ранение получил тогда, а награду теперь!

Переваливаясь, натываясь на давно знакомые углы, оживленный коротышка выкатывается из-за стола, вместо приветствия требует от вошедших поздравлений, собственно, сам себе говорит добрые слова и напутствия, по собственному побуждению хватая мою руку, трясет, придерживаясь за нее, чтобы не упасть. Последняя моя мысль глупа и несправедлива, но я так понимаю, так воспринимаю и перевариваю, а это моя жизнь, о ней я и говорю.

– Благодарю. Благодарю! – щебечет старец, похохатывая. – Какая жизнь начинается! Расцвет! Нам бы еще два мирных года.

Почему два? А дальше пускай воюют? Что-то старику надо успеть за эти два года: продержать ногу в стремени, а руку в кассе учреждения?

– Только два мирных года, без войн, без происков врага. Какой достаток придет!

Я вижу сквозь его окно строительство еще одного просторного здания серого цвета: расширяются органы, добреют. И слышу элегическое продолжение:

– Жаль, пойду на пенсию. А вы счастливы, молодые.

Говорить с подобным пиететом о сегодняшней жизни, когда очереди даже за пищей для Антоши разрастаются, молоко разбавляют и на ферме, и в магазине, когда какие-то полузасекреченные товарищи могут ни за понюшку табаку сфаловать среднестатистического гражданина и водить под уздцы по кабинетам и чинам, где каждое пророненное слово чревато всякими неприятностями, а мирный гражданин вышколен так, что только подыгрывает: то ведет солидную беседу, то вдруг растрогается со старым недоумком и, как выражалась все та же Антошина бабушка, без мыла в зад лезет. Выкрикивать о грядущем изобилии в то время, когда даже наша угодливая, всеврущая газета, которая подтасовывает по долгу и призыванию и то, о чем велят, и то, о чем не просят, наша залгавшаяся

пресса может, как бы об отдельных недостатках, сообщить о диком запустении деревни, о повальном блате и взяточничестве города, о моральном падении почти всех служащих и половины трудящихся!.. Я тихо киплю под плотной крышкой. Внешне держусь, только краснею, но это можно отнести на счет необычности церемонии. Громко, заглушая внутренний монолог, расшаркиваюсь:

– Рад, весьма рад познакомиться, – и с некоторым опозданием: – Искренне поздравляю вас с заслуженной наградой!

Потом пишу под диктовку заявление-обязательство: «Прощу принять... Обязуюсь не разглашать...» Все с той же болезненной поспешностью, навалом, только бы кончился поскорее этот «текущий момент», хотя бы сегодняшний, утнула эта злая минута, чтобы перевести дух, осознать, за какие грехи и во имя каких перспектив трут носом об лавку и призывают разделить ликование.

Освободиться, выбежать на улицу, набрать в легкие кислорода, уже не видя иных ужасов бытия – угля посреди улицы, драной одежды на плечах земляков, не чуя гари от заводской трубы и неисправного автомобиля, – до того ли, до упорядочивания ли жизни для других, когда сам превращаешься в элемент, загрязняющий среду: накипь, ошурок, угарный газ?

Может быть, это наваждение, фантом, сомнамбулическое состояние? Все это скоро кончится, и приятные встречи, заявления-обещания сотрутся с лица земли, останутся глубоко во мне, в памяти одного-единственного индивидуума, и загнанную, изувеченную свою память я закрою на дюжину запоров, кузнечными клещами ее оттуда не извлечешь. Я весь горю, а за столом льются воспоминания:

– Много чего встречалось в биографии чекиста... Больше в молодости, на Западной Украине... Товарищ полковник начертал... Товарищ секретарь райкома посодействовал...

И рассказывал обкатанные, округлые байки, ей-богу, чужие, дозволенные для выступлений перед молодежью. Как я ни напрягал, как ни приструнивал память, вялые, бездарные композиции, опусы, все что угодно, только не были – не ложились в нее. На их месте уже разместился на веки вечные слу-

чай, рассказанный гражданином попроще, столяром из поставочной части, который в том же пятидесятом, или чуть раньше, служил в Карпатах, и не в чине, а рядовым. К тому же выданный под хмелем.

«Дали мне, пань-маш, с Кирюхой конвоировать четверку задержанных, пань-маш, тамошних вуйков, с гор ли, с полонин, мать! Задуха, пань-маш, пар сочит с земли, с деревьев, баня, нидохнуть, ни бзднуть... А версты в гору да в гору, до штаба десять с гаком наберется. Фляга пуста, пань-маш, жрать, выпить?.. Где-то на середине шепчу Кирюхе: «А что если при попытке к бегству?» Паря свой был, вспоминаю... Закумекали эти самые вуйки, прислушиваются ушками, пань-маш, озираются. Бендеры!.. А может, и не бендеры, разберись с похмелья. Зло берет. Что там, в штабе? Сами с усами! Отвернулись те, Кирюха – в воздух. Те врассыпную. Вот так аккурат, пань-маш, законенько. Попытка к бегству...»

Господи! Прости ему! И за такое вручали награды. Годы спустя.

Леонид Евстафьевич рассказывает свое, перед ним доверчивые слушатели, его мысли станут их мыслями – идейное воспитание, от поколения к поколению. Ему невдомек, что его видят насквозь и подчиненный, и гость, постигли его несусветную глупость, ничтожество. Он наострил лыжи на пенсию почему-то через два года. И на эти два года ему нужен мир, чтобы не шевелиться, не напрягаться, чтобы можно было сказать, что они, бойцы невидимого фронта, на своих плечах держат этот мир. А денежек ему для покоя отвалят щедрой рукой, втрое больше, нежели я получаю ныне, когда в поте лица.. Позвольте, позвольте, может быть, этот субъект, начиная свою свыше дарованную карьеру, не был идиотом? Таким он стал потом, учась у старших беспрекословному и бессмысленному повиновению, страшась переместиться из кресла допрашивающего на табурет допрашиваемого, овладев искусством заменять суть явления формой, а лучше формулировкой?! А созрев и перестав встречать возражения на свои самые несуразные поступки, уверовал в свою непогрешимость – раз народ терпит, значит, народу это подходит, – стал убежденным. И

таким он всю жизнь пребывал под непоколебимой защитой государственной и кастовой секретности. Слаб человек, да простит ему Бог!

И воздух в этом кабинете мне кажется весь в морщинах, похожий на подбородок, шею и пиджак хозяина. Закрадывается мысль: как могло случиться, что на одном коридоре, в соседних кабинетах обитают, руководят, поди, обмениваются идеями и понимают друг друга две такие разновидности людей – Алексей Алексеевич и Леонид Евстафьевич. Надо хорошо платить или лишить всяких прав, чтобы удержать умного, современного человека рядом с героем, которого спустя тридцать пять лет находит награда.

За дверью я вздыхаю с облегчением, в поисках взаимопонимания упираюсь взглядом в Адама, который чеканно раскланивается с героем, а когда за ним вкрадчиво щелкает замок, плечи моего поводыря сдвигаются, потухшие глаза закатываются. Краткое пояснение:

– К счастью, таких тут меньшинство. – И добавляет сухо, как бы ища моего сочувствия: – Мой непосредственный начальник.

Так представляют достойных, с покорным наклоном головы и готовностью нести свой крест. В этом огромная доля иронии и здорового начала. Его настроение передается мне:

– В иных организациях преобладают именно такие.

Обмен похожими мыслями пробуждает меня к жизни и отодвигает приступ безумия, так, по крайней мере, кажется мне.

На минутку зашли в уже знакомый большой кабинет. Ощущения привычного еще не пришло, однако можно было считать себя не совсем гостем. Стоило приложить некоторые усилия. Комната явно принадлежит нескольким оперативникам, тем не менее, Сергей Павлович прохаживается по ней уверенно, выглядит хозяином, пружинит на каблуках, внутренне смакует удовлетворение от легкой победы, скорее всего, нехитро сданного экзамена, а может быть, просто от рядовой удачи. Меня уже прибрали к рукам безвозвратно, теперь с моими переживаниями, даже с моим присутствием можно не считаться.

Вон, небрежно лезут в ящик стола, глядя мимо, протягивают визитную карточку, мне не отдают.

– Посмотрите. Запомните мои телефоны, рабочий и домашний. Отдать визитку не могу. Опрометчиво изготовил, пользоваться же не рекомендуется. Специфика работы, – и горделивая ухмылка.

До нынешнего дня память служила предметом моей гордости, не исключено, что редкостные способности моего Антоши унаследованы от отца. А тут второй раз в течение часа память загуляла, смешала цифры, расставила их произвольно, потом смысла. Я потянулся за визиткой и схватил воздух.

– Записать можно?

– Можно. Только попадет ведь на глаза посторонним. Супруге... Кстати, о супруге. – Мне уже дают указания: – Какие бы прекрасные отношения у вас с нею ни установились, вы не включайте ее в круг наших отношений.

Требования наставника я обязан выполнять, письменная клятва уже завизирована. Сначала завизируем, потом – импровизируем. Бред!

– Отношения у нас с женой далеко не прекрасные, – пытаюсь высказаться непринужденно, огрызается новоиспеченный сексот.

– Это превосходно! – с неподдельной радостью, упиваясь успехами дня, разводит руками Адам, едва не впервые в присутствии подопечного прибегая к жестам.

Учтиво и человечно! Для его дела, то есть «для общего блага», трудные отношения с женой некоего Вилавы – это превосходно. А как оно для повседневного, точнее, всеночного страдания молодого и слегка сдвинутого в сторону секса мужчины? Плевать!

Плотный огрызок картона едва заметно дрожит в руке. Я собираюсь с силами, извлекаю из заднего кармана алфавитник, усаживаюсь так, чтобы профессионал увидел и оценил каждое мое движение, принимаюсь записывать на уголке каждой странички по одной цифре, да так, что листаются странички в обратном направлении. Сергей Павлович кивнул и поощрительно хмыкнул:

– Сами-то не спутаете?

– Имеется опыт, – сам того не желая, выдаю я.

– Амуры? – как мужчина мужчину, не надеясь на ответ, шутливо выспрашивает Адам.

Поддавливает, что ли? Деятели его штата в начале карьеры сторонятся моральных проступков, они должны быть выше подозрений. Опрометчивая шутка на любовные темы наставнику не понравится. Тем более что в руках у него сведения о Жене, мой неизбывный и тяжелый колпак. Воспитанный собеседник не настаивает на ответе, кладет палец на визитку и меняет тон:

– Теперь запомните адрес.

Чужой груз ложится на все мое тело, хмурится лоб, вдавливают глазные яблоки в глазницы. На все, что происходило до этой минуты, я запрограммировал себя: визит, второй визит, 2-3 нежелательных знакомства, пускай уж – телефоны. Хотя домашний номер ни к чему, он как-то больше обязывает, предполагает связь в нерабочее время. Я готов с некоторым запасом. Но вот домашний адрес! Это уж чересчур! Вялый шаг в сторону получился сам собой:

– Серый дом я найду по памяти.

– Встречаться мы будем на частной квартире.

– Простите, показалось, что адрес – ваш домашний.

– До этого пока не дошло.

Наверное, шутка, но можно ждать, что «до этого» дойдет. Тяжесть во всем теле я чувствую не абстрактно. Это даже не предчувствие. Факт. Приступы страха, потом безразличие, вспышки строгости к себе, затем дешевенького лицедейства, которые, сменяя друг друга, владеют мною с первой минуты встречи. Факт. Напрасные расчеты, мол, затея временная, отбоимся, отыграемся погодя, забудется – это миф.

Придется сознавать, что прихвачен я крепко, присягнул, взялся за гуж... Потом, потом продумаю ситуацию от начала до конца и намечу план дальнейших действий. Только бы в оставшееся время не увязнуть по шею, с головой, захлебнись.

Перед глазами дрожит клочок картона, всплывает слово, за ним цифра, слово, запятая, следующая цифра. Так же не-

твердо различаю голос Сергея Павловича. Вроде бы он тут и – нет его. Устал.

– Представляете, где это?

– Угу, – пустой ответ, без малейшего представления об улице, точнее, переулке, доме, квартире – через запятую, материальный объект смешивается с символом. Тут же торопливое расталкивание вздремнувшего воображения и уже осмысленный ответ: – Да, да.

– Предварительно свяжемся по телефону. При подходе к домику осмотритесь, разумненько, чтобы без хвоста.

– Само собой... – нетерпеливое возражение.

Ничего себе работенка: от Бога грех – от людей срам. Перечить бы, не соглашаться хоть в чем-то. Придумываю:

– Прошу телефоном пользоваться не часто. У меня запараллелен с кабинетом заведующего литературной частью. А это графоман, всю жизнь собирает материал для книги. Да так, чтобы не отрывать зад от обжитого стула. Присматривается и прислушивается, не брезгует и подслушиванием...

Осекся! При ком я сетую на подслушивание телефонных переговоров. Один из источников информации в этом доме – именно подслушивание. Теперь следует подчеркнуто осуждать подобную практику, чтобы выглядеть милым невеждой, таких любят.

– Прискорбно, – выручает меня Сергей Павлович, признавая свое непонимание того, что я понимаю, что он может понять...

В общем, я запутался, объяснить не могу суть нашей двусмысленной игры, игры в игре, и черт с нею! Держусь на поверхности:

– И еще. Когда будете звонить, называйтесь вымышленным именем.

Довольная улыбка, такие адресуются младенцам, начинающим кое-что соображать там, где между взрослыми давно все установлено.

– Идет. Давайте вымыслим имя.

Повзрослевший чекист может допустить такую блажь: позволить поиграть начинающему сотруднику в атрибуты сек-

ретной работы. Такая догадка почему-то бесит меня, напрягаюсь, чтобы не выглядеть глупо, говорю:

– Скажите: «На проводе... Адам».

Этим я легализую свой давний экспромт и хоть капелючку досаждаю самоуверенному хвату. Так мне кажется.

– Остроумно. Впечатление от прочитанных детективов?

– Читал. Не предполагая, что в детективах придется принимать личное участие. Но согласитесь, так надежнее.

– Соглашаюсь. Надежней и легче.

...И впрямь стало легче. Выхожу на улицу, словно на волю после целогодичного заключения. Душа поднимается, парит. Не хочется сознавать, что весомых причин для радости нет. Никаких нет. Разве что сознание: визит закончился, ничего худого со мной не сделали. По крайней мере, физически. Следующая встреча не скоро, пускай через две, через полторы недели. До того времени я свободный человек, принадлежу себе, мне ничего не грозит, от любого посягательства защищен всеильными органами. Кто служит стукачом и при этом задумывается, тот поймет мои утехы.

Да, но от кого я защищен? От органов? От них самих. Других опасностей и прежде у меня не было. Работа, скажем, через раз, но давалась, Лиду худо-бедно уговаривал почти каждую ночь, житейские запросы невысокие, обходился малым. Ничего не грозило: ни увольнение, ни половой голод – но боялся. Абстрактно, общепринято боялся, чтобы не стало хуже. Хуже жить, хуже работать. Не сладко, но перемен не требовалось, вряд ли в наше время они могли привести к лучшему.

Ба! Да я был порядочным человеком, наивным и порядочным до того, что не замечал за собой таких качеств. Материальных выгод из этого не извлекал, однако открыто высказывал мнение, и к нему прислушивались, спал спокойно, положив руку на шелковистый лобок Лиды, смотрел в глаза любому оппоненту и выдерживал ответный взгляд.

Обычно я впутываюсь в житейскую коллизию, проживаю в ней втайне, на клочках бумаги выстраиваю диалоги – это и есть моя драматургия.

Живу – изображаю свою жизнь.

Хотел бы я так изобразить свою смерть.

С понедельника у меня началась новая жизнь. Я приступил к работе над очередным спектаклем, что запечатлено в приказе на лакированной доске, и включился в службу в качестве секретного сотрудника, сексота, стукача – других названий пока не знаю, – но это запечатлено скрытой раной в сердце. Первым звонить в серый дом не стану. Подождут. Сами позвонят.

Ожидание первого приглашения дается нелегко. День, второй – так-сяк, с третьего я прихожу на работу раньше других. В кабинете со мной сидит еще один очередной режиссер, помощница Клаша с живописной грудью, которую демонстрирует изощренно и непрерывно; на параллельном телефоне – глаза и уши коллектива, Василий Самсонович, по литературной части. До начала репетиции, в перерывах и при застойной работе приходится быть на стреме. Даже в буфет не бегаю. Слава Богу, особой нужды нет: не курю, ем по принуждению, а в последнюю неделю как-то стал совсем забывать о пище. Дежурю у трубки.

Вдруг человек на том конце провода не узнает голос, примет другого за Николая Вилаву, назовется Адамом и пригласит на явку. Посторонний уразумет ситуацию и, даже не получив с той стороны имени-отчества, проделает несложные вычисления, и – рыбка на крючке. Или Адам спросит товарища Вилаву, сам не представится. Такой случай полегче. Дано: известный коллега... осталось найти, кто его требует к телефону. Голос куратора из столь непопулярного – или популярного, как смотреть, – дома многим известен, не исключено, что с органами сотрудничает еще кто-то из театра... Есть третий, четвертый, пятый варианты. Допустим, Сергей Павлович небрежен в делах и попросит постороннего передать Вилаве, чтобы позвонил, что его звонка ждут... Это глупо, но в изнуренном колготней и страхами мозгу умные мысли не водятся.

Как бы там ни было, на рабочем месте я просиживаю дольше любого коллеги, дольше наседки завтруппой, а считать ворон и дремать в урочные часы не в моих правилах. Я перечитываю все доступные периферии специальные и общие журналы, даже газеты листаю при всем моем презрении к ним. Метамор-

фозы с молодым режиссером руководство понимает по-своему: мол, как здорово, что мы помогли одаренному специалисту с квартирой, каков работяга! Вот результат нашей кадровой политики. Политики... политики... какое нудное слово!

У неприятностей есть свойство собираться вместе и сваливаться на одну голову. Стремясь отвлечься от терзаний дня, я норовил вечерами поскорее развязаться с ужином, уборкой, покончить с научными беседами с Антошей – Господи, прости меня и помилуй! – избавлялся от прежних радостей, чтобы завалиться в постель и заманить Лиду. Каждый раз мне виделся последним разом. Если бы не одержимость ее телом, я бы запил... Вдруг!

– Знаешь, я вычитала...

Когда одна рука на обнаженной талии, а другая нежит волосики, чтобы скорее-скорее ощутить атласные лепестки, – это неуместно.

– Тебе не кажется, что ты читаешь уже в ущерб себе?

Голос тихий, из-под мышки, но трезвый:

– И все-таки печатное слово отобрано, и не доверять ему – значит вредить себе.

Убираю руку, остаточным осязанием проволакиваю по животу, по бедру и – убираю.

– И что же ты вычитала?

– В двух словах – я боюсь забеременеть.

– Вчера не боялась.

– Боялась стихийно, теперь научно.

– Что же будем делать?

– Воздерживаться.

– Лишаешь последнего...

– Ах, духовная близость для тебя ничего не значит!

– Значит, но...

– ...но в антрактах?

– Ради Бога! Антоша услышит.

– Отворачивайся и спи. Ты переутомился.

Отворачиваюсь, гляжу в едва освещенную стенку, вижу вензеля на обоях, чудится, что они выписаны рукой Сергея Павловича или, хуже того, Леонида Евстафьевича.

Сплю и не сплю до утра. День принадлежит ожиданию звонка, а вовсе не подготовке к репетиции. Да еще перетасовке в голове разоблачительных вариантов, возможно, сгущающихся над моей головой.

Звонок оказывается обыденным. Трещит под ухом; перенапряженный ожиданием, я и не обращаю на него внимания.

– Может, все-таки возьмете трубку? – голосом воспитательницы требует Клаша и перемещает свою бесценную грудь со столешницы на сведенные на животе руки. Не кидаюсь, лениво тянусь к аппарату, трубку не особенно прижимаю к уху, не приведи Бог, помощница заподозрит неладное.

– Режиссерская? – голос издали.

Тон заурядный, будто из подсобки звонят.

– Николай Андреевич? – самые дружеские краски и обертоны.

– Он самый, – в том же духе отвечаю. Уточнять, кто звонит, не стоит, для Клаши идет бесшабашный, ненужный диалог, для меня – упражнение на плацу: в струнку! тяни носок! Нале... нет, напра...

– Здравствуйте! Как работается над новым произведением? – И пока все такое тянется, убеждаюсь, что параллельный телефон не тронут и что рядом не прислушиваются, можно переходить к делу. Зря ведь серый дом не вертит диск.

– Как вы располагаете временем после шестнадцати? Сегодня?

Следовало бы подумать, сделать вид, что прикидываю возможности. Однако готовность к действию прянула в первое мгновенье:

– Сколько угодно!

Вместо приготовленного для ушей по обе стороны связи небрежного, обиходного тона обнаружилось подобострашие и солдатский кураж.

– Тут незначительные сложности. Встретимся не на обычном месте.

У нас не было еще обычного места, я не обжил его, а новые координаты могли сбить с толку. Я принадлежу к людям, которые плохо ориентируются на местности.

– Подходите к металлургическому техникуму и – за мной!

Игра мне не нравится. Клашины груди перекатываются на столешнице, голубые, томные глазки останавливаются на моей физиономии.

– Адам, у тебя семь пятниц на неделе! – выходя из штопора, вернее, переиначивая подбострастие в наигрыш, смеюсь в трубку.

– Теперь по телефону нас называют Адамами, – колышется помощница и плывет к выходу: – Не станем мешать.

Ура! Ей почудилась женщина!

– Простите, тут мешали, – вполголоса комментирую в трубку.

– Привыкнем, – отечески спокойно наставляют меня. – Итак, в шестнадцать, у техникама.

Знать бы, ради чего человек претерпевает столько сумятицы! Ищет парадный подъезд учебного заведения, десять раз спрашивает себя, что говорить вахтеру, если тот поинтересуется пропуском, во все глаза высматривает безукоризненную фигуру Сергея Павловича, волнуется: а вдруг не узнает... Озирается, не наткнуться бы на знакомого, одергивает пиджак, стараясь зачем-то выглядеть прилично, хотя в голове непрестанно вертится пословица: снявши голову, по волосам не плачут, или по-бабкиному: окунулся в дерьмо, какое уж тут приличие! И еще опаска: а вдруг Сергей Павлович получил дополнительные сведения о моей политической неблагонадежности? Продолжение допроса не вынести. Сердце катится в пятки, и мир вокруг тускнеет. Даже голенастые, щедро подмалеванные студентки на высоком пороге не вызывают обычного невинного интереса.

Адам пунктуален. Вышел из троллейбуса за минуту до шестнадцати часов. Странно только, что вагон подоспел к урочному времени, неужели товарищам и черт детей колышет! По ступеням поднимается солидно, мимо вахты следует, лишь слегка кивнув. Грузный, гривастый старик даже не оглядывается на вошедшего. То ли знает его, то ли по причине обычной безалаберности ни за что не отвечающих дежурных. Из глубины вестибюля оперативщик оглядывается, скользит одним

глазом по наглядной агитации, фиксирует взгляд на идущем следом подопечном и сворачивает в узкий коридор.

За вторым поворотом поджидает и в безлюдье просит меня посидеть некоторое время. Прислоняюсь к подоконнику. Он рыщет по этажам. Заурядные мелочи жизни. Но когда над головой висит секира, когда каждая следующая минута чревата поворотом в судьбе и нравственным ущербом, то проживаешь их как последние в твоей биографии. Вот и думаю: неужели осложнения с явочной квартирой принудили оперативщика экспромтом искать помещение? Если так, то встреча наша чрезвычайно важна – мороз по коже. О чем он спросит? Что можно выложить? Ей-богу, я рад быть полезным, но у меня не находится ни единого факта, достойного столь компетентной и могущественной организации.

Наконец, сигнал подниматься на второй этаж, там – охотничья стойка перед обитой металлом дверью, похоже, отдел кадров. В проеме разминаются Адам и пожилой белоголовый мужчина с осанкой отставника, который резко бежит прочь, даже не подняв глаз на незнакомца. Осведомлен, что к чему, и тренирован. Смутиться я успеваю: любой, кто встречает меня с товарищем из серого дома, получает возможность предать или, на худой конец, шантажировать. Осклизлый комок возникает под ложечкой. Поташнивает...

В небольшом кабинете с сейфом и двумя столиками, потоптавшись, усаживаемся в сторонке, за тумбочку с журналами, так менее официально и не видно из окна.

– Как добрались?

– Благодарю.

Это ритуал. По науке невидимого фронта клиента следует обжить, расположить, настроить. Расчет на простачка. Я же не простофиля: ухищрения, психологические манипуляции мне известны с начальных курсов режиссуры. Коли явились заниматься блудом, так приступим.

– Здоровы ли домашние?

Если ляпнуть, что у жены насморк, а сын не хочет есть, он что, отправится за кавинтоном или аппетитными каплями?

– Не жалуются, – пытаюсь отшутиться. – Боятся быть сброшенными со скалы.

– Если уж действовать по-спартански, то предпочтительно начать с вашего творческого заведения.

– Уж правда: два вкалывают, пять при сем присутствуют.

Нащупывает-таки сосок, за который можно ухватиться и высосать из меня дурное настроение. Язык развязывается, снова приходит то необязательное расположение духа и та светская атмосфера, что питала меня в кабинете Алексея Алексеевича. Минут пять болтаем в самом непринужденном тоне. Перебираем забавные случаи последних дней, незаметно вплетается рассказ Адама о некоем обладателе пишущей машинки, который малограмотно печатает националистические домыслы и не стесняется развешивать их по забoram. Поворота к делу я, сколько могу, не замечаю. Дальше речь о вечеринке с кофе и книжными разговорами, которая стала подозрительной уже оттого, что протекала без спиртного. Я перебираю в памяти имена знакомых, которые непонятно зачем встречаются, если не пьют. Ни единого вопроса из уст Сергея Павловича не звучит. На кой же ляд было искать убежище? Ради закрепления знакомства, или просто выпало по расписанию? Как бы там ни было, нервы мало-помалу приходят в порядок, смирный голос оперативщика, его незначачие речи убаюкивают, исправляют жизнь. Тянет почаще открывать рот, участвовать в беседе, даже тепло чую на щеках. Про себя смеюсь, мол, за мило проведенный час спецбухгалтерия выдаст этому товарищу дневную зарплату, поделился бы...

Свойство всякую минуту прикидывать, насколько полезно она потрачена, я замечаю за собой давно, более того, уверен, что это неотъемлемая черта всякого хорошо организованного человека. Неужели началась перековка моего характера: кому-то не нужен дельный работник, портит стадо... Это я чересчур! Глянуть бы на часы, сколько сидим? Опасаюсь, не приведи Бог, увижу то, что наблюдал при разговоре с шефом в сером доме: минутную стрелку, которая обгоняет секундную.

– Ну, что, напишем немного?

Обычный для Сергея Павловича вопрос поставил меня в тупик.

По извечной своей готовности с ходу отзываюсь:

– Напишем. – Жую губами, творю подобие улыбки, прихожу в себя: – Только, право, писать не о чем.

– Сколько беседуем – и писать не о чем? – мягко, как бы по крохе подавая профессиональные тайны, возражает оперативщик. – В одних и тех же словах можно не видеть никакого смысла, а можно почерпнуть значительные сведения.

– Любопытно! – с известной долей сарказма, посмеиваясь над собой и чуть-чуть над положением, в которое попал, возражаю я. – Расскажите мне, что я тут наговорил.

Наверное, глаза мои бегают, я разом вижу узорчатую тюль на окне, различаю цвета абажура над столом, торчащее из замочной скважины кольцо со связкой разноцветных ключей. Все фиксирую.

– Да не теряйтесь, – совсем не оскорбительно поучает наставник. – Полгода не пройдет, как вы отлично научитесь извлекать подходящую информацию из простых вещей.

Не обидно, но печально. Значит, не скоро кончится этот изнуряющий факультет, полгода стажировки, потом приступить к делу.

– Впрочем, – помучив молчанием, говорит Сергей Павлович, – сегодня главное – научиться форме...

Спасибо ему, не закончил фразу. По-видимому, полной она выглядела так: научиться форме доноса. Молодец! Не отпугивает словами, которые, если их произнести, коробят, а если понять из намека, сходят за невинные. Интересно бы назвать нашу ненужную трату времени, подготовку к предательству, взаимную ненависть друг к другу своими именами, что бы у нас получилось? Неужели, как в плохих семьях: посквернословили, подрались и – милые ссорятся, только тешатся. А что, если бы я не смог прийти? Адам был бы в сильном уроне. У него тоже каторжная зависимость.

– Вот лист. Отступите сверху и слева. – Отбивает пальцем сантиметров шесть. – Обязательное начало: «Источник сообщает, что...» Бывает чуть иначе: «Источнику известен...» или «известно».

Я торопливо набрасываю услышанный текст и вымученно скидываю глаза, спрашиваю:

– О чем я сообщаю?

– Ладно уж. На первый раз я вам продиктую.

Диктант получается складный, сжатый по стилю и безобидный для обеих сторон. Смысл его заключается в том, что «по поручению», не указано чьему, источник ознакомился с внеслужебными интересами ряда сотрудников театра. Можно подумать, что без «поручения» я не был хорошенько знаком с интересами коллег. Да Бог с ними, им зачтется проделанная работа и отвечающая требованиям формулировка. Упомянутые в моем дебюте на ниве доносительства Корецкий и Дробот – а именно они под диктовку Адама составили первые объекты моих наблюдений – оказались людьми всесторонне благонадежными и полезными для общества... Уж от кого бы избавиться, кого бы изолировать от здорового общества, так это Корецкого! Оказывается, эпизоды, рассказанные мной, характеристики, далеко не лестные, можно интерпретировать так, что заведомо вредные товарищи выглядят общественно активными, трудолюбивыми. Они в каком-то сейфе, за семью замками лягут в стопку «наши» и будут процветать вне подозрений и беспокойств. А источнику следует переключиться на других, интересно, каких же?

– На сегодня достаточно. Будем считать, что творческий дебют состоялся. – Впервые замечена поспешность опекуна. – Подпись – псевдоним. Скажем, Воцев... годится? Ставьте.

И как-то без перехода:

– Сегодня встреча, к моему сожалению, короткая. К девятнадцати ноль-ноль прошу вас быть у чеканщика Осовского. Там отмечается день рождения его или его жены, Галины Ильиничны. Не суть важно. Важно, что соберутся художники...

Следует прервать его инструктаж сразу; нет смысла запоминать задание, имена и прочее:

– Я мало знаком с этой семьей. Более того, не приглашен. Это супруга моя некогда работала с Галиной Ильиничной в детсадики. Кажется, забылось. Мы с Алексеем...

– Вот сейчас припомним, – посмеиваясь и больше заботясь о том, чтобы уложиться в отведенное для явки время, чем о состоянии души собеседника, продолжает Сергей Павлович. –

Его зовут Алексей Дмитриевич. Вы с ним ездили на раков лет пять тому назад, в дни каникул. А жены могут через мужей передавать приветы и поздравления. В частности, ваша Лида через вас поздравляет именинника или именинницу... В общем, нас интересуют разговоры в среде художников... Особенно Пелехатый...

* * *

Обычное стремление поскорее сбросить с себя обузу приводит меня к Осовским задолго до застолья. Настолько задолго, что застаю Галину на кухне между ведерным котлом с кипящими голубцами и такой же громадной кастрюлей, куда женщина только начинает чистить картошку. Крупная, с фальшивой одышкой, больше для показухи и форса, чем по необходимости, Галина была прозвана когда-то мной гиппопотамшей. Шутя-любя сказал я об этом Лиде, та искренне обиделась и отвернулась в постели. Разразился мини-скандал, закончившийся жарким примирением, даже двумя кряду. И этим больше всего запомнилась супруга Леши Осовского и ее одышка.

– Какими ветрами? – обыденно и безыскусно восклицает хозяйка.

– На запахи! – Я излишне задиристо раскидываю руки.

– Запахи пока что подвальные.

– А мы поможем превратить их в ресторанные.

– В вашем клане за домохозяйку правит мужик?

– Прежде всего, с днем ангела тебя!

Великолепным жестом, словно из ножен, достаю испанскую шариковую ручку – все мое состояние, за которое компенсацию не получу.

– Прибереги подарок. Именинник тот прохвост!

Объяснять не стоит: так любовно величают в этом доме супруга, не правящего за домохозяина.

Подвязавшись запасным фартушком, поддвигаю низенький, прихваченный Галиной из детского садика стульчик, беру нож и картошку.

– Я на землю брошу шляпу, сяду на скамеечку. Положите мне на лапу хоть одну копеечку! – не слезая с молодого конька,

запеваю и тем самым окончательно располагаю к себе полузабытую товарку жены.

– Святой Боже! Как ты отличаешься от Лешки!

– Об отсутствующих либо хорошо, либо ничего.

– Знаю, ты на его стороне. Все мужики одним миром мазаны.

Кастрюля без огня вскипает от падающих в нее с двух сторон картофелин, походя подбрасываются советы, как теперь, при вящей бедности, экономней принимать гостей.

– Лучший стол теперь – шведский.

– Это где это – шведский?

Галина отстраняется от дымящей сковородки на плите, далеким взглядом мерит явно непутевого гостя.

– Там, у них, – простецки указываю ножом за спину и вверх.

– Что же ты мне голову морочишь?!

– Догонять и обгонять надо.

– Не поспею. Притомилась в гонках по пустым магазинам.

Ноги гудят, и дыхание сперло.

– Я – в идеале.

– Идеалами только и питаемся.

Гостей еще не видно, а одна особа уже подает материалец; на целую страничку «источник сообщает». Только об этой диссидентке писать грешно, двое детей на шее, Лешка с придурью, кажется, время от времени он достает ее по щекам. На ней же и муторная работа в детском садике, и партийные обязанности – состоит секретарем ячейки, что ли, – и вообще, весьма отзывчивая и участливая дама. Интересно, при всех достоинствах, ворует ли она из садииковской кухни?

– Часть пищи, небось, принесла в клюве из садика? – так прямо, по-дружески нагло вато спрашиваю.

Обнаженно-правдивая Галина Ильинична запросто отвечает:

– Кладет повариха в сумку, а я не забываю сумку на работе.

– И так каждый Божий?

– Это ты чересчур.

– Прости.

Продолжать расспросы не имеет смысла, органы не интересуются ворами или там несуннами, так же как не интересуются аморалкой, паразитизмом службистов, пьянками на рабочем месте и прочее и прочее. Черт знает, как тогда спасти Отечество!

Дверь толкают плечом, появляется ветвистый фикус, из-за него сипящий незнакомый басок:

– Галочка, прими от коллектива. Ты мечтала.

– Не я же именинница.

– А кто? Тот неугомонный? Вечно путаю. Однако прими.

Вошел круглый подстарок с короткой сединой на черепе, игриво, как принято среди богемы, сделал ножкой, подал мне ладонь:

– Дакеев. Можно просто: Ипполит Харитонович.

– Николай Андреевич.

Сказал и осекся: не лучше ли пребывать инкогнито? Хотя бы по имени-отчеству не знали. Двусмысленное положение, однако: то ли дружески распахивать себя, то ли держать ухо востро и исподтишка мотать на ус? При моей привычке заниматься несколькими делами разом я все же не приноровился ласкать человека и сосать из него кровь одновременно. Утешаю себя: со временем освоюсь.

Картошка уже кипит на настоящем огне, под бульканье в кастрюле и потрескивание на сковородке слышны толчки в приотворенную входную дверь: сталкиваясь, входят еще двое, мужчина и женщина, мохнатые, модные, до того омоложенные, что можно спутать пол.

– За что люблю Галину Ильиничну! – намекает с двери кавалер. – Она, болезная, еще на пороге вливает в гостя рюмашку и вручает бутерброд. Потом ожидать легче.

Не называя себя, пришелец пожимает пальцы моей правой, потом левой руки, хлопает по плечу, как старинного приятеля и сообщника:

– Здорово, корсар!

И опрокидывает стаканчик белой, приобнимает спутницу – супругу или не супругу, хиляет в большую комнату. У меня

в кулаке початая рюмка, жестом пирата, раз уж обозван корсаром, выплескиваю ее в горло.

– Не Пелехатый ли? – опрометчиво справляюсь у хозяйки.

– Тот трибун на междусобойчики ходит без сопровождающих.

Мешают наполняться до вдохновения.

Хорошо бы узнать имя вошедшего, но не станешь ведь выдавливать у хозяйки.

К урочному часу гости валят косяками, в одежде подчеркнуто бессистемный стиль, куртки из тонкой разноцветной ткани, джинсы на мужчинах и женщинах, прически до плеч: не знал бы, что художники, догадался бы: пальцы-то пропитаны краской с младенчества. Хватит ли на всех места и пищи? И стоило затевать праздник, чтобы понести непомерные расходы? Богема, образ жизни. В подарок несут цветы и напитки в затейливых упаковках. Цветы увянут в два-три дня, спиртное вылакают в два-три часа. Впрочем, для меня сложности не в этом... Влетает выбритый, припорошенный пудрой, переполненный лучшими надеждами хозяин, близкие приятели бросаются таскать его за уши, дамы беспардонно чмокают, выпренок желают всего. Творится нечто похожее на наши, актерские, соборные возлияния. Протискаиваюсь к виновнику.

– Леша, я случайно узнал... Вернее, Лида занята, велела мне непременно поздравить. Круглая все-таки дата!

Лобызаемся, трудно понять, сознает ли Осовский, кого хлопает по спине, с кем «челомкается», как он, издавна пишущий запорожцев да чумаков, любит выражаться. Среднего роста, накачанный и подвижный, он сверкает своими карими или серыми – при вздрагивающих бликах с потолка не разглядеть – и все норовит отвести в сторону то одного, то другого из надежных казаков, шепнуть им что-то на ушко и хохотнуть для отвода глаз.

Такое поведение хозяина не может не интересовать меня по роду новых моих занятий. Неужто свеженькие, да еще политические, анекдотцы травят? После долгих ухищрений притерся к косяку туалетной двери и услышал совершенно иной Лешин тон, пониженный, рассчитанный на одного коллегу в велюровой куртке:

– Слушай, пейзажист, – говорит он застегивающему ширинку дружку. – Слушай, не нализывайся. Выскажешься, а тут нежданно-негаданно сексота подкинули...

Я немею. Пить-есть не хочется. Вертится в памяти допотопный еврейский анекдот. «Абраша, правда, что ты с Суркой-соседкой живешь?» «Боже мой! Один раз живнул – и об этом уже все говорят!» Но он не смешит, пронизывает жутью.

Теперь выслеживаю не я. Целуют, привечают, кормят, поят, а сторониться будут, словно прокаженного.

Больно, когда уличают. В подростках я как-то задумал купить томик Толстого. Мать собирала мятые рубли на починку стрехи, я украл, сунул под тряпку на пороге, утром мать намочила жалкие купюры вместе с ошметком мешка, узрела и принялась хлестать по плечам и по голове старшего сына, не принимая во внимание, что на пищу духовную приворовал: стреха сочилась. В институте один остряк прибег к образу: «По арифметике Магницкого...» Я возьми и ляпни: «А-а, Магницкого – знаю!» И тут же поправился совсем глупо: «Не лично, разумеется...» Остряк с едкой иронией ахнул: «Разумеется». Почему-то такая насмешка ударила сильнее материнской тряпки, видимо, оттого, что невеждой труднее жить, чем вором.

Как и с кем теперь говорить? Какую шутку приспособить? С чем подкатить к Пелехатому, когда придет? От всех заготовленных приемов не осталось и следа. Выбор надо сделать тут же: или улизнуть немедленно с вечеринки и успокоиться, или набраться смелости и отделаться насовсем от конторы Сергея Павловича. Черт с ним, с повышением по службе, с прибавкой! Лида ведь своему повышению зарплаты не порадовалась, во всяком случае, не стала чаще и искренней уступать. Антоше мирские радости до лампы, для него существуют знания и их источник – книги. Бежать от Адама! Легко сказать. Погряз ведь, писал, подписывал обязательства, анализировал не однажды выгоды, ради которых пошел на ябеду. Да, но ведь разоблачили с первого шага, есть основания спрятаться в кусты или спуститься на дно. Как там у них?..

Но откуда узнал Осовский? Ни я, ни Адам не ставили его в известность. Стоп! Почему «ни Адам?» Может быть, в хитро-

сплетениях пряжи тайных органов есть и такая форма овладения людьми – их компрометация? Но тогда – за что именно меня подвергать компромату? Листовок не расклеивал, на собрания, не только враждебные, но и обязательные, не ходил. Неужели им нужен сломанный, доведенный до рабской покорности одиночка, изгой, чтобы потом забрасывать его в катавазию, и оглядки у него не было? А может быть, испытывают на стойкость? Я пью вторую, третью рюмку...

Сколько длятся размышления? Минуту, час? Теряю чувство времени. Моя прокисшая физиономия, должно быть, претит хозяину, он находит минутку, подмигивает через стол, мол, приятель, за мной! И уходит в ванную комнату. Изобретаю дюжину опровержений, оправданий, хотя твердо знаю, что убедительным не может служить ни одно. Приободряюсь, следуя за накачанной спиной. Прижав всем телом дверь, Алексей трезво и доступно выговаривает:

– Докеева, что принес фикус, запомнил?

– Ну?

– Будь осмотрительным. Сука – сексот. Стукач, если не в курсе.

Странную реакцию прочитал бы на лице редкого гостя Осовский, если бы хотел вникнуть, если бы я не стоял в тени. Щеки вздрагивают, приподнимаются, взгляд проясняется, на языке трепещут нечленораздельные восторженные звуки. Самое неподходящее вырывается наружу:

– Пелехатый задерживается?

Разгоряченный Леша не замечает оплошности. Я вне подозрений.

– Я велел ему не приходить. Налижется, распустит язык, а его и без того на кончике карандаша держат. Гениев надо оберегать. Ты был на его последней выставке?

– Му-у, – и неопределенный жест.

– Надо ходить.

– Теперь буду ходить.

Знал бы товарищ, с какой целью я буду ходить! Не знает, стоит лицом к лампочке и играет чертиками в глазах, озорует:

– Я задержался потому, что возил бутылку Пелехатому на дом. Угомонил, кажется, приспал.

...Я вдруг раздражаюсь нутряным рыданием. Меня мутит. Я вырываю в раковину. Леша поддерживает под грудки:

– Да стоит ли нервничать из-за всякой твари. Да пошли они на хер!

5

...Лида встречает ушлым вопросиком:

– Новая жизнь? Успехи пошли? Пойдут сабантуйчики, междусобойчики. Попадешь по взлетной полосе в номенклатуру. Там уж два варианта: либо сопьешься и выгонят после долгих перемещений по горизонтали, либо оскотинишься и пойдешь вперед и выше.

– А где был, не спрашиваешь?

– Не интересно. Результат на лице.

– Обиделась?

– На кого?

– Ну, это уж совсем достаешь.

– Проспишься, тогда и обижаться будем.

– Лида, мне так плохо... не так, как ты думаешь, а так плохо...

– Цицерон! Что плохо – видно, знать бы отчего?

– От... от водки...

– А водка отчего?

Не любить ее невозможно! В самую щелочку заглядывает. Но в мою щель таких, как она, не пускают, от ее честного взгляда все сгорит, испепелится внутри.

– Не ты виновата, не ты...

– Не хватало бы! Ложись. Сыт, надеюсь?

– С верхом...

Утром она не обиделась, просто ушла на работу, когда я еще никак не мог разлепить веки.

День, в видимой его части, удается. Пресса одобрительно отзывается о моей премьере, дирекция обещает отметить в приказе. Только все это в сравнении с подспудной частью моего бытия откатывается в тень, трогает, поскольку увязывается

с моими нравственными затратами ради приобретения должностных выгод. Ожидается шестнадцать часов, вызов без излишних церемоний в рабочее время, доклад в письменном виде... И доклад удастся. Тягостное настроение испаряется на пороге, при первых же репликах и одобрительных улыбках.

– Как самочувствие? Не перегрузились ли?

– Маленько, – тяну, чтобы изобрести поубедительней легенду. Намереваюсь утаить истину, однако меня может занести, и тогда искренности моей не будет границ. Чтобы долго не копать в себе, перехожу к делу: – Ничего интересного не случилось, заурядные ухаживания за женами, преимущественно за чужими. Обывательские комплименты, заваливающие, божественные словечки.

– Во-во, – как бы поощряет направление доклада Сергей Павлович.

– Я там сыграл обжору. Эдакого сластену.

– Молодец! Извините за фамильярность.

– Пелехатого вообще не... – И тут родился удачный экспромт: – Не пригласили.

Нечто похожее на вздох облегчения прянуло из наставника.

– Можно понять, хорошая компания собралась, – придерживая прыть и в том же одобрительном духе поддакивает он.

Интересно, только ли его это заключение? Или за час до шестнадцати на моем стуле сидел с докладом Докеев? Если да, то, видимо, неплохую отметку поставил опытный сексот начинающему. Еще бы! Кто-то выглядел глупее его. Такая догадка поднимает дух, и беседа протекает мажорно.

– Отрицательный результат – тоже результат, – по трафарету, думая, что поражает наукообразностью мышления, заключает Сергей Павлович.

О чем тут писать? Если бы откровенно сообщить о разоблачении миссионера из серого дома, если бы правду сказать про хозяина Алексея Осовского, про его ненависть и презрение к сексотам, о его предварительном посещении Пелехатого – получился бы материалец на славу!

Только такой рапорт не нужен мне, который подспудно, душой, крупной частью своего расколотого существа на сторо-

не уже уважаемого Пелехатого. Не нужен и Адаму, ведь пришлось бы признать беспорядок в подведомственных ему палестинах, довелось бы копать дальше, потеть, поздними вечерами засиживаться. А так он, что и я: поскорее и разово избавиться, тихо-шепотом написать бумажечку, а она суть документ для получения зарплаты... пожалуй, втрое больше моей, даже с обещанной в обозримом будущем прибавкой.

Рассуждая углубленно, я мог бы пересмотреть оценку деятельности серого дома. В нашем человечестве есть масса скотов, которым крайне нужен намордник, нужна зона страха, иначе не только отдельных граждан изведут, но и всю страну... Однако в эту минуту мне хочется ненавидеть Адама со всей его братией, топтать, поносить, чтобы возрадоваться тому, как я его здорово провел, чтобы утолить свои боли, оправдать гнусное свое лицедейство, покрыть весь ужас перед возможным разоблачением. И не походить на смирившегося Докеева.

На сей раз «Источник сообщает...» о тиши и глади и Божьей благодати. Домой «источник» вышагивает уже в привычно приподнятом настроении, миновав родное учреждение искусств, хотя не мешало бы наведаться к главному, как там способствует его выдвижению мое продвижение. Или наоборот, не суть важно.

...Звонок внезапный, в трубке самодовольный баритон:

– Николай Андреевич? Беспокоит Адам. Здравствуйте!

Неприятное самодовольство; посмотреть бы на рожицу в непривычном для нее суетливом настроении.

– Как творческие успехи? Домашние? Здоровье? – все по артикулу, только без ожидания, без малейшей нужды в ответе.

– Спаси... В поряд... Здоро... – не успеваю вставлять. Боюсь, с такой небрежностью говорят с человеком, который теряет очки.

– Не могли бы мы встретиться? Если вам удобно, в шестнадцать.

Чего уж тут церемониться! Сказал бы раз и навсегда, что время стукача номер такой-то, по кличке Воцев – шестнадцать ноль-ноль, в тот день, когда понадобится наставнику, шефу или как там по штатному табелю величают насильника и мучеложца?! Дружеским тенорком подпеваю в трубку:

– Всегда рад для хорошего человека.

Это позволяет Адаму запросто вставить:

– Хочу только предупредить. Я буду не один, так что...

Бойкое настроение мое ладонью сметает. Не один, что это означает? С кем будет? Не с товарищем ли Докеевым, Ипполитом Харитоновичем? Анализ проделанной намеренно работы? Замечания и распекание. Обвинения? Гляди, вменяют в вину раскрытие инкогнито старого стукача! Испарина покрывает лоб, сердце поколачивается в груди. Предполагал, ждал чего-то похожего, рассудок готов к худшему, а вот – колотится. До чего же недешево обходится добровольное содействие невидимому фронту.

– Договорились?

– Как же иначе! – я пускаю петуха и совсем гасну.

Следует собраться, вспомнить каждый свой шаг, в докладе попытаться выдать глупость за игру и поиски характера, как там у них, легенды, версии, по-нашему – предлагаемые обстоятельства. Трудная наука у товарищей со своим Станиславским и Мейерхольдом. Хотя бы одну книжонку прочесть по роду службы, мыкаешь в потемках, открываешь химический состав горчицы. Надо вооружиться, лучшая защита – нападение. Уж про поведение товарища Докеева будет что сказать, про его популярность, про враждебность к нему, а через него ко всему серому дому. Это же дискредитация.

...Нагло ступаю во дворик пенсионеров, без лишних оглядок суюсь в известный подъезд и толкаю оговоренную дверь – сим-сим... Там, за глазком, дежурит оперативщик. Так и есть, однообразно и скучно. Из полутьмы протягивается теплая (а может, это у меня руки холодеют), благорасположенная ладонь, рукопожатие. Спешат, даже формальный вопрос об отсутствии хвоста не задает. За моей спиной не закрывается – захлопывается створка. Мышеловка. Ледок ложится на спину.

– Прошу. Заждались, – барским и вместе с тем приятельским тоном приглашает в комнату Адам. И жест – королевский.

Можно приободриться: казнить в таком тоне не станут.

В кресле, спиной к окну, но хорошо освещенный, располагается смуглолицый, с длинным ежиком мужчина лет сорока

двух-трех, даже тень не скрывает поношенность и задубелость кожи на лице. Костюм, естественно, цивильный и от хорошего мастера. (Выдали достаточно средств, и он сшил у дрожащего перед ним портняжки). Галстук вишневый, в вишневую же искорку. Взгляд твердый, округлый, ясно, чин, профессионал, наловчен с первого взгляда проникать в суть клиента. А если не проникнет, то навяжет свою суть.

Рядом с темным ежиком Сергей Павлович смотрится совсем молодым.

– Вот, – с прежней приятцей указывает на вошедшего Адам. – Николай Андреевич, весьма и весьма интересный человек, с ним встречаться всегда не бесполезно.

Оценка хоть на выставку!

– Это, – поворачивается по-военному на каблуках Сергей Павлович. – Это Константин Михайлович, новый у нас сотрудник, перевелся с Дальнего Востока. – Потирание ладоней, ожидание, пока ежик встает, пожимает руку, проделывая все это грузно, значимо. С легким вздохом поднимает плечи мой опекун: – Уважаемый Николай Андреевич, мне было приятно вас встречать. Да вот обстоятельства складываются... Надо признать, приятные обстоятельства, когда-нибудь ударимся в подробности. А ныне вот – вместо меня с вами будет работать хороший специалист, опытный товарищ Константин Михайлович Корзухин.

Рассаживаемся по углам. У меня уже достаточно опыта, чтобы понять, что прежний мой шеф получает повышение либо отправляется на переподготовку, а то, гляди, в зарубежную поездку, что-нибудь вроде слесаря Пети Иванова, потолкаться в толпе иногородних квалифицированных специалистов по европам, лучше америкам, даже латинским, прослушать, проинформировать. Попутно получить поощрение за самоотверженный труд, не прикладывая рук...

Неприятное наблюдение: замена оперативщика не равноценна. Угрюмый товарищ значительно более пожилых лет, чем положено по соответствию со званием оперативщика – старлея или капитана. Впрочем, капитаны с такими желторотиками, как я, не якшаются. Старший лейтенант – это в сорок

три года-то?! Видать, талант! Откуда сослан, как прибился к нашему берегу? Как пометет новая метла?

– Я многое просмотрел о вас, – едва ли не первые звуки сиплого, не чуждого табаку и еще кое-чего покрепче, голоса. – Женат. Сын. – Опять не минуют сына. – Еще родственники есть?

– Да нет здесь. Тесть, отчим супруги, с тещей живут отдельно.

– У тестя машина имеется. – Это к сведению, что ж?

– Гм? Имеется.

– И вам позволено водить?

– Права есть, тесть хоть и тамбовский волк...

– Прекрасно, – оживает, однако совсем без тени вежливости, Корзухин. – Это поможет нам познакомиться с городом и пригородами. Чужой я все-таки человек в ваших краях.

Нанимали безлошадного, теперь вынь да положь тягло. Любопытно, что потребуется дальше? И как естественно, непринужденно – забава!

– Разумеется, если это вас не затруднит, – добавляет, как бы коснувшись взгляда Адама.

– Не затруднит, – стараясь проявить любезность, я отчаянно лицемерю. Решаюсь пояснить: – В пику моей супруге, с которой отчим крайне не ладит, со мной он иногда щедр.

– Если Сергей Павлович не возражает, на прогулке мы и познакомимся, потолкуем.

– Не возражаю, – с превеликой готовностью частит уже бывший шеф, вроде бы рад, что избавляется от новичка. Добавляет: – Мой вам совет: отношения и коммуникации сохранить такими же, как были прежде. Телефон, пароли. – Первая часть реплики относится ко мне, со второй он поворачивается к угрюмому старлею: – Вы, Константин Михайлович, не против, если моя кличка перейдет к вам? Отныне вы первый человек – Адам.

– Мне как-то все равно.

Несомненно, перемещение по службе у Сергея Павловича удачное, иначе он не менялся бы на глазах, ну прямо не похож на прежнего молодого ментора с постоянным сознанием собственной значимости.

– О месте встреч условитесь позже.

Ситуация настолько неожиданна, что не все успели подготовиться. Новый шеф упорно напоминает:

– Первая встреча у нас в «Запорожье».

Бестактность очевидна, она так и прет из товарища, этим он сильно мне не нравится. Осадить бы нахала, но не позволяет положение. Корзухин слишком высоко поставлен надо мной, тут не ощериться.

Договариваемся и расстаемся. И вновь я испытываю душевный подъем. Не на разбор приглашали, не угрожали ни мне, ни Антоше с Лидой. Господи, в который раз одно и то же! Утешаю себя черт-те чем!

6

Первый круг попыток начинается с тестя. Прежде я не замечал за собой такого свойства: когда я не сомневаюсь в целесообразности задумки, я способен убедить лешего освятиться. Если же с бухты-барахты требовать у старика его присмотренную, вылизанную телегу, язык теряет красноречие, в голосе сплошная фальшь. Презираю себя.

Стоит сухощавый и красивый шестидесятичетырехлетний мужчина, труда не знавший, любовью избалованный, водивший вокруг пальца род и государство. Волосы шелковистые, едва седеющие, единственная морщина на щеке, и та от шрама, дышит с присвистом, не от слабости легких, от борзой стойки, как же: явился проситель, надо хоть что-нибудь извлечь из него.

– Вилен Владимирович, нужен «Запорожец».

– Нужен так нужен, другой бы возражал. А зачем?

– В Гарусное подскочить.

– А водой не хочется? Берега хороши.

– Сушей на сей раз сподручней.

– Сподручней так сподручней. Чужой бы раздумывал, а мы свои. Свой своему – свой. Привезти чего хочешь?

– Привезти – отвезти, какая разница!

– Разницы ни малейшей. Была бы разница, сам бы разобрался. Чего нам вмешиваться! Бери. – В карман за ключами не лезет. – А вес-то большой?

– Вес? Ах, да. Килограммов восемьдесят.

– И хоть стоящее? А то, бывает, за семь верст катишь жидкие киселя хлебать. Может, пускай бабка тебе густого нальет?

Приходится высиживать, сносить юмор приемного тестя, пропускать мимо ушей его намеки, что, мол, той Хавронье (Лиде, значит) не дал бы, вынужден делать вид, что ожидаю терпеливо, без нерва, что все последующие вопросы получат исчерпывающие ответы. – Лидку, внучка – берешь?

Неплохая идея! Лиду, Антошу и... Константина Михайловича.

– Я туда и обратно.

– А то взял бы. Выпьешь, она довезет.

– Не выпью.

Пообещать взять семью – проверит, потом упреков за обман не оберешься. До сих пор у меня не было случая врать тестю, а так как он убежден, что врут все и сам на лжи благополучие построил, то порядочный человек для него что-то вроде музейного экспоната. За такого меня и держит, одалживает машину (за ремонт и запчасти), случается, делится своими тайными и многими откровениями. С тех пор, как смастерил себе почти министерскую пенсию и такой же приработок, который ему невесть за что приносят домой, Владимирович смотрит на людей с колокольни, а свои доходы называет генеральской пенсией. Мол, попробуйте с едва законченным средним обеспечить себе похожую старость!

Надвигается цейтнот. Через четверть часа на углу Тупиковой и Парижской коммуны появится случайный гражданин, проголосует, и фисташковый «Запорожец» в ту же секунду должен припарковаться к бордюру, принять пассажира. Ему там долго колготиться нельзя, людно, может подвернуться частник сходного цвета, попадет впросак; на мне скажется оплошность. Поторопиться бы, но тут...

– И правда, может, киселя попьешь?

– Спасибо, сыт.

– Обижаешься, что ли?

– Батя, – подбираю угодное обращение. – Когда я на вас обижался?

– А что, не поцапался ли дома? Так знай, по-нашему с бабкой, ты всегда прав. Она там верховодит, а ты у нее в подручных ходишь.

Нехотя, даже любя, обкладут человека, вываляют в пыли, напомнят, что их падчерица – ведьма, захочет – осчастливит, а нет – сунет за сундук до вящей надобности. Терплю и это.

– Вот и ключ. – Нащупывает сверху, через штаны. – Не помню, заправлял ли. Овес нынче дорог, экономлю. Заливаю на раз, а пустой – так лишний раз не поедешь, отложишь.

– Заправлюсь. Талоны есть. – Уже дрожу.

– Что-то ты сегодня излишне предусмотрительный! Запасался талонами, дергаешься. Не с хорьком ли едешь? – И жест эдакий по округлостям женского тела. – Не хмурься, не хмурься, ту Хавронью проучить полагается, и не раз. Вся в своего родного покойника. Все ей оставил. Не поделил с бывшей супругой, а ей на гонор...

– Батя! Знаете, что не пью и не по этому делу.

– Знал прежде, да вдруг ты поумнел, либо она допекла до живого...

– Мне бы поехать?

– Счастливо, счастливо. Знаю – порядочный, потому и нищий.

От такой оценки муторно. Шут с ним, побуду порядочным хоть в глазах пройдохи.

...На углу Тупиковой и Парижской коммуны заминки не произошло. Новый наставник, в том же темно-синем костюме с дымкой, галстук с искрой, вышел из аллеи и угрюмо ткнул пальцем к бордюру. В салоне устроился раскидисто, подомашнему, скомандовал:

– Везите. – Потом коротко: – Здравствуйте.

Ни Адамового интереса к домочадцам моим, ни заботы о моем настроении. Видимо, первый этап моей службы, с любезностями и церемониалом, кончился, наступает повседневность, а эта подруга одинакова во всех учреждениях. В сером доме добавляется легкая корректировка на страх – худший из пороков.

Тесть информирован, что его тележка покатит в Гарусное, пассажиру приблизительно один хрен, куда повернет возница.

Если неожиданно хватятся в театре, есть кому сотворить алиби, комар носа не подточит. Катим за город, сквозь жидкую, заплеванную и устланную газетами рощицу, к холодной с виду реке. С холма, за кронами лиственниц, виднеется серый берег, копошатся рыбаки. Ветрено.

Черт дергает свернуть к подбитым камнем террасам, к кормушкам. Надеюсь на малолюдые, скучный пейзаж в серый день, неужто не отворотит уважаемого Корзухина от прогулок на резиновом ходу? Ошибка, на берегу солнечно, отчаливают лодки, купаются редко, но густо шастают в плавках молодые люди, торговые точки подогревают посетителей постарше в нескольких закоулках, пиво-воды, дальше – покрепче.

– Задержимся, – что-то похожее на команду.

Скрипят колеса – у тестя прохудились тормозные колодки. Приотворяется правая дверка.

– Не стоит выходить вместе, – снова беспардонное распоряжение.

Сию одиноко за поднятыми стеклами, клещами меня не вытащишь, не то что по доброй воле: по курсу намечается опасность. Тот же черт, что дернул машину свернуть к берегу, тот же нечистый привел к ближайшей открытой пивнушке и поставил в профиль к моему ветровому стеклу, ни больше ни меньше – коллегу Корецкого. Козлиная бородка податливо трепещет на ветру, костлявая рука сценично обнимает бокал. Его собеседник, малый тощий и вялый, висит локтем на высокой стойке и внемлет умным речам Корецкого, скорее всего, осуждающего порядки у него или у себя в коллективе. Зная характер товарища по творчеству, могу ожидать, что в любую минуту произвольный импульс повернет его оживленное тело к легковушке, дальнзоркий глаз остановится на формах и цвете лимузина, найдет нечто знакомое, и полминуты спустя шелковая бородка нагло просунется в дверцу. И тут подойдет угрюмый шеф, произойдет знакомство и, как бы там ни представлялся оперативщик, проныра Корецкий завтра опубликует со своими комментариями сообщение о загадочной прогулке интригана Вилавы с весьма подозрительным типом. В мою могилу будет воткнута первая лопата. Лучше отъехать подоб-

ру-поздорову, тем более что паралитик Корецкий уже скользит взглядом по крупу «Запорожца».

Не включая двигатель, отпускаю тормоза и украдкой скатываюсь в сторонку, за пивной бар. Стоять здесь не рекомендуется. В воображении чертится вариант картинки, похожей на прежнюю: подходит милиционер, один из тех, кто добросовестно несет службу вблизи значных мест – угощают на месте и на дом дают, в минуту беседы с защитником правопорядка приблизится все тот же мрачный и перегруженный государственными печальями Корзухин, снова же – знакомство, а внутренние дела в натянутых отношениях с комитетом безопасности, значит, инкогнито мое плакало.

Нажимаю стартер, включаю передачу, звякает дверца, широкий бок наставника протискивается в салон.

– Можно ехать, – выдыхает с наслаждением.

Как хорошо выдыхает! Свежим перегарчиком и ванилью, водка с пирожным, установить несложно. Лицо сдается веселым, осанка выравнивается, дашь тридцать пять, не более. Уверенность так и сквозит, понятно, ведь дурковатый осведомитель не пожалуется на него старшему начальству. И козырь в рукаве: пил по роду задания. Можно день проваландаться, не лишая себя удовольствия выпить и закусить, а завтра, проспавшись, свежим огурчиком явиться с листком в кармане, в котором «Источник сообщает...» все, что его, наставника, душе заблагорассудится. Держу тормоз.

– Теперь куда?

– За город.

– Мы за городом, – уточняю, предполагая добрую меру хмеля справа.

– У вас один «загород?»

– Четыре. Или шесть.

– Ну вот и поехали, – исчерпывающая команда.

Корзухин не смеется, то, что он говорит, для него в порядке вещей, так должно восприниматься и подопечным. Хорошо хоть настроение его поднимается, он требует бойче:

– Рассказывайте.

– Что вас интересует?

– Чем жив город? Что? Где? Когда?

Неверно поняв вопрос и вырубив на асфальт, я принимаю за подходящую, по моему мнению, информацию:

– Побывал у художников, третьего дня...

– На этот счет меня просветили.

Приходится покопаться в мозгах, чтобы соорудить две дюжины слов и ни в коем случае не сказать ничего порочащего земляков. Нахожусь в обществе апостола службы тиши и глади.

– В театре копошимся в старых пьесах. Выше классиков не прыгнуть.

– Не понимает молодежь, – сокрушается Корзухин по моему адресу: – Кого в нерабочее время интересует работа?

Вот это номер! А я по простоте душевной считаю, что мы оба в эти жуткие минуты пребываем именно на работе. Занудистой, вредной для здоровья работе.

– Мы что, не коллеги? Не понимаем друг друга? – поощряет наставник с легким наклоном к рулю.

– Позвольте, дайте сообразить.

– Сообразим вместе, поворачивай вон к тому невинному домику.

– У вас глаз разведчика.

То, что ко мне обратились на «ты», я пропускаю мимо ушей, не бьют пока – и на том спасибо. А вот «сообразим вместе» и тычок в придорожную закусочную – это мне не слишком нравится.

Сворачиваю, останавливаюсь в тенечке, глушу двигатель.

– Я посижу, – говорю с робкой надеждой.

– Зачем же? Мы через служебный. У всякого уважающего себя торгаша есть служебный вход и кабинетик, хотя бы захудалый. Ты посиди всего две минуты. Потом входи. Так сказать, порознь.

Корзухин выбирается из салона, кряхтит, выпрямляет кости, наживает респектабельность и вес, направляется таким к черному ходу.

Две минуты спустя, изведенный скрытым гневом, никак не желая играть шестерку и – здорово исполняя ее роль, я покорно запираю дверцу и следую по тропе, проложенной наставником.

...Сидим в пустом, окрашенном в синее, с пещерным запахом, полутемном кабинетике, бочкообразная хозяйка, отсуевившись, удаляется со словами: «Теперь я вам создаю условия поработать».

Вторая рюмка опрокинута, нос тянется к носу.

– А ведь мы правое дело делаем. Пока мы с тобой существуем, вот эта вся свора тянет. Разожми кулак, отпусти линек – разбредутся, хуже того, сплетутся в ком и перегрызутся. Голодуха и холодуха нагрянут. Нашему человеку для энтузиазма знаешь, что надо? Не знаешь. Опасность. Опасность потерять то, что наработал, наворовал, нажил, все равно, что его...

Развозит его изрядно. Любопытно, на трезвую голову он так же откровенно выкладывал бы новому подопечному свое кредо?

– Ты по молодости думаешь, вот вломились в забегаловку, бездельничают мужики, глотают народное и, уходя, не заплатят. Заруби! Наш приход сюда – акт! Нечто вроде причастия. Не поймешь... Например, когда я зайду в «Подписные издания», любезно познакоплюсь, возьму девяти томник Куприна вне подписки, ночных очередей, скандалов... или приключенческий – дефицит. Это не взятка будет и не пользование служебным положением. Это акт, катарсис, по-вашему, по-театральному. И еще акт стимулирования. Они, мерзавцы, каждый на своем поприще зажрались и изворовались. Не прикладывая много труда и таланта, просто забыв совесть. Нужно видение карающей руки. Хотя бы от случая к случаю.

Корзухин растопыривает корчеватые пальцы, медленно возводит руку над столом, это должно означать нечто страшное. Не карает, но может. Да еще как, всякий наслышан.

– Вот эта, взять, толстячка, после нашего визита подобьет бабки со счетами в руках, выложит из сумки хотя бы часть из того, что намеревалась утащить сегодня, и три последующих дня подержит ушки топориком. Потом снова распоганится. Но три дня! Это экономия, куда более того, что мы с тобой глотнем и зажем, прости за вуль... вульгаризм. – Корзухин здорово икает. – А мы и впрямь попутно поработаем. Я не так давно вернулся в органы. Был, потом надолго уходил. Там два года в

разных упряжках, здесь около месяца... Чем я удобен. Не нужны явочные квартиры, не тратятся на командировки. Я на подножном. И моих подопечных не надо поощрять. Вольная охота. Можно быть мной довольным, и я доволен. Не повышают только, не уяснят, то ли я, что следует... Только мне и так славно.

Из широкого нагрудного кармана серой рубахи Константин Михайлович достает лист чистой бумаги, дорогую, купленную в комиссионном, если не реквизированную в подарок, авторучку, жестом, более твердым и уверенным, чем требовалось бы для трезвого, кладет передо мной.

– Коля! – расплывается в очаровательной улыбке. – Коля! Красивое имя. Мне говорили, что ты – приобретение для нас. С интеллектуалами по нашему ведомству трудно. Будем на «ты».

– Неудобно. Разница в возрасте. И положении.

– Никакой разницы. Все мы дьяволу душу заложили. Вот папирус. Давай-ка, чтобы не замешкаться да не забыть, напишем по форме. – Та же твердая рука пододвигает бутылку, притормаживает: – Боишься, машину остановят? Не сомневайся, гаишники тоже носят рыльце в пушку. Я им припомню... Одному участок дороги, где он собирает дань, другому причины, по которым он по три месяца забывает приходить за зарплатой в родную бухгалтерию... Так вот, государство погибает не от происков иноземных врагов, те боятся и вражды, и дружбы с нами. Погибает от хозяев жизни, вот от этих, что при корыте, не важно, что в корыте: колбаса, пивная или словесная пена. Последние самые зловредные, оттого, что либо сами дураки, либо прочих дураками считают. Наши меня отказываются понимать, а я дошел, что единственная реальная сила, которая еще может править упряжкой или там служить жожаком, то есть держать в куче державу, экономику, относительный, хотя бы прозрачный порядок, – это мы... с тобой. То есть официальные и неофициальные старатели на ниве страха. – И совсем доверительно: – Прости, что так прямо. Из крестьян я, привык сплеча. Меня не понимают. Выпить нельзя. Завязал было, чтобы перевели куда-нибудь подальше от близких, хе-хе... Сюда попал. Ты славный парень, поймешь. Я тебя наставлю. Опыт не

главное. Видение мира, широта взгляда, важна точка, с которой смотришь... художник.

Он гладит напряженный, теперь уже вижу – азиатский, лоб, пальцами расправляет морщины, вгоняет их в глазницы, безжалостно трет веки.

– Мой дед говорил: мы вымерем, то есть дед и его поколение вымрут, – некому будет вилами метать. Я тоже не захотел вилами да мешками, в училище подался... Тяжелая у нас работа, крутись да выкручивайся, поднимут среди ночи, погонят преследовать вооруженного, он в тебя стреляет, а ты в него не моги. Испроси разрешения, свидетелей подбери. А вот держимся, потому что на земле все хуже и хуже и худость проистекает не оттуда, а отсюда. – Из кулака вылуцился большой палец и дернулся вначале прочь, а потом в собственную грудь говорящего. – Хозяин – человек до того хороший, что и не хозяин во все. Придут в потемках такие, как я, и заберут. Лучше уж я схожу и заберу. – Снова растирание лба и глаз. – Прости, что я так. Не хочу тебя за ваньку держать и самому в твоих глазах не взглянуть... Завязал было, да вот попробовал, до какой степени. Развезло с двух порций. Завтра буду в норме. А спец я стоящий, до узелка дохожу. Изнутри опасным становлюсь, недолюбливают. Что-то где-то намечается, к добру ли, к худу ли, на всякий случай нас приструнивают.

Сидит передо мной коренастый крестьянин, в меру простоват, в полмеры совестлив, исполнитель чужой воли, соображающий, что в мире может что-то меняться, что сколько людей, столько же и характеров, как бы ни старались тачать их на одну колодку; давно и напрочь он воспринял образ действий тайных органов, затвердил и следует ему по собственному разумению. Кем он был раньше? Ездовым, пожарным, партийным функционером? И там, видимо, тащил лямку по образу, какой себе представил задолго до того, как подвернулась возможность приступить к делу. Бутылка брезгливо отодвинута, передо мной лист бумаги и красивая авторучка.

– Пиши. Откровенность за откровенность.

– Что же мы? Покатались, покутили, теперь сочиним фальшивку? – говорю.

Оттопыренные брови философа из опергруппы хмурятся.

– Кто сказал – фальшивку? Документ должен быть исправным, иначе за что же жалование брать!

Первое впечатление, что риторика его идет от смура, от пьяной непоследовательности. Наступил на мозоль, повернет на сто восемьдесят.

– Дак мы же ни шиша не выездили. Видел в Гарусном коллегу Корецкого, он вполне лояльно лакал пиво, умерщвлял плоть, чтобы не бунтовала против сильных. Я даже спрятался, кажется, узрел он меня.

– Отставить сегодняшнюю прогулку! Из прежних наблюдений надобно извлекать дело, а не...

– Например?

– Ты у художников вечер провел?

Потухаю, но держусь.

– Было. Сообщил.

– То, что ты сообщил, – игра воображения. Увидел и понял ты нечто иное, просто не захотел впутываться в дело. Или страдаешь ближнему. Там я не был, но из твоего же донесения прочел... – Саркастический и дробный смешок его сокрушительен. – Компания усекла, что в нее втирается сексот. – Расползшиеся губы Корзухина напоминают очаровательную улыбку сатаны. Он вершит анализ и от своих открытий получает дьявольское наслаждение. Это уже знак таланта. – Возмутитель спокойствия в художественном фонде кто? Ну? Пелехатый. С ним не совладаешь. Опрокидывает стаканчик-другой и седляет своего конька. А взрывной эрудицией он богат – читал, слышал. Если его не будет на вечере, можно отдохнуть, ужраться и – без последствий. Проясняется?

Много усилий приходится прикладывать, чтобы не кивать согласно головой, до того пронизательный алкаш. Лучший ответ – ни да, ни нет.

– Ну-ну, учись. Выбрали художники стойкого бойца по питейной части, нанесли превентивный визит. То есть послали на дом к Пелехатому, удовлетворили его главную потребность и уложили спать. В лучшие времена такие действия можно было охарактеризовать как групповой заговор. Теперь игра под-

надоела, только любуемся, как всякий яд находит противоядие. Или же понимание находит взаимопонимание. Мы делаем вид, что ловим, а они делают вид, что прячутся. Вот так и живем, поддерживаем и занимаем друг друга. Сергею Павловичу, человеку не без царя в голове, при его головокружительной карьере, тоже нужны тишь, гладь да Божья благодать. Вот ты одним ходом удовлетворил и тех, и этого. И себе нажил капиталец. В переносном, разумеется, смысле. – Пропадает улыбка, хмурятся брови, западают глаза. – Однако, кроме всех хитро-сплетений и выгод, существует еще истина. Вот ради нее и изобретен наш аппарат. Последняя инстанция. Истину можно использовать в прямом смысле, можно – в переносном, то есть послать на хрен, но знать ее необходимо. В противном случае шест выпадет из рук и собаки перегрызутся. Боже, сколько гадов выползет из всех щелей! Заживо загрызут.

Широкая, с темными костяшками рука прихлопывает лист и тут же уходит в сторону.

– Пиши. И продолжим отдых.

– Что писать?

– Не паясничай! Умен ведь. Ты хоть дерьмом обмажешься, а трепетный интеллигентик из тебя просветит. Тебя делали на логарифмической линейке, а то и на учебнике морали. Это нас в капусте находили, и то спяну. – Сколько горечи прорывается в его голосе! – Пиши, кого посылали к Пелехатому.

Ярость, подогретая высокой и преувеличенной оценкой забулдыги, полыхнула во мне, я поднялся на его уровень:

– Может, написать, что на именины был заброшен не один стукач? Был там еще коллега, который называл себя Докеевым, проще – Ипполитом Харитоновичем, в богеме его звали сука-сексот. Может быть, это он дал вам исчерпывающие сведения, а вы перед новичком корчите из себя Шерлока Холмса и развешиваете лапшу на уши для пущего авторитета дорогих и незаменимых органов?

Константин Михайлович огорошен, сидит, глазами хлопает.

– Коля! – восклицает он тупо. – Дружище! Так вас там два таких было? Ну и ну!

– Что значит – таких?

– Ослоухих. Или слепцов. Скорее всего, надувателей.

– Не вкручивайте!

Корзухин хорош уж тем, что позволяет с собой спорить, играет в открытую, знает цену и себе, и оппоненту.

– Ах, вкручиваю, – добродушно, по нисходящей возмущается он. – Упростим вопрос. Раз уж ситуация описана неким Докеевым, как ты полагаешь, чего уж тут прятаться в кусты? Пиши, ничего не теряешь, а приобрести – подворачивается случай.

– Кто приобретает? Я? Вы приобретаете! Мол, Сергей Павлович позволил объехать себя на хромой, а я, Константин Михайлович, выдал из камня сыворотку!

– Верно. И я поправлю репутацию. Ты пиши. По форме. А ту бумажонку, что оформил прежде, я изыму из обращения. На тебя не падет пятнышко. Ты мне нравишься.

– Зато вы мне не очень. Это про вас анекдот: приходите, мы вас вешать будем! А вы с вопросом: веревки выдадут или свои приносить?

Корзухин обманывает мои ожидания. Я стремлюсь причинить ему боль, хочу видеть гнев, слышать рев, чтобы убедиться в успехе. Вышло по-другому: прирожденный сыщик в голос рассмеялся.

– Ты злишься оттого, что проигрываешь, трещишь по швам. А я в настроении оттого, что всех вас насквозь вижу. И тебя, и Докеева, и Сергея Павловича, и даже пришибленного Леонида Евстафьевича.

Приходит очередь опешить мне:

– Вы давно знаете Леонида Евстафьевича?

– Век бы не знать! Но, надеюсь, глупость – не бездонный колодец, рано ли поздно ли исчерпается.

Нелестная оценка по адресу старшего начальника, тем более совпадающая с моей, радует и успокаивает. Такой Корзухин, каким он представляется сейчас, не подведет. Можно заполнять документ.

– Спьяну мы вершим дела, – бубню почти стихами и уступаю.

– Я до обидного трезв уже. Еще часик, и я не способен буду столь лихо расколоть не то что тебя, но и пересохший орех.

Далеко зашел человек, вдохновляется только в алкогольном угаре. Жаль, одарен по-своему...

«Источник» сообщил любопытные и глубокие данные о вечеринке в кругу художников. Тонкие наблюдения, заумные догадки, умение слушать и слышать, смотреть и видеть, прямо уроки режиссуры – все умещается на двух страничках. А слог каков! Ясный, сжатый, наполненный бурлеском и неожиданными оценками. Рука пишет, не отрываясь от листа. Мысли самопроизвольно изливаются. Автор приходит в хмельной восторг от своего сочинения и тем походит на Корзухина.

Пробежав одним махом обе страницы, старлей щурится:

– Стихотворец!

– Ах, спрячьте! – Откуда кокетство?

– Я повторяю: переходи на «ты».

– К чему уж теперь? Уличен, за горло схвачен.

– Юноша! Именно теперь. Под одним колпаком. Ни мне в мои просторы возврата нет, ни тебе к твоим интеллигентам. Знаешь, как понимают в народе нашего брата? Какой чести достаивают? Лучше уж смиришься прямо, грубо, по-крестьянски. Или как там у вас, начитанных да удуманных? Правда – не девушка с подиума, голая – она имеет неприглядный вид.

Цинично? Махни рукойпрежнему покою. И ноша будет легче, и угрызений меньше.

Узловатая, почерневшая рука тянется к бутылке.

– На брудершафт. Или как там у вас, на посошок?

– Ни как у вас, ни как у нас не стану.

– Уступаю. Не пей. Дело разумею, как древний крестьянин, а что к делу не относится, гуляй, как знаешь.

Спасибо, учитель!

7

Машину не ставлю, а вкидываю в гараж, ключ тычу теще через порог, ворочу нос в сторону, показываю на ноздреватые, не по-весеннему холодные тучи, мол, ваш внучек называет их снеговыми. И сбегая с глаз тещи. Достаточно для него будет информации от этой проницательной дамы.

В свою квартиру вхожу вприпрыжку, как ни в чем не бывало.

– Приветик! – ласково шлепаю Лиду по обтянутой спортивными брюками попке и, не дав ей обернуться, ныряю в ванную.

– Назююкался, что ли? – слышу за тонкой дверью. Эти люди без комплексов не ошибаются.

Вроде бы нет досады в голосе супруги. Надо не спеша раздеваться, основательно постоять под душем, даже понежиться в ванной, а то и побриться на ночь. Доверимся Корзухину, который, словно нанялся, напоминал о моем интеллигентном статусе. Каждую пуговицу отстегиваю на счет три-четыре, тяну время. Сильно отвлекаюсь на мелочи: подбираю зубную щетку, небрежно брошенную мимо гнездышка, видимо, сыночком, проверяю свежее полотенце на сушилке, развлекаюсь счетом до дюжины и в обратном порядке. И уже знакомый черт мешает посидеть взаперти. Не успеваю оглянуться, стою под распылителем. Понятно, тороплюсь поскорее сесть за ужин напротив супруги, разведать, каким духом она сегодня дышит, чтобы составить программу речей и действий на нынешний вечер. Почти с отрочества вместе, пора бы приловчиться, ан нет, каждый раз, как первый раз, нащупываю подход, прицеливаюсь, как кот к купающемуся воробью. Чудо в том, что в момент прыжка происходит сакраментальное превращение воробья в овчарку со всеми вытекающими для кота последствиями. Этот вечер особенно важно провести в согласии, возможно, в любви, еще одна неприятность – и нервы не выдержат. С чего начать? Где взять новый приличный анекдотец или городскую сенсацию? Отвлечь от запаха перегара и корявых мыслей, подступивших к ней с порога. Умается, уснет, я уж сам с собой как-то разжую, рассу свои тяготы.

С вареной улыбкой выхожу из ванной. Тут же трещит телефон.

Антоша стоит рядом с аппаратом, но он до того сосредоточен на фишках заковыристой математической игры, что звонок может продолжаться до утра или до того момента, когда он решит задачу для старшекласников. Трубку поднимает Лида. Вытягиваюсь, когда она цедит сквозь зубы:

– Добрый вечер, Вилен Владимирович.

Прислушиваюсь, улавливаю направление беседы. Она говорит скупой и ровно, впрочем, с родителями она всегда холодно любезна. Надо взять бритву, отвлечься. Пока ковыряюсь в столе, растягиваю витой шнур, телефонный разговор заканчивается, Лида встает за спиной.

– Лучше позже, чем никогда, – кивает она хорошенькой головкой в сторону бритвы.

– Не понял?

– Машину зачем брал? – Честные люди – беда, не церемонятся.

– Впервые, что ли?

– Не на хорька ли?

– Терминология мамочкина, да?

– Генетическая наследственность.

– Можно пройти в спальню?

– Есть ли смысл бриться?

– Лида!

– Антоша, иди в свою комнату! – Начало всех начал.

– Лида!! – Последняя попытка.

– Можешь одной фразой и внятно сказать: зачем брал машину?

– Подумаешь, какая сложность!

– Говори!

– Если бы что-нибудь из ряда вон, в дороге придумал бы версию.

– Ты до того бездарен, что и соврать убедительно не умеешь.

– Это приятно знать. Но приходилось слыхивать о себе и другое...

– Я слушаю. – Она румяна, звучна, горяча.

– Приятель уговорил.

– Имя!

Бывают в жизни случаи, когда в голове не отыскивается ни одного русского имени, сегодня только персонажи из французской классики: Эжен, Шарль, Люсьен. Остальные женские, не приведи Бог спутать! Накатывает волна гнева. На себя, на собеседницу.

– Скажи, тебе никогда не хочется вот так, ни с того ни с сего, послать все к чертовой матери? Работу, свой район, рожи, постоянно мелькающие перед тобой? И смотаться куда глаза глядят?

– Постоянно хочется. Но мне пришлось бы посылать к чертовой матери кухню, Антона, тебя. Приходится выбирать. Где был?

– Трудно даже сказать. В поле.

– Там не подают спиртное.

Ну что тут скажешь? Не прибегнуть ли к лести?

– Знаешь, лучше бы я женился на дуре.

– Дружище, подбирай комплименты попроще. Улавливается только первый смысл. Где был?

– В Гарусном.

– С кем?

В памяти вертится одно-единственное имя, при этом не представляю, куда может привести его упоминание.

– С Корецким.

– Позволь паузу. – И после паузы: – Прежде ты был более разборчив в друзьях. И на кого же он клепал весь день с тобой?

– Во-первых, не день, а пару часов. Во-вторых, откуда ты так хорошо осведомлена о характерах моих коллег?

– У твоих коллег не характеры, а повадки. Повадки запоминаются при первом же наблюдении. Как у животных. Они однозначны и типичны. Давай не уходить от дела.

– Мы занимаемся делом? Я полагал, глупостями.

Из комнаты Антоши доносится спасительная реплика:

– Мамочка, на моей кровати уют! – Лида вынуждена отлучиться.

– Управлюсь, поговорим. – Ничего хорошего не обещающий тайм-аут.

Нет более угнетающего для меня состояния, чем отсрочка. Бог знает, какие аргументы накопит благоверная в течение часа, что припомнит и куда вздумает повернуть к ночи. Бриться не стал, в одних трусах рухнул на диван лицом вниз. Пытаюсь вышибить клин клином: поворошить в памяти пережитое за день, покрыть грозной неприятностью, в которую я впутал-

ся на вечере у Осовского, вернее, при повторном доносе о нем, этим грядущим скандалом пробую заштриховать обычную домашнюю схватку. Листаю в памяти лица, слова, вычисляю возможные последствия. И впрямь блекнет ревность Лиды, страх перед нею.

Какая же я свинья! Нет, свинья – это нежно и добродушно сказано. Докеева обзывали сукой. Если учесть, что Ипполит Харитонович ничего не сочинял, ничего даже не узрел в хитро-сплетениях вечера, то имя, дарованное ему, слишком лестно для меня. Я был доверчиво, дружески посвящен в простецкую тайну именин, в жизнь припугнутых полуинтеллигентов, вынужденных ради спокойного, безобидного торжества изворачиваться, прятать по чуланам своих лучших друзей. Я, зная, осознавал все это, сочувствовал художникам, заочно любил вольнодумца Пелехатого – и все же нагадил за ворот. Исподтишка, подло, точно по присказке Антошиной бабушки: потайной щенок – укусит и зубки спрячет. Только надолго зубки не спрячешь. Потревожат Алексея... Осовского, кого-нибудь еще из честной компании, те задумаются всем кагалом, а среди собиравшихся найдутся мудрые и проницательные головы – видел, слышал. Парни живут широкими интересами, знают много, не то, что я знаю: дорожку к репетиционному залу и обратно – к постели Лиды. Они вычислят меня, пойдет молва по миру, крестись да беги! И прощай обещанная доброжелателями из серого дома и уже начатая карьера, прощай уют в доме со сладкими скандалами и сладострастными примирениями... И Антоша.

Чем больше я вдумываюсь в перспективу своей житухи, тем крепче люблю жену и мальчишку. И ненавижу себя. Не достоин я того, что мне даровано судьбой. Получил я великие милости каким-то кривым путем, не за терпение и труд, не за нравственную жизнь. Лиду, считай, изнасиловал в общежитии, воспользовался ее минутной, чисто материнской слабостью, потом почти принудил выйти за меня замуж. Ребенка она вряд ли хотела столь рано – уломали обстоятельства. И должность, и прибавка к зарплате – все это вроде тридцати сребреников Иуды Искариота.

Но почему так, а не нормально, как у людей? Ведь люблю я Лиду, и дай Бог каждому, как! Сыном счастлив, удачного-то какого вымечтал! В театре теперь я хорош, по мнению местных и столичных специалистов – хорош. Ходу не дают только потому, что я не член партии, на руководящие должности принято сажать из своей селекции, проверенных и обязанных по уставу и выплате взносов.

Страшно подумать, но ведь могло быть по-другому. Надеюсь я только на свое терпение и на свой труд, получил бы все, что получил? Вместо Лиды – заурядную девушку, которой в силу характера или повадок, как говорит та же Лида, был бы верен; ребенок достался бы Бог знает какой; а уж должность и прибавку – к пятидесяти годам, и то при безвыходном для руководства стечении обстоятельств.

Стало жаль себя. Поплакать бы. Нельзя – мужчина, опора семьи. Жене позволено плакать, маленькому – тоже, а тут? Матерись, надирайся до чертиков, можешь поколотить семью, даже милиция не вмешается, а плакать – не принято. Пусть перепуганный и прибитый из-за угла пыльным мешком (образ бабушки) начальник управления наступает тебе на грудь, пусть главный вертит тобой, как цыган солнцем (не знаю, чей образ), ты не моги плакать. Ты мужчина, даже роптать и жаловаться тебе не пристало. Хреново жить у нас мужчиной, да еще молодым. Пожилые бабы в очередях вон как распускают языки, власть и партию поносят на все заставки. Их не берут. А мужики даже на интимном, именинном вечере должны выворачиваться через задний проход (снова перл бабушки), чтобы не попасть в серый дом на задушевную беседу, не привлекаться унизительно к сотрудничеству. Не престижно у нас быть мужчиной, неразумно молятся наши евреи: благодарю тебя, Господи, за то, что ты не создал меня женщиной. Выродились мужики, совсем выродились под многими и мощными прессами, если могут вот так, как я, продаваться и продавать налево и направо... Слеза сочтется сквозь смежившиеся веки.

Лида стоит у дивана. Как бы все это выглядело красиво! Медный отблеск луны из окна окантован синим, загадочно распущены волосы, тронь их – обожгут. Дыхание затаилось,

можно поклясться, в женщине просыпается женщина. Выдергиваются сами собой тесемки халата. Совершенное, из фантазий классика обнаженное тело скользит под прихваченное из ниоткуда одеяло. Оно горячее, атласное. Трепетные пальцы с колючим маникюром – тоже. Подушечки мизинцев играют по моему плечу, спускаются вниз, нащупывают трусы, сдирают, швыряют в угол. Одна рука на груди, другая на спине, переворачиваюсь. В ее руках я податлив. Прижимается живот к животу.

– Жалкенький ты мой...

– Лида...

– Молчи. Не мешай мне...

– Я подонок...

– Знаю...

Ее маленькая властная рука уже между нами, дотягивается...

– Лида, я не пьян, я – скотина...

– Ты – мой...

Возбуждение медлит, тело чужое. Она долгим, сладким поцелуем накрывает мой рот. Трепет, копившийся в руках, переходит во все тело. Только он не уместен, он не от тех чувств. Крепко сжимаю жену в объятиях и выворачиваюсь.

– Я не стою...

– Знаю... я...

Я вдруг верю, что она и впрямь все знает, что слова ее не пустой звук, не попытка заткнуть мне рот. Могло ведь в этот раз все произойти так, как в прежние многие разы: сладкий скандал, полунасилие. Ее стихия – отдаться, как бы уступая насилию. Не она первооткрыватель, есть классические образцы: Мария Стюарт...

Могло быть ныне, как прежде. Не будь моих последних четырех недель. Хотя бы последнего дня... Тело расплывается, молодая любовь умирает. Сердце отсчитывает частые удары, болит. Болит впервые, сильно, наразрыв.

Я не могу ответить на акт примирения. Она это чувствует. Грубо поднимается на ноги. Отходит:

– Дослужился...

«Источник сообщает, что, выполняя поручение, он в течение гастролей присматривался за поведением Н. А. Вилавы. Н. А. Вилава, как и в известный период, делал попытку поселиться в одном номере с артистом Лео Вениаминовичем Пришибовским. Случился неясный для меня казус. Что-то Пришибовский узнал о Н. А. В-ве. Источник слышал раздражение, ворчание со стороны старого актера и такие слова: «Я вам, Николай Андреевич, верил, на репетициях вникал во все ваши замечания, а вы?...» Потом Вилава пробовал поселиться с молодыми артистами, «оленьями»: Сидяевым, Горышевым, Дроботом. Но их номер оказался трехместным (четвертая кровать явно была вынесена троицей). Ныне В-ва живет с радистом Корецким. Завтракают в рабочей столовой, в театр приходят вместе. Настроение В-вы сильно неровное, то возбужден, то уныл. Чуждается окружающих, после репетиций исчезает. Третьего дня нужен был главному, разыскать не удалось. К вечерним спектаклям приходит как бы с похмелья. Впечатление, что за обедом принимает дозу и заваливается спать. Заметно потерял интерес к окружающему. Был замечен пьяным всерьез. Тогда не произносил ни слова, но пристраивался то там, то сям к компаниям и со сценической выразительностью прислушивался к речам. Думаю, его интересуется мнение коллектива о главном нашем В. В. Литко. Тот упрямо гнет линию на перестройку театра, и пошли слушки то ли о сильном повышении его, то ли о снятии. Выяснится, источник сообщит. Выходить на сцену в разовых эпизодах В-ва отказывается, ссылаясь на занятость (писаниями своими, что ли?). Не нуждается в приработках. Отношения его с главным претранные. В. Литко потеплел к нему, при людях проговорился о вроде бы сильном таланте Вилавы-драматурга. В то время как Н. А. В-ва отвечает шефу настроенностью и молчанием. Иногда В-ва исчезает из театра, в гостинице тоже не держится. Гастроли в целом проходят успешно, играем кассовые пьески.

15.06 – С. Полоцкий.»

Теперь я все принимаю на свой счет. Меня настораживает, гнетет, задевает даже то, что, на поверку, не увязано с моими тайнами.

Клаша объявляет о помолвке. Точно не знает, с кем, просто томит одиночество и нерастроченная невинность. Пора, а то чокнется. Молодые ловеласы всей труппой умоляют первую красавицу театра включить их в число претендентов. Они признанные мужчины, все, от Горышева до Лежанчика, хотя последний обременен сыновьями и пасынками. Среди прочих прозвучало и мое имя. Как отбивалась помощница раньше, не знаю, но тут всем телом повернулась к моему столу, смерила вспыхнувшим и тут же погасшим взглядом и поразмышляла вслух:

– При всех перспективах и выгодах... Николай Андреевич не подходит. Какой-то ненашенский.

В другое время выходка не стоила бы внимания, ныне же режет по живому. Откуда «при всех выгодах»? Что за тон? Надо бы поставить на место девку, хотя бы оборвать почувствительней. Ничего изысканно-ядовитого не приходит в голову. Только воспоминание, что однажды Клаша заслужила у меня увольнение. Прикусываю язык, зарываюсь в журнал. Понимаю, что и тут теряю очки, прежде остер был на ответы, в долгу не оставался. Теперь посапываю, делаю вид, что запоминаю текст из журнала. И жду.

Да, да, жду, когда освободят кабинет лишние гости, жду звонка от Корзухина. Должен быть звонок или нет, жду. Где-то старлей, старый лейтенант, с кем-то встречается, подшивает какие-то бумаги, хорошо это для меня или плохо?

Телефон молчит, вообще молчит, ни уважаемое управление культуры, ни коллеги с приветами-ответами, новостями хоккейными, базарными, семейными – ни одна живая душа не беспокоит.

Берет сомнение, работает ли аппарат вообще. Снять трубку, проверить. Так просто обнаружить свое нетерпеливое ожидание небезопасно, с некоторых пор я живу с учетом окружаю-

щего: глаз, ушей да языков, могущих засечь, обсудить, причинить зло.

Не трезвонит, проклятый! В сером доме, как и во всякой менее оплачиваемой и заурадной конторе, свои перипетии, вытаскивают нос, увязает хвост, вытаскивают хвост и так далее, не до всего доходят руки, заботы и время отводятся делам более важным, после уж на мелочь и присмотр. Но знали бы в том нечистом доме, как все это сказывается на повязанных ими, вспугнутых и неприкаянных, не решающихся по три месяца позвонить, справиться о себе, где они сейчас находятся по тайному гороскопу и чего им ждать. Эти грешники спокойными себя чувствуют только на глазах у опекунов.

Выфранченный Сидяев отвлекает от телефона. Выходит вальяжно, в тридцать лет носит почетное звание, заговаривает вполголоса с Клашей и еще с двумя бездельниками, вставшими спинами ко мне, умышленно, что ли. Всякая реплика острым концом должна коснуться меня.

– Платонов у тебя есть?

– Нашел кого читать!

– Не скажи, «Чевенгур», говорят, сдвигает основы.

– У нас не издавали.

– Враги по радио читали ночью.

– А ты эдак ненароком попал на их волну?

– А еще есть у Платонова «Котлован». Давали на денек познакомиться.

– Осилит? Чудак!

– Ты про язык? Одни перлы. А натуры какие! Инсценировать бы. Один инженер, нет, в общем, уволенный один... Запаматовал фамилию.

Подмывает крикнуть: «Вощев!» Тем самым напомнить о своей репутации начитанного человека. Своевременно осекаюсь. И тут табу: Вощев – мой псевдоним. Псевдо... что-то фальшивое, лукавое в этом слове, глубоко недостойное.

Олег Сидяев приближается, надвигается на меня, явно ищет общения. Плечи мои поднимаются, голова оседает, обе руки уходят в ворох бумаг, на подходящего – ноль внимания. Уйди, уйди! – заклинаю внутренним криком. Повинуясь не-

слышной команде, опасный гость останавливается, взвешивает какие-то «за» и «против», вдруг отчетливо произносит:

– Вощев.

– Вощев! – эхо от окна...

Мне кажется, что оба голоса – в мой адрес, одно желание – провалиться, испариться, не существовать. В один день сколько напастей, а сколько дней тянется с тех пор, как я не получаю звонков, а сам, придерживаясь своей линии, не навязываюсь! Слава Богу, на сей раз обходится. Олег на пятках разворачивается, делает два скупых шага к троице у окна, повторяет сакраментальную фамилию. Дальнейших слов не различить, охи да ахи. Впору бы пресечь бездельников, мутит от праздно шатающихся актеров, рабочее место они спутали с курилкой. И так ведь у нас везде и всегда: вяжут свитера в лабораториях, механизаторы льют самогон в тени гудящего трактора, начальники раздевают секретарш в рабочем кабинете, машинисты спят у рычагов электровоза... Я из тех, кто рожден пресекать безобразия. У меня потребность есть... была... лишен! Еще в прошлый сезон рывкнул бы. С недавних пор незаметно-потихоньку для меня стало все – чем хуже, тем лучше. Пусть болтают, вяжут, сношаются, пусть распадается здоровый труд и тут, и в иных заведениях, может, тогда на него, на труд, переключат свое вездесущее внимание государство и его комитеты – а то ведь принялись было и передумали, – пусть возьмутся по-настоящему за паразитов и оставят в покое смирных, работающих, безвредных смердов вроде меня. Ведь и правда, я безвредный, смиренный, работающий. Отчего же не звонит телефон? Отчего не позволяет по тону, по косвенному смыслу речи абонента определить, насколько может служить намеком реплика великолепного Сидяева, узнать, где нахожусь на сегодняшний день я, Николай Вилага, каковы мои ближайшие и дальнейшие перспективы? Думается только об этом, забываются маленький Антоша с его обаянием и интеллектом и Лида с ее неизбывным влечением. Кажется, я начинаю их терять, не с той, так с другой стороны.

Грузно, решительно поднимаюсь – актеры поворачиваются в мою сторону, выпрямляется Клаша, я направляюсь к выхо-

ду, плотно прикрываю дверь из коридора, прибавляю шаг по лестнице вверх, в кутузку пожарных. Застаю пустоту и одинокий телефон в совершенно освобожденном на случай пожара пространстве. Оглядываюсь и впервые проявляю инициативу, набираю номер, тот, что записан в алфавитнике задом наперед, а в моей памяти – крест-накрест.

– Калитин слушает.

– Мне Ада... Константин Михайлович есть?

Понятно, в том кабинете несколько столов, трубку снял сосед.

– Константин Михайлович у нас не работает. Але, слышите?

Слышу. Просто забываю нажать рычаг. До гастрблей и отпуски он работал, сегодня – нет. Много воды утекло, потоком унесло старого лейтенанта. Вместе ли с моими повторными доносами на художников? Или успел старатель оставить бумаги в отделе, тем самым доконать одного из рьяных стукачей, по-мульти покладистого и наименее виноватого. Лучше все-таки положить трубку, не множить подозрений.

...Вхожу в режиссерскую побледневшим и опавшим, как вчера, как и позавчера. Меня перестают замечать, наверное, делают вид, что не замечают. Плутовка Клаша из-под локтя, из-под тугой, очаровательной груди зырит на обмякшую фигуру молодого постановщика и нетактично спрашивает:

– На ковер ходили?

Поднимаю глаза, уставляюсь в нее и пытаюсь понять, что значит «на ковер». Постепенно дохожу, рассеянно улыбаюсь. Насколько бы лучше было сходить на ковер, хоть три раза.

– Я отлучусь на часик.

Где-то в дебрях рассудка возникает желание залить горькую тоску стаканом горькой. Горькая тоска плюс горькая настойка дадут обратный результат, проверено столетиями. Однако не поднимаюсь. Как врос в стул, так и усыхаю.

– Что же вы, Николай Андреевич, передумали? В случае чего, я выкручусь, скажу, что вы на почте. – Это милая Клаша по-матерински касается моего плеча, сейчас перейдет на «ты», вернет мне старое доверие, давешние отношения, еще те, что были до моего решения выжить девушку из помощниц, до то-

го, как она не включила меня в число претендентов на ее руку. Хорош я, коли столько жалости.

– Я передумал.

Разумеется, не отойдешь от телефона, она начнет «выкручиваться» на звонок из серого дома и сболтнет лишнего, подумают, что я сам себя раскрыл. Упираюсь взглядом в циферблат на руке и наблюдаю неподвижные стрелки. Забавно отсчитывают часы мое время, то торопят, то берут на заглушку. Криво усмехаюсь и опускаю рукав. Надо что-то делать, не по постановочному плану, а по спасению собственной шкуры.

...Телефон подает голос в половине шестого вечера. Я позволяю ему вызвониться, твердо зная, что это «оттуда» и зывают ко мне. Лениво снимаю трубку, потягиваюсь, будто меня видят из серого дома, отзываюсь, позевывая, как после дремы, в перерыве между неладной репетицией и ответственным спектаклем – целая жизнь.

– Режиссерская.

– Это Адам. Здравствуйте!

Адам, ясно. Только не последний, а первый, Сергей Павлович. Тем более следует говорить без суеты.

– Очень приятно...

– Простите, некоторые события не позволяли позвонить раньше.

– Я считал, что вы вообще в отъезде, – продолжаю вольготно.

– Об этом потом. Как у вас к девятнадцати ноль-ноль?

– Лучше к без четверти.

Может быть, четверть часа и не играет ни малейшей роли, но сама роль задумана так, что уместно попривередничать малость. На том конце провода легко соглашаются:

– Если не возражаете, я буду не один.

– Я как-то начинаю привыкать.

То ли гора с плеч, то ли новый тупик – не разберу. Ждал – позвонили, хотел видеть алкоголика Корзухина – явится умный Сергей Павлович с довеском. Хорошо, если все-таки с Константином Михайловичем, пожурят, поучат, притопнут ножкой, Бог с ними, я сколько уже топал сам на себя, перенесу, не потеряю в весе больше того, что уже потерял. Хуже, когда со

старшим начальником, с каким-нибудь Леонидом Евстафьевичем, тут ожидай инспекции, неприятностей.

За четверть часа до урочного времени спускаюсь во двор, на всякий случай озираюсь и ныряю в переулки. Петляя и пересекая дворы, приближаюсь к домику пенсионеров с такими многообразными заботами: от скупки картошки оптом – потому что взлелеянная обитателями старинного дома страна не может обеспечить продуктами через магазин, – до сдачи под явки комнат, потому что дело революции без надзора выветрится. Если бы я в спускающейся ноябрьской тьме прошел по главной улице и однажды свернул в переулок, тревоги не прибавилось бы. Но я шнырял подальше от битых фонарей и фантазировал Бог знает что, пока не распалил свое изумленное до крайности воображение. Мне почудилось, что за мной следят. Вот так, спиной чувствую настороженный, жесткий взгляд. Оборачиваюсь – никого. Прячусь за угол, проскакиваю редущий к зиме палисадник и просматриваю, сколько могу, квартал: кто-то маячит в глубине переулка. Обхожу домик с другой стороны, прыгающие догадки подсказывают: Сидяев живет в этом микрорайоне, походя поинтересуется, куда я и зачем. С его наблюдательностью несложно засечь раз и второй и сделать далеко хватающие выводы. Нет, Клаша. Почему Клаша? Потому что из полутьмы приближается женская фигура. Женская и слишком знакомая. Конечно же – Лида! Лида!!

Неприятности удваиваются. Клашу, Олега, любого другого знакомого несложно обвести вокруг пальца. Сокращает человек дорогу, идет напрямиком, а куда, тут уж дозволено импровизировать. При самой неудачной выдумке в конце имеется кругленькое и неоспоримое выражение: какое ваше дело? К стадиону, в подвальчик за спиртным, еще не девятнадцать ноль-ноль. К любовнице, в конце концов! Это для посторонних. Что сказать Лиде? Эта трудная женщина лучше меня знает про стадион, на который ее супруга бульдозером не затолкаешь, про спиртное, которое он постыдится покупать. Трудно. Что касается любовницы – шутки плохи! Тут она первая выдвинет предположение и сформулирует приблизительно так: «Пассию завел? Как же иначе, режиссеру по должности положено!» Да с

таким акцентом, что стекла в близстоящих домах задребезжат. Дай Бог ноги!

Приседаю у низкого штакетника, ползком добираюсь до края палисадника. Двое мальчишек с противоположной стороны ограды тоже приседают, из солидарности, что ли, и на полусогнутых следуют параллельно моему курсу. Повизгивают, над взрослым дурачком смеются. Я поднимаюсь, прихватив с грядки корешок, рассматриваю, интересен мне осенний плод, что-то у меня общее с ним. Пячусь за угол и – прибавляю скорости. Еще можно оторваться от супруги. Домой! Даже план действия созревает в мгновение ока. Влетаю в комнату, чайник, чугунок с варевом на огонь кидаю, попутно раздеваюсь, в течение минуты принимаю душ и сажусь ужинать. Да газету в руки, да физиономию в надлежащий порядок. Вот и обведена вокруг пальца Лида.

Домой можно, но велено-то идти в совершенно противоположную сторону. Там ждут, не один, уже сам по себе опасный Сергей Павлович, но еще кто-то, не менее угрожающий. Сто раз повторяется внутри тягостный стон: и зачем было связываться с этим заведением! Идут, подготовились, оговорили приемчики, какими станут распекать недобросовестного ябеду. Не явиться нельзя, хуже будет. Всегда боюсь не того, что уже есть, а того, что будет. Вся сознательная жизнь приучила меня к тому, что на лучшее впереди рассчитывать глупо. Вот так и смиряется человек с едва выносимым настоящим, только бы не пришло будущее, каким бы светлым его ни обещали.

Рискнуть перебежать переулок и между двумя увитыми облетевшим диким виноградником или хмелем заборами продраться к троллейбусу. Только ведь непременно наткнешься. А тут еще пацаны увязались и преследуют по пятам, скоро начнут швырять камешками, как в слободского сумасшедшего. Сзади возгласы: «Эй, юродивый, возьми копеечку!», а ты вытянешься перед любимой с идиотским видом: «Ба! Кого я вижу? Сколько лет, сколько зим?» После будет вдвойне хуже.

Допрос, на котором я не выдам клятвенной тайны, озверение Лиды, предложение развода. Квартира записана на нее, а я человек гордый и... податливый, никаких судов-пересудов, сын

останется с нею, барахло там, тряпки – тоже. Черт! В этом мире все принадлежит не мне, кому-то другому. За сколько лет торговой и довольно успешной работы, прихалтуривая и экономя, талантливый интеллигент сподобился завести два костюмчика да заграничные штиблеты, на которые дышит. Ни радиоаппаратуры, ни коллекции марок, паршивой карманной трешницы никогда нет. Рубль – моя красная цена в базарный день! И с этим смирился, и научился гордиться бедностью, честной бедностью, мог спать спокойно... Какой черт спокойно! Ни достатка, на поверку, не оказалось, ни спокойного сна. Уж лучше воровал бы да благовал, оброс бы зажитком, пару раз перевернулся бы ночью – и вся недолгая.

Казалось, что я убегал от жены и приближался к домику пенсионеров, но, присмотревшись из-за столбика, вижу впереди себя удаляющуюся элегантную и близкую фигуру, а двухэтажка остается далеко в стороне.

Я решительно не в состоянии сообщать. Домой!

Спиной прижимаю дверь, перевожу дыхание; на завалившегося на бок над рабочим столом Антошу ни малейшего внимания. Не обидится, тут отец и сын при полном взаимобезразличии. Со вчерашнего дня Антон заинтересовался оборудованием доменной печи, пока не перечитает всего, что достала по теме мать, не отвлечется на папу.

На приготовление пищи, душ, камуфляж с газетой уходит десять минут. Входи, входи же, ненаглядная, будешь посрамлена!

Истекают еще десять минут, потом двадцать и тридцать, рагу истреблено, чай выпит, газета прочитана по всем полам. Супруги нет.

Хорошо бы лечь, подремать, а еще лучше – отвлечь сына от чрезмерного чтения, потолковать с ним о доменных печах, в которых отец профан записной. Однако почему-то обрек себя на ожидание именно за столом и с газетой перед носом. Сознаю, что глупо, иду в комнату. Не к сыну, ком событий и нерасположение души держат подальше от него, даже отчуждают.

Лида является еще полчаса спустя. Безмятежная, красиво притомившаяся, чмокает Антона в голову, кивает мне сквозь

просвет в двери, издали, малознакомо, скрывается в ванной. Что прячется за ее взглядом? Ожидать ли разбора событий после ужина? За нею водится: накормит, даст перевести дух, после начинает резать по кусочку. «Я хотела...» Околеешь от переживаний, пока дождешься, чего она хотела. Потом гнусненький намек, не в бровь, а в глаз, да такой изысканный, такой не для меня и не про меня, что лучшее избавление от разговора разве что прямо в петлю.

Ничего похожего нынешним вечером не происходит. Хозяйка дома довольна и величава. Преследовала несчастного, разрушила идиллию делового или интимного свидания – для нее все на один аршин, истерзала чужую печень и вот проплывает павой, искушает на ночь глядя, что ли? Неспроста. То ли она про меня что-то чрезвычайно важное знает, то ли я про нее ничегошеньки не ведаю! Например, где она кружила поздним холодным вечером? Надо спросить, интересно, что отразится на ее посвежем и румяном после ванны личике? «Лида, где ты так поздно?» «Задержалась». Исчерпывающе и безапелляционно. Потому, что жена Цезаря выше подозрений. А попробуй Цезарь ответить столь лаконично, стены заходят ходуном. Впрочем, она не отвечает, а я не спрашиваю. И пусть катит! Слава Богу, не интересуется, куда я намыливался ранним вечером.

– Ты что, выслеживаешь меня?

Впору бы спросить мне; спрашивает она.

– С чего ты взяла? – оскорбляюсь.

– Показалось.

– В следующий раз, входя в переулки, крестись... – Осекаюсь.

– В следующий раз, входя в переулки, осеню себя крестным знаменем.

– То-то, – с нажимом и баском огрызаюсь. Проговорился я или она выдала себя, потому и не замечает моей промашки?

Контроль над ситуацией все же утрачен, впрочем, как и над всем ныне происходящим. Слева и справа, спереди и сзади обложен, гоним, кругом виноват и вину свою наращиваю изо дня в день. Разбирая постель, бубню:

– Ты заметила, что я не интересуюсь, где ты, гм, провела вечер?

– Тебе ли интересоваться?

– Муж все-таки.

– Повтори. Что-то новое.

– Не повышай голос, сын занимается.

– Это я-то? Это ты повышаешь голос!

– Нет, ты!

– Ты!!

Сам напросился на скандал. Глянуть со стороны, как теперь часто эти два образованных, недурных человека рядом выглядят уродливо! С чего бы это? Что или кто их толкает на подобные извращения? Кто принуждает терять свое лицо? Какие злые силы вмешиваются в их жизнь? В их работу, в их любовь, в конце концов? Сегодня снова уляжемся порознь, не согреем друг другу тела, не заблудимся друг в друге.

И никак не исправить положение, никакими словами и стараниями. Только усилится рев двух глоток, вскипит ненависть, отринем друг от друга. И я буду всю ночь подыхать от любви к ней.

Свет гаснет как-то само собой, противоестественно разбредаются по углам два молодых тела, не дышат, не сопят. В омертвелой тишине из-за двери слышится всхлипывание. Беззвучный, одинокий плач чем-то важным обиженного ребенка.

– Довела человека.

– По твоей милости.

– Пойду успокою.

– Не смей!

Уже не крик, оцепенелая, ледяная ненависть. Нашаривает халат. За каждую слезинку сына я готов отдать сто капель своей крови. Как это получается, что я готов жертвовать всем ради благополучия и спокойствия Антона, иду на преступления, а в результате служу первопричиной страданий маленького, слабого, трудолюбивого и ни в чем не повинного существа?.. Ком сворачивается из слюны, застит... застит горло. Мышцы, сухожилия дрожат. Не слышит ли стона супруга? Припишет мои страдания только своим неодолимым чарам, тогда столе-

тия не хватит для примирения. А ведь все до того покатилося, что и чары ее ни к чему.

Всю ночь корю себя за случившееся, за малодушие, принимаю окончательное решение махнуть рукой на серый дом со всеми его обитателями. И тут же отдаю себе отчет, что при первом же звонке побегу на явочную квартиру, выклянчу у тестя машину и повезу и напишу, что продиктуют. Из таких, как я, имя которым легион, состоит прочный замес, скрепляющий нынешний режим, то есть – безвластие.

Посылаю в который раз к нехитрой матери Лиду и знаю, что если позовет из тьмы, перекачусь в ее угол. Как после всего такого относиться к себе? Катиться дальше?

10

Сергей Павлович стоит в дверях явочной квартиры. На нем светлый двубортный костюм из толстой в крупинку ткани, жилет с затейливой застежкой наверху. Он стал выше ростом, и без погон видно, что воинское звание у него повыше, нежели было в прошлый раз. Весь размахист, добр, больше монет. Какое разительное несходство: он и – я. Там жизнь упорядочена, надежна, сдобрена искренним напутствием, а тут – кончена.

Привычный мой фальшивый экстаз, заискивающий, ожидающий смягчения смешок предваряет рукопожатие. Вот я весь, переступаю порог с добром, прошу отвечать мне тем же. Я принес несколько забавных историй из повседневности, приятных для слуха и безвредных для державы, сейчас подброшу шутку для разового пользования, уместно округлю глаза, внимая речам наставника... Только не надо допрашивать, не надо произносить ничего такого, что напоминает насилие, – может случиться страшное. Смирный, растертый в пальцах, распорошенный человек взорвется, и вы, благонамеренный товарищ, ни на йоту не уязвивший этого заплутавшегося, изъевшего себя простака, вдруг услышите о себе, о своей конторе, обо всей вашей системе такое, что разом утратите весь свой лоск и патентованную любезность. Вы проснетесь от летаргии успеха, заблуждения, и злодеяния ваши станут очевидными. Вы утратите покой и сон, как утратил их я!

– Заходите. Давненько...

– В прошлый раз помешал хвостик. Наткнулся на жену.

– Не стоит вспоминать. В нашем деле случаются непредвиденные повороты...

Снято первое напряжение, этот счастливый человек умеет делиться своим неизменно превосходным настроением.

– Входите, не впервые.

Свален один камень, есть еще второй, Корзухин и моя ябеда. За спиной Сергея Павловича возникает третий камень преткновения: высокий рыжеволосый молодой человек с наежившимися усиками, в расстегнутом пиджаке-куртке и пуловере под цвет своих волос.

– Знакомьтесь, – тем же беззаботным, ровным тоном представляет Сергей Павлович: – Георгий Леонтьевич. – А кто он и чем знаменит, это, как и многое другое, остается для меня не обязательным. Очередь кланяться мне: называют мое имя-отчество и уважительно так рекомендуют: – Вилага, мы много хорошего говорили вам об этом человеке. Воцев.

Можно подумать, что Константин Михайлович, Адам-второй, не приносил Адаму-первому донос, писанный рукой Воцева и совершенно опровергающий первую ябеду того же источника. Что делается вокруг? Справиться бы эдак аккуратненько. И справляюсь:

– А Константин Михайлович заболел или в командировке?

Сергей Павлович нехотя информирует:

– Квартирный вопрос. – Ухмыляется на мои округлившиеся брови. – И у нас он стоит остро. Потому Корзухин уехал...

Понятно, Адаму-первому выгодно обласкивать меня, я – его конек, на таком скакуне всадник взял важный барьер, надеется запрыгнуть выше. Черт, ничего тут не знаешь достоверно, строишь догадки в меру своей испорченности.

– Отныне вашим куратором будет Георгий Леонтьевич.

Усердие и заранее готовое согласие мокрым прынуло из моих глаз. Затушевываю все это шуткой:

– И наречем его Адам-третий!

Общее, располагающее ко всему доброму веселье наполняет явочную квартиру. Сергей Павлович сегодня неподражаем:

– О ваших псевдонимах я рассказывал Георгию Леонтьевичу.

Обо мне распространяются в сером доме. Видимо, заполучив стукача из людей редкой в нашем городе профессии, к тому же явно не пентюха, Адам-первый приобрел репутацию недюжинного вербовщика. Интересно, что собирается позвать на этой ниве Адам-третий?

Я чувствую себя проституткой самого низкого пошиба, которую сутенер за бесценок передает из рук в руки, не считаясь ни с ее вкусами, ни с ее моральным состоянием. На всякое его предложение она отвечает удовлетворенным «гы-гы», потому что она дура, потому что она нищая, ей нужен кусок хлеба и ночлежка. Она не испытывает ни малейшего удовольствия от общения с кем бы то ни было, хоть с Адамом-тринадцатым. Да вот незадача: сутенеру великодушно наплевать, что там она испытывает. Коль уж ты проститутка, груздь, то полезай в кузов.

Улыбаемся, просто комната смеха. Новый наставник протягивает пачку «Столичных», бывший – издали отводит руку: не курим. Слово по сговору, тянут время. Мне кажется, что идет подготовка к внезапному вопросу о моем доносе Корзухи-ну. С течением минут понимаю, что тягомотина идет с единственной целью: выбрать время, отпущенное для «работы», истребить часы и получить рубли. Ну, может быть, еще этикет: глупо же вбежать, ткнуть новому куратору в руки одного из его осведомителей и – разбежаться. Положено сотворить надлежашую атмосферу, завязать хорошие отношения, эдакую дружбу между волком и козлом, между кукловодом и марионеткой.

Между тем нетерпение сдает меня. Потеряв всякую осмотрительность, готовый извиняться и извиваться, в открытую спрашиваю:

– Константин Михайлович ничего не передавал вам?

– Корзухин-то? – будто припоминая, кому принадлежит малозвучное имя-отчество, поднимает брови Адам-первый.

– Да, после давней нашей с ним автопрогулки...

Каким же долгим кажется ожидание ответа, какими тяжелыми веки, которые до середины глаз опускает Сергей Павлович, чтобы выразить пренебрежение к известному пьянице и вместе с тем не высказать ничего порочащего коллегу. Понят-

но: растущему чекисту требуется, чтобы в его команде обстояло все прилично, без сучка и задоринки, а некий Корзухин привносил изрядную долю запутанной и нелицеприятной реальности. На старом лейтенанте далеко не уедешь. Милей Адаму-первому я, такой откусит, где укажут, обкатает во рту, смочит слюной – проглотишь, не почувствуешь. Неприятности пусть остаются другим, на нашем небосклоне – ни единой тучки. А служба идет, зарплата – тоже. Верно ли понимаю существа дела, нет ли, только пусть и впрямь будет тишь да гладь.

– Ну что ж. Оставляю вас, товарищи, для дальнейшей работы.

Сергей Павлович стоит в дверях, подает руку только мне. С младшим сотрудником, надо полагать, он встретится вечером. За полы не удержишь, хотя не мешало бы выяснить; с этим Георгием Леонтьевичем во что играть? В благородство и шарм, как с Адамом-первым, или в самую что ни на есть подноготную, как требовал Корзухин?

Остаемся с глаза на глаз. Чужая, вязкая тишина. Кто этот медно-рыжий, со щедрыми конопушками, стройный и мускулистый молодой человек? Георгий Леонтьевич? Допустим. Адам-третий? Приемлемо. Однако как он служит своему дьяволу и что ему от меня нужно?

Молчит, мягко, изучающе рассматривает собеседника, пауза затягивается до того, что становится неловко. Мне кажется, что в этой малой компании ведущим выступаю я, я имею опыт работы уже с двумя оперативниками, побывал в переделке. А этот едва ли прошел практику. Устроить бы наши отношения так, чтобы игру и впрямь вел я. Скажем, темы для бесед исходили бы от осведомителя, а не от оперативщика. Принести правдоподобную легенду, мол, такой-то товарищ проронил то-то, стоит уделить ему внимание. Спустя время сообщить, что вышеупомянутый тип встречался с другим, себе подобным, они вдвоем побывали там-то и там-то, вскользь разговаривали с таким-то. Нагнетать интерес к совершенно безвредным людям, плести сюжетец месяца два-три. Потом исподволь спустить интригу на тормозах и закончить убедительными аргументами, что он не стоит выеденного яйца. Случаются ведь промашки, работа слишком тонкая. Славненько! Кое-что про-

делано, и никто не пострадал. За три месяца, за время моего невинного саботажа, в голову придет новая идея – голова-то творческая, – примемся волынить со вторым сюжетцем. И без эксцессов. Судя по характеру Сергея Павловича, в сером доме многие радуются, когда нет неприятностей. Вот хватаю еще одну продуктивную мысль: заговариваю о человеке, про которого куратор заведомо знает, что он тоже стучит, но тот же куратор твердо уверен, что я и представления не имею о тайном доносите́льстве коллеги. Я предлагаю услугу, прослежу, пожалуй, за поведением и высказываниями Н. Сразу не отметут, не с руки. Еще пару месяцев, а то и больше можно перебиться, зависит от вдохновения. Смотрю, только сиюминутные экспромты обещают полгода продержаться на плаву и никого не утопить. Потом можно изобрести что-нибудь похлеще. Мозги ведь свободны, работа не занимает, страх лишиться зарплаты ушел, серый дом взял на себя заботу о моем трудовом стаже, он оградит от козней главного – Вадима Вадимовича. Интересно, много ли подобных мне паразитов где-то получают неплохие зарплаты, а занимаются совершенно не тем, что хоть что-нибудь производит?! Наверное, достаточно, страна ба-аль-шая! Потому – прочь угрызения совести! Только бы продержаться. Полгода, год... А дальше что?

До мыслей о скверне и полуживотном существовании не доходит, рыжеволосый Адам подает голос. Видимо, он продолжает фразу, начало которой, занятый своими прыгучими идеями, я не слышал:

– ...И никаких провокаций! Бывают ловкачи, на людях сами подбрасывают анекдотец, вызывают на откровенность, прилежно слушают, участвуют в осуждении пороков, а потом на досуге систематизируют высказывания простофиль и составляют довольно убедительную картину инакомыслия. Это подло и вредно. Отталкиваем от себя людей. А нам нужно знать истинных противников нашей идеологии. Потому доклады следует с полной ответственностью. За каждую строку, написанную здесь, отвечать.

Вот тебе и рыжий! До чего же бывает обманчива внешность! А говорит-то как, нотки прокурора, или как там велича-

ются воистину ответственные чины? Словами-бульжниками Георгий Леонтьевич оправдывает свое солидное положение и обращение к нему по имени-отчеству.

– Мы сходимся, – продолжает он глуховато и на низах. – Мы сходимся не в домино постучать. – Боже, какой образ! – Для того, чтобы постучать в домино... – Напрасно повторяется, примелькается образ... – есть нерабочее время и специально оборудованные столы. Мы же тратим часы, принадлежащие государству, хорошо оплачиваемые часы. – Нахал! – Делом следует заниматься хорошо или совсем не заниматься им. Коль уж мы почувствовали призвание, встали на стражу государства, то должны сознавать, что приблизительностью, частичными усилиями не отделаемся.

Вот оно что! По призванию идут у нас стучать... в домино. Дурак этот новоиспеченный оперативник? Или убежден, что перед ним сидит непроходимый пентюх? Не может здравый человек столь глубоко заблуждаться. Куда прямее был подонок Ягода, некогда, справляя должность заместителя руководителя Чрезвычайной комиссии, говоривший, что его соколы могут заставить доносить любого взрослого человека по той неизбывной причине, что тому, болезному, не захочется терять работу, у него есть семья, ему хочется есть... А тут – призвание! С таким товарищем – сложненько.

– Мы будем не отбывать, а работать.

Батенька! Да ведь не равные условия труда у нас! – хотелось воскликнуть. – Ты с четырьмястами рубликов, даровой одежкой, сиречь: получаешь компенсацию за то, что не носишь форму, и приобретаешь в закрытом распределителе вон какой шикарный костюмчик! Посещаешь спецбольницу, располагаешь иными льготами. А тут единственная конституционная привилегия – подневольный труд под неусыпным контролем и с постоянным одергиванием раскусившего тебя главрежа и тысячи взаимоисключающих друг друга инструкций, и все за сто пятьдесят рэ.

Разумеется, ничего похожего я не высказываю. Напротив, маленькая, теплая волна возникает в опавшей груди, катит вверх, поднимает невесть из каких побуждений настроение, и хочется уже не возражать, а идти на поводу, потворствовать,

хуже – проявлять инициативу, работать, как велют, а не отбывать. Понятно, согласие приходит от невозможности, бесполезности перечить. Взнуздан и пришпорен. «Нет» следовало проносить при первой встрече. Неопределенное мычание, молчаливое, а потом письменное согласие сдвинуло телегу, и теперь она катит в пропасть, можно только продлить путь.

– Какие у вас отношения с Сидяевым?

Впечатление, что рыжий Адам знает Олега получше моего.

– Только творческие.

– Хорошо бы сблизиться.

– Он из тех людей, что сами выбирают приятелей.

– Попробуйте выбрать вы его.

Мы долго молчим, хорош Георгий Леонтьевич уж тем, что дает подумать, даже если думать не о чем.

– Он любит шахматы, пиво...

– Я благодарю за подсказку. Шахматы я тоже люблю... Но пиво?..

– Включитесь в турнир.

– А потом в пьянство?

Я не улыбаюсь, но не улыбается и он, это плохо.

– Пять раз в неделю встречаетесь в одних стенах. Сколько одновременно просмотренных спектаклей и фильмов! В конце концов, пригласите его в свою постановку...

– Еще раз спасибо за подсказку...

Парень лишен чувства юмора. Однако клешни у него рачьи, не выпустит даже мертвый.

– Попробую... Кстати, у меня растет вкус к спиртному...

С тем и расходимся. С тем да еще с моим непреодолимым желанием спрятать голову в песок, задохнуться там или захлебнуться водкой, только бы не возвращаться в эту комнату, к прежней жизни.

От мира я отделился светозащитными очками и попал в аварию!

Как уцелели очки? Нос разрублен ото лба до верхней губы, оба века под бровями – рваные раны, лохмотья, рулевое коле-

со, о которое я ударился лицом, прогнулось. Прикинуть силу удара можно хотя бы по тому, что передок «Запорожца» смят, сплюснут, аккумулятор – вдребезги, колеса раздались в стороны. Встречный цементовоз, благоразумно подставивший бок, лишился бензобака. Повезло мне, что горячего было под пробку, иначе – густые пары; взрыва не миновать... А очки лежали в плоской выемке у рычага передач, даже не поцарапанные. Странно, догадался смахнуть за мгновение до удара или снял раньше с непривычки. Чудеса!

Сидевший справа Иван Дробот получил перелом ноги в суставе, той самой левой ноги, что уже ломалась на репетиции, когда артист, фехтуя, перепрыгивал через турникет. Панель приборов прогнулась от упора жилистых рук Ивана, откидное сиденье съехало. А очки, поди ж ты, заколдованные.

– Я был привязан, шофер не виноват... Я был привязан, шофер не виноват...

Эти очумелые реплики Дробота до меня дошли уже в окраинной районной больнице, куда нас, двух страдальцев, подкинула попутная двухтонка. Честный Ваня почел свою жизнь на излете и играл свою последнюю роль: благородного друга. Мол, если я умру, то в моей смерти некий Николай Вилава не повинен. Забыл, бедняга, что в «Запорожце» старого тестя и ремней нет. Не знал, что сидевший за рулем Вилава – весьма недостойное существо, и то, что он согласился прихватить тебя попутно, отнюдь не очищает его от скверны, не безопасной для твоих друзей, «олений», Ванечка, и для тебя.

На окраине нам кое-как прикрыли раны и отправили в областную больницу: Дробота в травматологию, меня в лор-отделение. Сидел я и лежал в операционной на подготовке, ждал хирурга. Но больше ждал болей, невыносимых, сводящих с ума болей. В стеклянной двери мельком увидел уродливое отражение полости носа, налитые, буквально, кровью глаза, поднимать веки стало невмочь. А боли не чувствовал. Отек всего лица, монотонный, глухой звон в голове, рука сама тянулась сорвать пересыхающую корку с раны, а боли не было. Что это? Шок? Можно ли из него выйти? Или со мной происходило еще одно чудо, подобное прыгающим стрелкам часов?

Я с детства нетерпим к болям, боюсь и избегаю их, как, впрочем, и всяких иных усилий и трат. Редкие недомогания, мелочные потери, пустая работа повергают меня в уныние. К зрелости у людей вырабатывается умение собираться в критические минуты и выстаивать, может, то же самое происходит со мной.

– Сестричка, можно позвонить?

Приносят телефон на белом шнуре; белый, как и все в палате.

– Мне Лидию...

Спотыкаюсь, по первому «Вас слушают» узнаю жену. Но голос ее чужой. Она из мира тихого общения с хрупкими предметами – реторты, колбы, спиртовки, я же из визга тормозов, короткого вопля Дробота «А, мать!» и тупого, в то же время раскатистого, удара легкого «Запорожца» о бензобак и заднее колесо цементовоза с прицепом. Сухую слюну не проглотить, говорю спокойно, небрежно:

– Я звоню тебе сам, чтобы не было кривотолков. Мы тут с Иваном Дроботом ехали на дедовом «Запорожце». Гололед, туман полосами. Стукнулись. Незначительно, ничего серьезно, – и прислушиваюсь, ловлю ее дыхание, тронута ли, любит ли? – Все почти в норме. Я нос слегка поцарапал. Иван ногу ушиб или там вывихнул. Ту же, что когда-то ломал, я рассказывал. – И ненадежная попытка посмеяться в трубку: – Мы в областной. Я в лор-отделении. Шов наложат – и все.

Едва не крикнул: как там Антоша? Но в такой ситуации разговор о ребенке наведет на грустные мысли.

– Ты вот что. Ты попроси отчима... Через маму твою, лучше... Пусть заберет машину. На Южном шоссе, на двенадцатом километре. Милиция воровит.

Лидя не задает лишних вопросов, дышит все чаще, когда я выкладываю все, довольно сдержанно произносит:

– Я спрошу, когда позволят, приду.

– Не обязательно сегодня.

– Я приду.

Вот еще незадача – машина. Поначалу ее облепили встречные и поперечные грузовики. Теперь уже, понятно, раскати-

лись по своим нуждам и забыли о мимолетном, не таком уж и редком зрелище на перегруженной трассе. Она стоит, мозолит глаза, можно отвинтить любую деталь. Впрочем, гаишники уже осмотрели ее. Где водительские права? В салоне, в кармашке, в бардачке... Что-то такое говорилось.

Пришел врач. Словно против встречных фар, я разглядел молодой, внимательный, какой-то глубинный взгляд черных, с сухим блеском, глаз. Скорее всего, мой сверстник, не приведи Бог, месяц назад приступил к обязанностям хирурга!

– Меня зовут Игорь Петрович.

Ничего сверхъестественного в голосе, человек пришел на работу, обычную, в обычный день.

– Очень приятно, – вытянувшись на плоском столе, отвечаю: – Воощ... Вооще... Вилага. – И обозначаю поклон, едва прижав подбородок к уходящей груди.

Что это со мной? И не думал о своем псевдониме, а вырвалось. Переиграл, памятуя, что в забытьи человек говорит только правду. Ерунда!

Молодой хирург оценивающе заглянул под мои слипающиеся веки, попятился к квадратному столику из пластика, пробежал три строки в журнале. Одобрительно хмыкнул:

– У вас появилось свободное время, можно и пошутить.

Может быть, я и впрямь пошутил, попробовал упрятать за неуместной выходкой свой страх перед операцией. Недолгий осмотр, бережное прикосновение, нейтральная реплика:

– Главное, что мне все понятно. Полчаса терпения, и вы из больного превратитесь в выздоравливающего.

Сочувствует ли мне врач? Вряд ли, сердца не хватит, если он станет убиваться над всеми, кто проплывает через операционную. Разве что по молодости лет отзовется на мои страхи.

Возится не полчаса – час. Замечаю недовольные немые взгляды на рваную ткань, резкие, предупреждающие движения, отводящие руку ассистента, веские замечания по поводу тупых иголок. «Нищая медицина!» Аполитично ведь, однако его закладывать нецелесообразно – кто сшивать нас будет? Я не нервничаю, первые слова Игоря Петровича, тон, каким они произносились, вооружают меня на долготерпение. Боль так и

не приходит. Мелкие покусывания иголок, частые, теплые капли крови, смешанной со слезами и оттого вдвойне соленой, проникают в полость рта, мучит жажда, а ожидаемой жестокой боли нет.

Позже, уже в палате, колют много: пробные, противостолбнячные, пенициллин, к полуночи что-то болеутоляющее, что невидимая за бинтами сестричка называет: «бойко». Ломоты, ноющие, досадные, заходят с тыла, в буквальном смысле – с тыла. Мучают не нос и глаза, а спина и полоса от левого плеча вниз к груди, видимо, этим местом я ударился о руль, лицом после.

Явилась Лида. За пеленой бинтов, на заднике из опаловых стекол вечернего окна она выглядит феей. Похоже, волосы забраны вверх, фонтанчиком – сняла шапочку, не распустила их, – голова и плечи окаймлены оранжевым. Лицо расплывается, бледнеет, на нем отсутствующее выражение, ничего материнского, так и ждешь: сам виноват.

– Больно?

– Удивительно, но нет.

– Храбришься?

– Не больно. Даже думаю, не умер ли я.

– Старо. Перебил нервные окончания.

– Ты и тут разбираешься профессионально.

– Не напрягайся. Помолчим.

Я, допустим, лучше помолчу, но ты говори. Скажи, что сейчас важно сосредоточиться на выздоровлении, что когда речь идет о здоровье, все иные ценности: вещи, задумки, связи – все к чертовой матери! Подсказать ей, что ли.

– «Запорожца» уволокли?

– Куда он денется...

Едкая горечь поднимается к горлу, не так ли проливается и подступает к жизненно важным центрам желчь? Слишком обыденно, Лида! Не чутко. А мне все последние дни чуткости хочется. Повышаю голос:

– Забрали, спрашиваю?

– В гараже. Дед сидит, как над покойником.

– Сильно там? Я, признаться, боялся глянуть.

– О чем ты?!

Плохи, видимо, мои дела, если уж холодная Лида почитает мое состояние таким, что рядом с ним думать о машине – «О чем ты?!» Перед глазами расплываются круги. Меня покидают...

* * *

В мутной полутьме, в паутине бинтов, в пятнах и спиральях горящих в полнакала лампочек день перемежается с ночью. Приходит пожилой и степенный, судя по голосу, хирург с чуткими, широкими, как подушки, пальцами, считает ребра, сует палец под ключицу, одобрительно тянет: «Угу, угу». Ему, как и Игорю Петровичу, все понятно. Спустя несколько минут про него заговорят: в молодости, сто лет назад, он служил в Кремлевской больнице. Гм, известные товарищи могли бы поинтересоваться: отчего же доживает здесь?

Про окулиста, крохотную женщину, говорят то, что я при ее появлении увидел даже сквозь марлевую завесу: горбунья. Выворачивает веки, пронизывает лучиком из дырявого зеркала на лбу.

– В порядке.

– То есть в том порядке, каким было зрение до аварии?

– По-моему, даже лучше.

Ну и специалистов накопили! Тот изгнанник, эта калека.

«Задурян! Задурян!» – перекрикиваются шепотом в палате. Психиатр! Ходячий больной предпочел улизнуть, а неподвижный попросил сестричку повернуть его лицом к стене. Авторитет специальности! Минуту, две жду. В дверь протискивается негабаритный седовласый мужчина с крупным армянским носом, выпирающим животом, он наполняет мрачную палату сопением, тугим, смачным; вдруг становится тесно. Это не просто психиатр, а главный в области, фамилия – нарочно не придумаешь! Нужен ли он, становится не по себе. Корю Игоря Петровича, который явно запомнил мои выходки в первую минуту встречи: Вощ... Воще.. и пригласил маститого специалиста освидетельствовать. Да какого специалиста! Начинаяшего, видать, с санитаров в сумасшедшем доме. Податливо и виновато

скрипит стул, значит, Задурян садится, переключает сопение на минор.

– Здравствуйте. Я Артур Михайлович.

– А я Николай Андреевич Вилава. Созреваю в ваши клиенты.

– Мои клиенты обычно клянутся в полном психическом здравии.

– Чем же вызван ваш визит?

– Коллеги не дорожат моим временем.

– Осмотрели бы все-таки. Я ведь, в известном смысле, не только Вилава.

– Сейчас вы легкий больной. И не по моему профилю.

Артур Михайлович не желает озадачивать пациента, ничего не разъясняет, хотя послушал, посопел деловито. Между нами полная ясность. Я сдвинут в той степени, в какой должен быть сдвинут каждый сын нашего отечества.

Вслух об этом не говорят.

...Вечером меня и в палате находит телефонный звонок.

– Вы можете говорить? – вежливый, даже участливый вопрос.

– Пожалуй. Недолго. – Силюсь узнать голос, не удастся. Мужской, баритональный, командирский. Откуда?

– Начальник райотдела... – Видимо, милиции, ему ясно, а мне требуется последняя ясность. – Брюквин.

Искусственно углубляю дыхание. Сестричка настораживается, не плохо ли, не отнять ли трубку? Не отдаю.

– Слушаю вас.

– Николай Андреевич, как самочувствие?

– Вполне нормально.

Не знаю, что лучше: хорошо или плохо. Мои сведения ему нужны не для передачи его жене и деткам.

– Вы были привязаны?

– Понимаете, «Запорожец» не из новых...

– А-а! Нас интересует статистика травм у людей, пользующихся ремнями и не пользующихся... – Да, статистика. Шла бы речь о ремнях, ты запросто осведомился бы у своего сержанта. – И еще мелочь. Вы как оцениваете поведение встречного водителя, с цементовоза?

Я охвачен злобой – находят время! Брюквин для меня – воплощение не только своего органа правопорядка, но и родственного ему аппарата насилия. Раздельно отвечаю:

– Ни малейших претензий к цементовозу. Он даже в кювет едва не свалился, так прижимался, уступал мне свою полосу.

– Спасибо. Выздоровливайте.

Больше я капитану или майору Брюквину не нужен. У него статистика. Одно дело, мое... второго, цементовоза, – нет.

К ночи поднимается подленькая температура: тридцать семь и три. Нервирует отсутствие сильных болей в лице. Уж явились бы, валялся бы в палате месяц, два, год, только бы не появляться «на воле».

Пока сомневались врачи, в порядке ли глаза, печень, кости, пока опухали и опадали веки и лоб, ныли ребра, саднила спина или вдруг пугающе оставляли малейшие боли, пока доходили слухи, что Ване Дроботу что-то там делают и помогает, – со всем этим жить еще можно было. Но вот стремительно идет на поправку, на удивление врачей, стремительно. И тут перед прозревающими глазами стала появляться не только лагуна от старых подтеков на потолке, не только штопаный край простыни и одна и та же пожилая нянечка две смены кряду, но и все мои потери. Разбитая голова и искореженная машина, пожалуй, самые мелкие из них. С чего начинать? Разумеется, все же с ремонта головы и машины. Голову Родина кое-как подрихтует бесплатно, конституция гарантирует: плохо, но даром. А вот на ремонт лимузина законы не распространяются. Надо найти добряка, который отбуксирует в ремонтную мастерскую. Потом сутки простоишь, пока взберешься на пост диагностики. Попутно чья-то рука выудит из твоего кармана четвертную или две, ни за что, по опрометчивости. Рассовываешь по бутылке каким-то подросткам и подстаркам в замызганной робе, оснащенным разводными ключами и разухабистым матом. Дальше всякую операцию – рихтовку, замену пучка проводов, который не нужно менять, покраску и так далее, – всякую малейшую работу мастер небрежно, как медведь на арене, проделает и, как медведь же, повернется за поощрением. На магарыч уйдет столько же, сколько на оплату по законному, до-

вольно грабительскому, государственному счету. А денег нет. То есть совсем нет. Даже на лекарство. И взять негде. Одолжить не у кого. Я простой провинциальный режиссер, у меня рублей – от зарплаты до зарплаты, с натяжкой, с подхалтуриванием.

И откреститься от ремонта не-воз-мож-но! Надо знать хозяина «Запорожца», Вилен Владимировича Емцова! За копейку он в церкви согрешит. Машину давал в виде непостижимого исключения, назло падчерице, в надежде, что буду ездить на «хорька», то есть наставлять рога супруге и тем тешить его уязвленное ее пренебрежением самолюбие. Моложавый старик измочалит меня при первой же встрече, а потом выпьет всю кровь. Ба! Да он просто швырнет мне в рожу помятую машину и потребует купить взамен новую. Деньги?! Это уж твоя забота! Умел разбить, умей вернуть целенькую! Придется сочинять пьесу!!

Застаю себя между койками, ладони на краях оконной рамы, обклеенный марлей лоб прижат к холодному стеклу. На воле рассеивается пороша, нет, это висит сизый туман.

Видения стали привычными, даже не пугают меня. Стрелки часов, плачущий Антоша. Теперь под черной кроной пихты за криво заплаканными стеклами, кутаясь в холодный туман, стоит самый опасный для меня человек – Вилен Владимирович. Большими пальцами обеих рук я поднимаю повязку ко лбу, разлепляю отяжелевшие, как у Вия, веки: он. В длинном немецком плаще с поддевкой, в архангельских унтах, в трехсотрублевой с серебряным отливом шапке. Он всегда хорошо одевался, деньги брал везде, куда могла дотянуться его рука, красивая, без старческих прожилок, не натруженная. Умирала тетка – причудливым образом он оказывался ее единственным наследником; на службе во избежание скандала, вплоть до суда, – защитника Родины отмечали, коммуниста из коммунистов! – премию выписывали директорскую; изнемогая под грузом неполной средней школы и ремеслухи, категорию получил едва ли не старшего научного сотрудника – докторскую. И носить умеет костюмы! На нем все хорошо сидит: жилетка, рубаха, куртка, штиблеты, он и голый в свои почти

шестьдесят пять – великолепен, не перетружен, ровен, румян – паразит из паразитов.

– Тьху! Тьху! Изыди, нечестивый!

И все-таки это он. Считает окна, изучает подходы. Срывается с места, даже молодая, тучная пихта вздрагивает и отфыркивается снежной пылью. Я тороплюсь прочь от окна, забираюсь в постель, авансом стону. Оглядываю тумбочку, достаю ли камуфлирована, поправляю табурет, цыкаю на соседа с развороченным ухом, разгулялся, мол, мы ведь тяжелые. Натягиваю бинты на глаза.

Чувствую его походку, жду изрыгания, сатанинского рыка.

– Спит? – отеческий, трогающий душу шепот.

– Не... не знаю, – теряется глуховатый сосед.

– Я посижу. Я только посмотреть.

Разумеется, может, зятек при смерти, что с покойника выжмешь? Пропадай моя телега со всеми четырьмя колесами!

– Кто тут? – без зазрения совести справляюсь, как бы очнувшись.

– Коля, если трудно, не разговаривай, – не размазывая слюну, по-мужски, сочувственно. Вроде и не Емцова голос. На людей работает.

– А, вы? Здравствуйте... Вот как... Простите...

– Христос с тобой! Жив – и прекрасно.

Даже одеяло поправляет.

– Жевать можешь? Апельсины принес.

Я разбился бы ради Антоши – в нашем городе не достал бы апельсинов, а тут – пожалуйста, домой, поди, принесли. Свой город, своя республика и экономика.

– Спасибо.

– Что тебя беспокоит?

Вопрос касается здоровья, но меня-то беспокоит совершенно другое.

– Ремонт... Милиция звонила...

Болван, сам напрашиваюсь на неприятный разговор, после которого не усну и наживу температуру.

– Ремонту тележка не подлежит. – И молчит, да так насыщенно и долго, что я успеваю похолодеть, затем покрыться

испаринной и радуюсь, что кора из перевязочного материала прячет меня от въедливых глаз Вилена Владимировича. – Не подлежит. Но ты не печалься. – Слово-то какое былинное! Артист, в образ вошел. Что же он извлечь собирается из такой роли? – А что милиция звонила, то ничего не попишешь, такова ее работа. Попробует затаскать по следователям, выдавить штраф, да не один, отнять права на годок-другой...

– Да, человека покалечил, встречного повредил.

– Репутацию убереечь надо, репутацию, молод еще, жить да воевать.

Тугой на ухо сосед расталкивает третьего нашего сожителя, и оба они спешат из палаты. Пользуясь тем, что мы остаемся с глазу на глаз, Емцов идет ва-банк:

– Я торопился обогнать следствие, дать тебе направление.

– Звонил Брюквин какой-то.

– Слушай, я не сомневаюсь, что через недельку-другую ты будешь на ногах, разведка доложила точно. Походишь еще недельку с заклеенным носом, а там – гримок на шрамик и хоть под венец. И вот тогда-то эта серая команда насыдет – дню рождения не рад будешь. То, что по закону взымут, не сомневайся, но крутить да запугивать будут до того, что втрое больше в подарки вложишь.

– Из каких тугриков?

– Это не их дело. Устроят так, что ни работать, ни жить не сможешь, и все по статьям, по статьям...

Да, не с одной, так с другой стороны, однако с добром Вилен Владимирович прийти не мог.

– Пока мы наедине, слушай. У тебя есть знакомые в какой-нибудь из страшных контор?

– Не понимаю. – Я отлично понимаю.

– В обкоме? В прокуратуре? Прокурор, самый вшивенький, имеет подавляющее влияние на следствие.

– Нет. – И это правда.

– Жаль. У меня есть. Но мои не для тебя.

Озирается Вилен Владимирович, его редеющая шелковистая прическа вздрагивает, он прытко, вскачь думает.

– Кто у вас куратор в театре?

– Управление культуры...

– Дурак! – шепотом ругается. – Из компетентных органов?

– Не знаю...

– Ясно.

– Что ясно? – наперед чувствую проруху.

– Ясно, что хорошенько знаешь. Не отрицал бы. Так вот, прибегни к нему. Выручите, мол, уважаемый. Кинь там, услуга за услугу.

– Эти-то при чем?

– Эти при всем. Хозяева жизни. Только понравься им. Слышь, тебе нельзя с подмоченной репутацией. Слыхивал о переменах в руководстве театра, ты не из последних кандидатов. Взбираться надо, пока молодой. Дальше труднее будет. Я себе житуху складывал до сорока, а потом несло потоком. Обойма – великая вещь, только попади в нее.

Привязанность скряги и человеконенавистника ко мне не объяснима. Знаю из теории человеческих отношений, что любят, уважают, ценят, как правило, необъяснимо за что. Но то нормальные средние индивиды. А это ведь выдающийся прохвост и себялюб. Он-то? И меня-то – за что? При чем теряет на мне, а вытаскивает. Да как искренне, как самоотверженно, просто не удержишься, признаешься в порочащих перед миром связях с... Тут, Боже мой, что дошло до моих ушей!

– ...Я из них, необоримых, попил кровушку. Теперь можно сказать, уже лет восемь, как отошел. После войны нащупали недочеты в моей биографии, карьера зависла. Не рубили сплеча, выбор предоставили: либо грудь в крестах, либо голова в кустах! А тогда призыв широкий был в стукачи. Это теперь перебирают, из того контингента – есть, из эдаких недоумков – не берем. А тогда нужен был каждый четвертый. И я позволил себя уговаривать. Неделю думал, вторую торговался. Они, прохвосты, норовят на общественных началах, без убытка для казны. Я их поводил столько, что предложили по сорока рублей, потом более и более за пакость. А про грешки мои дали слово забыть...

Могу поклясться, старый мерзавец осведомлен о моих тайных связях. Он не из тех, кто распаивается ни за понюшку та-

баку. Видимо, в республике избранных прохвостов поставлено не только обеспечение, но и разведка на европейском уровне. Господи, какой же я наивняк! Дожил до зрелых лет и свято верю в программность, цельность нашего мира. Законы! Мораль! Обычай! Общество расслоено поперек на три-пять пластов и вдоль на десяток. Для одних генсек партии – верховная власть, а для других – какой-нибудь председатель или генерал, и уж совсем здорово, когда верховная власть для директора комбината – его младший экспедитор или жена личного шофера. А политика? Для одних она – постановления партии и правительства, а для других – привоз иностранцев, и страшнее всего, когда она – мнение мелких воротил, подобных Емцову, которые чувствуют запах ветра, знают предсказание своего гороскопа, обладают интуицией Наполеона.

Однако я чувствую приязнь этого старого паразита и невольно готов отвечать ему тем же.

– Не тяни, выходи на... кто у вас там теперь?

– Не знаю.

– Я долго с тобой буду нянчиться? Сейчас войдут.

– Есть кто-то, кажется, Георгий Леонтьевич.

– Кажется, кажется! Своих покровителей надо знать. Вот выходи на него и – в открытую. Так и так, первая авария, а терзают и так далее. Твой Георгий ходит выше, оттуда позвонят – и для тебя следствие кончится.

Сказанное Виленом Владимировичем следовало крепко пережевать. В его время было его время, в мое же – мое. Я сменил пластинку:

– А с «Запорожцем» как?..

– Сегодня я пришел только по первому пункту. Вытащим вначале тебя.

* * *

Без опеки я не жилец в этом мире. Врач продлил больничный лист. Лида приготовила завтрак и обед, сын поделился чтивом: «Алиса в стране чудес». Выяснилось, что мальчишка прочел, а я – нет.

Я один дома. Слоняюсь из угла в угол, заглядываю в зеркало у вешалки – продольная наклейка на носу, тонкие шрамы на веках ушли под надбровные дуги – вполне нормальное лицо. Плечи опущены, свисает полосатая рубаша, похожая на пижамную куртку, думается, не начать ли новую жизнь. После перелома. Перелом не метафора. Тело кое-как склеено; душа возвращена наизнанку, если уж разоблачен Владимировичем. Вряд ли смогу выпрямиться. Впору теперь мне стариковская пижама, одиночество и должность вахтера на черном дворе утильконторы. Придется находить прелесть в таком существовании. Лида не любит, Антоша не замечает, не звонят из серого дома. Дружный коллектив театра в лице высокомерного Сидяева и хорошего человека Лежанчика однажды навестил в больнице.

– Молва преувеличила! – это Олег Сидяев. – По-моему, вы только возмужали и стали походить на Бисмарка.

Читал: в студенческие годы Бисмарк участвовал в дуэлях и вообще не избегал ран на лице, чтобы казаться мужественным.

– Вы лежите, лежите подольше... – это Лежанчик. Видимо, хороший человек хотел сказать, что мое здоровье дорого коллективу, потому мне дозволяется пройти весь курс лечения, а уж театр поработает и за меня. А получилось пожелание долгой болезни.

Больше никто не приходит. Коллег не приучил, даже на новоселье не пригласил, не на что было и не знал, как Лида отнесется к убогой богеме. Народец у нас бедный, а замашки – в духе старой театральной традиции: выедят, выпьют наперед на полгода и побуянят. Не звонят по домашнему телефону: коллективу недосуг, а серый дом блюдет конспирацию. С утра Лида поднимала трубку, но то ее многочисленные подруги с их разнообразными интересами: выкройки, «слыхала, у Кристины двойня», «к еврею привезли мокрую колбасу!» Интересно, если бы их завербовали оперативники, погас бы их интерес к мелочам жизни, перестали бы с таким энтузиазмом звенеть о копеечных радостях бытия? Прежде всего, заинтересовались бы большой политикой, потом самиздатом и радиопрограммами «из-за бугра», потом постепенно возненавидели бы свою

жизнь, партию и одноклеточную власть. И прощайте журналы мод, семейные утехи, невинные сплетни на службе и во дворах собственных обиталищ! Слоняюсь и ни о чем не думаю. Оживает телефон.

– Я, говорят, не воин, я, говорят, раздвоен, я, говорят, расстроен, расчленен, распят! – коверкая, выкрикиваю стихи, чтобы не снимать трубку.

Звонок не унимается. Подхожу, прижимаю холодный пластик к уху.

– Спускайся, прокатимся! – Ни здравствуй, ни как здоровье?

– На чем? – в том же духе отзываюсь.

Немногословный, увлеченный вдруг родившейся заботой о страдальце тесть, Емцов, внизу у автомата. Надутый и раздавленный зять, я, в коридорчике у зеркала.

– На «Москвиче» Силкина. Знаешь Силкина?

– Нет.

– Узнаешь. Жду десять минут. Та на работе? – «Та» – это его падчерица, единственный человек, с которым он при социалистическом строе не совладал и не может смириться. Не совладал с ней и я. У нас с Виленом Владимировичем общий враг, это объединяет.

– Через десять минут, – соглашаюсь.

У Силкина всего лишь «Москвич», но обвешан фартуками, цветными фарами, антеннами, внутри обит в полоску, у заднего стекла приземистый японский стереомагнитофон, под стеклышком заднего вида – фото: герлз только что из ванной. Сам хозяин салона в поперечнике богатырь, холеный, с французскими запахами – зубной техник со свидетельством об окончании семилетки.

Протискиваемся на пару с тестем на заднее сиденье. Выруливаем на поперечную улицу, разгоняемся, бежим за город. Слова каждый держит про себя. Мне сказать нечего, не я вызывал на свидание, а у них пока все окутано тайной. Детективы. И слава Богу, наяву увижу то, что уже приелось в кино.

Дугой поворачивает река, поредевший за годы обновления страны лесок требует миллион дворников с метлами, вилами и огромным запасом мата. В припорошенных чахлым снежком

берегах текут городские сбросы, которые не в силах поглотить ни солнце, ни микроорганизмы. Останавливаемся между подгоревшими снизу ветвистыми соснами. Вдали виднеется еще одна легковушка, тоже обтяпывают дело или хорька привезли, так умру и не узнаю.

– Коля, – тоном классной дамы начинает Вилен Владимирович. – Я могу в три дня обменять мой металлолом на «Москвич» последнего выпуска. Все по-честному, через магаз... через гособеспечение инвалидов Отечественной войны. Срок давно подошел. Я ждал выгодного варианта. Нужны две тысячи.

Пауза. Молчание мне не нравится, от меня ждут ответа.

– Меня, что ли, хотите продать за две тысячи?

Смешок с переднего сиденья, Силкин не оборачивается.

– У тебя год назад умер родной отец.

– Да. – Я вспомнил, и стало стыдно. Вспомнил себя в тот день. И добавил: – Никакого наследства после него не осталось.

– Понятно, пропил, – это Силкин.

– Но тебе он завещал то, что не пропил. Боевой орден. Получил он его еще в сорок первом. Потому золото настоящее... – это тесть.

Молчание затяжное. Емцов достает залапанную тряпицу, некогда бывшую носовым платком. Разворачивает. Смотрю на его ладонь, на дырявое полотно, на комок чистого золота и платины. Это было высшее достижение человека, некогда родившего меня на свет. Платиновый профиль Ленина в золотых колосьях.

– Уступи его мне.

– А дальше?

– Я отдам его Силкину.

– А дальше?

– Тебя это никаким концом не заденет. Ты не знал о существовании ордена и забудешь завтра же.

– Там номер...

– Да, даже не двадцатая тысяча.

– Моральная сторона дела тут не участвует?

На мою горечь откликается толстый Силкин:

– Через час орден превратится в комок металла.

Для него аморально, если узнают правоохранительные органы. Не позволить, возмутиться? Но я-то кто? Не с моим сплошь в пушку рылом бунтовать против кощунства.

– Это будет полный расчет за аварию. Второй пункт будет исчерпан. Коля, я о тебе думаю.

Вилен Владимирович одновременно и старик из благоустроенной окраины среднего города, и делец из теневой сферы с рэкетиром.

– По рукам?

От какой-то части моих бед можно откупиться. Киваю.

– В качестве презента.

Двумя ухоженными пальцами Емцов достает из нагрудного кармана сложенный вчетверо листок лощеной бумаги. Облигация, что ли? Разворачиваю: зеленая только с одной стороны.

– Путевка в дом отдыха. В театре не дождешься. А тебе надо отвлечься от наших мест и бед. Больничный еще действует?

– Продлили.

– Этот листок оплачен. Вот тебе на дорогу и... подругу.

Я приложил некоторые усилия, чтобы отвести дающую руку, напрасно.

– Всякое даяние, знаешь?

– И так весь в долгах.

– У тебя нет долгов. И мы с тобой в расчете. Эту бумажку я захватил, чтобы накинуть, если ты станешь артачиться. А деньги добавлю за то, что не артачился.

– Мне еще к следователю, как же я поеду?

– Следователь побеспокоит, когда выйдешь с больничного.

– А в доме отдыха примут, пока на больничном? Что-то тут не то.

– В нашей житухе все не то. Примут. Ты здоров. Справку получишь послезавтра.

...Тихо в квартире. Спит Антоша в своей кровати. Лида ненароком прикорнула на диванчике в его комнате. Это ненароком случается уже которую ночь. Я систематизирую свои потери. Жена стала чужой, обидно и больно – лишен женщины. Сы-

на никогда не впущу в свои грехи, подрастет, учить буду: не походи на отца. Про актерскую братию думаю вчуже, как и она про меня; мы друг для друга только средство пропитания. Кто же остается? Вилен Владимирович? Ну уж нет! Расплатился с ним орденом и угрызениями совести, вычеркну его из своей жизни... Остается серый дом. У него во мне нужда, за него следует держаться, потому что у меня тоже есть нужда в нем. И вот какого рода: мысленным взором я вижу готовые сцены новой смешной трагедии, нет, пошлой человеческой комедии с надрывом. Слышу деликатные диалоги с угрозой для жизни, движение событий от простора в тупик, занимательные перипетии, всю фабулу на одном дыхании. Пьеса готова, надо сесть и записать ее. Вот только финал... как всегда, не хватает достоверного, подноготного финала. Надо его задумать в жизни, прожить самому и написать правду, ничего, кроме правды, как под присягой...

12

Дом отдыха размещается в замке давно усопшей княгини Щербатовой. Ее сиятельство жила в нем десять лет и не достраивала, ворожка ей нагадала: покладешь последний камень – помрешь. Глухой карниз довершали при нашей власти, заметно! Потом возвели три низенькие пятиэтажки – роскошь для бедняков. В зимнем парке с белками и снегирями, рвущими из рук пищу, я держусь одиноко, высматриваю внутри себя сцены моей новой трагикомедии, даже сексуальные мотивы меня не трогают. Молча ем за столом на четверых, урывками слышу хрипотцу дородной официантки, одергивающей тракториста на подпитии: «Я знаю, что тебе надо. Тебе надо сто граммов и кончить!»

У дуба со свернувшимися сухими листьями, у молодых пихт присела тоненькая женщина. Я задумался, сравнивая прошлогодние листья на ветках с засохшей коркой у меня на переносице, едва не наткнулся на даму. Она чертила семизначное число пальчиком на свежем насте.

– Семизначный телефон. Ясно, человек из столицы, – походя шучу.

– Еще что вам понятно? – живо вступает в разговор маленькая женщина, завалив голову набок и щурясь.

Знакомимся, зовут ее Аллой Антоновной, личико на морозе покрывается дряблыми морщинками, в тепле же расцветает, молодеет. Постепенно, из проходных реплик выясняется, что она врач, заведует отделением, разумеется, член коммунистической партии; долго и воинственно скрывает, что она разведена, а открылось, прорвало: надоело убегать вокруг дома от подполковника ракетной службы, пьяницы и импотента. Подвернулась удача, дефицитная специальность помогла устроиться в Киеве, дали комнату, которую легко удалось превратить в изолированную. По жару, исходившему от Аллы Антоновны даже на расстоянии, мне ясно, что женщина истомилась в одиночестве: запреты, строгий контроль над собой на службе ради карьеры, а дома ради положительного примера для взрослеющей дочери, и вообще, в тридцать три года чрезвычайно трудно встретить свободного, порядочного и не занятого человека... И прямой вопрос:

– Вы ведь тоже заняты?

– Наполовину. – И пробую сострить: – Занят собой.

Она не повторяет избитую истину: на отдыхе все холостяки.

– Ну вот, у вас одиночество и у меня одиночество. Давайте их объединим на паритете.

– И получится два одиночества. – Это я слышал и сам говорил не раз.

Гуляем, прикармливаем птиц. В столовой пересаживаемся за один стол. Поздним вечером идем к закупоренной, припорошенной пылью и снегом старинной церкви. Там перед давно забитой дверью на паперти Алле Антоновне хочется исповедаться. Она растягивает шепот, проникновенно и жутко признается, что крестила дочь, болезненную девочку, которой не умела помочь сама, не помогли знакомые и незнакомые врачи. Подруга уговорила свезти в отдаленное село, на дом к священнику, и изгнать злого духа из ее тела.

Одиннадцатилетняя пионерка стояла посреди затемненной лампадами светелки, преданно смотрела на иконы, слушала шепот бородатого, чистого дедушки, принимала мирро на чело и окропления на темя. Мазали ей грудки и ножки.

– ...Простите, так не бывает, – увлекаясь, торопясь, рассказывая случайному человеку, Алла Антоновна ничего не скрывает: – Девочка выздоровела прямо в избе. Поправлялась на глазах... Так ведь не бывает. Мы с вами взрослые люди. Правда? Мистика, первобытное заблуждение. Но ведь Света здорова, теперь старшеклассница, а хороша-то!

– Бывает, – возражаю, чтобы не подавить душевный взлет женщины.

– Как я вам благодарна. А я казнюсь. Я парторг больницы.

На такое я не знаю что отвечать. Шевельнулось внутри воспоминание о сером доме. Вот она, преступница! Партия ей – синекуру, заведование отделением выдала. Беспартийному, тем более набожному, не доверят, – квартиру в обход очередности, зарплату! А в благодарность? Отступление от материализма, от устава, от идеалов коммунизма! Забываю, что сам на ночь в страхе перед жизнью крещусь. Но про то никто не знает, и то – я. А тут открытая жизнь. Тянет высказаться против. Не могу, чувствую много наболевшего, самоотверженного в поступке матери. «Нет поступка без проступка», – вспоминаю Лидию. И какая же моя Лида циничная, видит жизнь без идеалов, такой, какая она есть, такую ее и ее же житейскими средствами штурмует...

Тянусь к дешевенькому узкому воротнику на потемневшем в тени церкви пальтишке Аллы Антоновны.

– Вы ведь долго мучились...

– Да, да.

– Тем все и искупили.

Я обнимаю ее узкие, податливые плечи, медленно привлекаю к себе, еще не зная, имею ли я на это право. Она вопросительно смотрит снизу вверх, огоньки из припорошенных витражей кажутся светом лампад. Они прокрадываются в глаза женщины... Может быть, их нет вовсе, как нет и убогого деревенского хора на клиросах, и далекого, из русской классики, церковного звона...

Но я слышу песнопение. Неужели и это сатанинское лицемерие, защитная реакция? Мол, заручусь поддержкой и на том свете, вдруг да придется держать ответ.

Под ладонями мелко, скрытно дрожат плечи женщины.

– Пожалуйста, не обращайтесь внимания, я немножко поплачу.

Давно пропавшая сила возвращается ко мне. Втянувшись служить на побегушках дома и в театре, с недавних пор и для нужд серого дома, я забыл, что способен в чьих-то глазах выглядеть мужчиной, защитником и добытчиком. И вот врач, заведующая отделением, сразу видно, женщина со смыслом и волей, слабеет от моего прикосновения, просыпается душой от одного моего присутствия.

В мой номер пошли на третий день после обеда. Не пили. Зашторили и без того затененные морозной шубой окна. Заурядно, как проделывают это все в домах отдыха, санаториях, командировках, устроились на моей кровати... Но тут Алла Антоновна опрокинула на меня море незнакомой мне девичьей и вместе с тем материнской нежности. Я выросстал в собственных глазах, обретал могущество, власть.

– Знаешь, я ждала, знала, что мое мне достанется. Нет, нет, не навсегда. На такое счастье я уже не смею рассчитывать. На короткое время, но мое и – такое! И я знаю, за что. Вместе со Светой... крестилась и я. Помогло... освободилась...

Двадцать дней я – господин: ни звонков, ни окриков. Далекое и близкое прошлое кажется выдумкой, слабым миражом. Обманываю себя: не вернусь в прежние круги неприятностей, ни в сером доме, ни в собственной квартире. Утром прихорашиваюсь, не похоже на себя, задерживаюсь к завтраку. В столовой, уже вместе с Аллой, включаемся в чертоломный ритм: глотаем не жуя, поскорее отбываем прогулку, которую нам, кстати, никто не прописывал, бесцельно посещаем городок, снова кое-как жуем. Все это, как поспешное раздевание в чужой «хате», которую нам уступили на двадцать минут. Наконец, мы только вдвоем. Приходит особое значение каждого слова и движения; каждое побуждение, каждый звук – только для тебя! Не мучает совесть, все естественно, справедливо. ...Исподволь чувствую нечто большее, чем близость женщины. На все, что я вижу, к чему прикасаюсь, наплывает вымысел. Уже Аллой Антоновной зовут женщину из моей пьесы, ее пережитое вплетается в сюжет. Надо развить драму, найти поворот

событий, чтобы потряс... Она уходит, перипетии продолжают-ся. Я пишу от руки, дома перепечатаю.

Сам перепечатаю: нельзя показывать людям то, что воровано у жизни и складывается на бумаге: донесут, за такое посадят. Уж закончить, поставить – потом трин-трава!!

...Однажды утром, свежий, выбритый, останавливаю взгляд на закапанном мухами календаре. Тонкий серый листочек отрывается сам собой и летит за спинку кровати, пропадает там, как вчерашний день. За ним летит второй и третий. Цифры укрупняются; на красной, двузначной, мистика прекращается. Мой последний день в доме отдыха. Из баловня женщины, эдакого павлина, я превращаюсь в ощипанного петушка.

Упадок сил, отсутствие аппетита, вселенская вина перед Аллой Антоновной, она ведь не знает, что я уезжаю и что она уже героиня пьесы... А вдруг все эти дни и она смотрела на падающие листки календаря? Вдруг догадывалась, что стала моим вымыслом? Но скрывала это ради моего покоя, моей безмятежности.

И сегодня не показывает вида. Щебечет, похоже на синеврюшек на ладонях у гуляющих.

– Знаешь, у меня предчувствие. – Вот, заговорит о разлуке. Нет: – В большом мире что-то назревает. Не может так продолжаться вечно. Общая душа не вынесет.

Она о политике. Наивная, у нас все меняют так, чтобы ничего не изменить. Тронь один кирпичик – упадет все здание. Но – молчу. Беззащитная маленькая женщина от меня пытается спрятать меня. Копошатся белки, кричит прихваченный ладонью и не понимающий коварства людей дрозд или снегирь, не знаю, кого там заманил подсолнечными зернами, поймал глупый отдыхающий. Острым лучом подсвечивается белое, молочное облако. Редееет толпа в аллее. Из карего, остановившегося глаза самовольно выкатывается и срывается с подкрашенной ресницы продолговатая тяжелая слеза. Я ее вижу, но знаю, что замечать не должен. Ничем не помогу, ни ей, ни себе, только нарушу predetermined течение бытия.

Ночью видится Антоша, занятый сравнительным анализом морских сражений при Трафальгаре, при Синопе, тощень-

кий, неказистый, перепачканный чернилами, бесконечно любимый. Похлопывает меня по плечу – жест, совершенно не свойственный интеллигенту с эмбриона – и выходит к маме, разумеется. Больно, побороться бы за него.

Но и тут ничем не помогу, предопределено. В который раз я проигрываю еще не начатое сражение, потому что твердо знаю, что все предопределено. Будь я маралом или глухарем, так и не познал бы ни одной самки.

Прощанье с Аллой Антоновной получается театральным, неуклюжим и грустным. Мы стоим в метре друг от друга за спиной у автобуса.

Она говорит:

– Боже, как зауратно стоим! Болтаем, оглядываем окрестности. Тысячи раз повторяется подобная картина среди людей. Но однажды дома, месяц спустя, год спустя, десять лет... чем дальше, тем сильнее... какие тысячи я отдала бы, чтобы вот так постоять, поболтать ни о чем, увидеть тебя всего в метре от себя!..

В дороге, на холодном сиденье, в мое сознание входит Лида. Ее вопросы:

– Ну как, дорвался до свободы?

Или:

– Адресочек где прячешь? В ботинке? В памяти?

Напоследок рыкнет:

– Не приближайся ко мне!

Я и не собираюсь приближаться, мне запрещено, меня передали из рук на руки, передали женщины, точно так же, как передавали уже не один раз оперативщики, не спрашивая согласия, не замечая наносимых ими увечий, не заручаясь документами о сдаче-приеме. Гарантии покорности во мне самом, они от вселенского страха и равнодушия.

На остановке, у автовокзала, имитирующего следы от бомбежек сорок второго года, хотя на фасаде, под барельефом вождя, написано, что построено здание тридцатью годами позже, рядом с кучей мусора я увидел на промерзшем лотке домашнюю печеночную колбасу. Под полкой у хозяйки топырилась бутылка.

– Самогон? Наливай, – шепнул я отважно.

Наполняется граненый стакан. Пью впервые много и открыто. Милиция подпитывается из того же источника, потому слепа. Вещаю, дурея на глазах:

– Не первачок – нектар! Не колбаса – амброзия!

Я пьян и велик. Я любим, у меня в чемодане черновик драмы. Ищу финал.

Мое счастье простительно. С Антошей можно договориться, вот только подыскать книжонку познавательного характера. К Лиде можно не подходить, тем более, что она никогда не ошибается в своих самых кромешных подозрениях относительно людей.

Но как быть с Георгием Леонтьевичем? Вечером снова напился.

С чем явиться к Адаму-третьему? Что ему привезти? Ни одного инакомыслящего среди забитых колхозников, родившихся до коллективизации и почитающих страх перед властями – священным! Ни одного подозрительного разговора среди стариков и старух, попавших под конец жизни, слава тебе, Господи, в рай, в запущенный княжеский замок, хотя и поселенных в хрущевских пристройках за черным двором под орущей вороньей слободой.

Люди только и говорили, что здесь им не нужно подниматься с третьими петухами, на ферму – со вторыми; не приходится сушить головы, из чего готовить скудный «сидор» на весь день. Пахарям не надо ковыряться в разгрузном поле, выслушивать с утра «загадки», а потом мат бригадира, лукавить, закапывая удобрения в одну яму, за неимением чем разбросать по полю, воровать, уже не испытывая страха и угрызения совести. Не слышно острых поговорок, вроде моей покойной бабушки («Не в том сила, что кобыла сива, а в том, что не везет», «Очнулся монах, когда стало дерьмо в головах»). Только унылое песнопение о бравой девке, за которой вереницей ходят парубки, да о казаке, который не вернулся еще со времен гетманщины.

А мне необходимо «сообщить» хоть что-нибудь строгому собирателю документальных сведений о диссидентах. И отвечать за свои данные головой, так он требовал. Я больше него

заинтересован выглядеть полезным, даже незаменимым. После существенного доклада я брошусь к его ногам и попрошу оградить от следователя автоинспекции.

Позвонить Георгию Леонтьевичу следовало в первый же день моего приезда. Я тяну, авось случится что-нибудь: уедет в командировку мой опекун, поменяется власть, разверзнется небо. До того времени я похожу на свободе и не прибавлю греха на ту тарелку весов, которая тянет в ад. Не ищу встречи с Адамом-третьим, но жадно высматриваю местный материал, чтобы заменить им пустое времяпрепровождение в доме отдыха. Скажем, вспоминаю, что в аварию я попал с Иваном Дроботом. Что можно извлечь из этого? Только то, что Дробот друг Сидяева, а я имею поручение вступить в глубокий контакт с последним. Такая версия пригодится, когда буду просить оправдания аварии.

Хожу по театру, слушаю новые сплетни. Пошла мода покупать пуделей – откуда у артистов деньги? На водку и сигареты вечно постреливали. На толчке из-под полы покупают вязаные юбки, повально, на репетициях вяжут сами. Тихоня Василий Михайлович в один из перерывов, прямо у себя в библиотеке, переспал с мебельщицей. Что тут подрывает социалистический строй? Спекуляция, аморалка? Так в нашем случае страдают артисты, а не Родина. А на артистов Родине плевать с колокольни, иначе повысила бы зарплату.

Не интересуюсь спектаклями, избегаю новой работы, радуюсь, что некая таинственная сила устанавливает с главным для меня натянутые отношения. Ухожу в свою преступную пьесу. Прячусь, сублимирую, то есть возношусь от реальности к писаниям. Среди мерзости – я мерзавец, но перед искусством!..

Дома почти не разговариваю. К тому же Лида стала допоздна задерживаться у подруг. Я даже не намекаю ей, вывел для себя, что уже не имею права. Да и не до того мне. Нужны сведения, порочащие перед строем... Нужно что-то страшное прожить, чтобы написать убедительно. Финал, финал?..

...В явочной комнате встречаю Георгия Леонтьевича таким же, как и оставил месяц назад, рыжим, тренированным, задушавшимся над тайнами. Деловое рукопожатие. Человек не лю-

бит тратиться на церемонии. Как настроение, дети? Он отдает себе отчет, что осведомителю оперативщик так же противен, как оперативщику осведомитель. Не стоит фальшивить, без затей выполняй, подонки, свои функции, кратко и в правилах игры, будет тебе право на хлеб и масло. Он явно основательней вкопан в нашу жизнь, чем его предшественники по моим пыткам. Его золотое молчание и впрямь достояние государства, разумеется, за неимением настоящего золота.

Я усаживаюсь напротив и пробую тоже не болтать. Мне трудно, я из тех, кто голосом заглушает разум. Поскорее бы перепрыгнуть через первый пункт. Тем более от меня ждут...

– Попал в неподходящую среду, – вяло начинаю, припоминая скособоченных, надорванных рабским трудом и политическими страхами колхозников с их простецкими песнопениями. Вдруг тихо запеваю: – Хлопцы, за мною, гей, гей! Хлопцы, за мною, ой, дай! – спохватываюсь, прячусь за шутливую гримасу: – Селяне, за шестьдесят...

– Неподходящей среды не бывает. Всякая среда питательна, – не отвечая на улыбку, замечает Георгий Леонтьевич.

– Это для пронизательного глаза, – возражаю не без язвительности.

Мне бы не шебуршить, но я никогда не умею управлять собой.

– Посидим, сосредоточимся, – слышу ученый совет.

В своем несправедливом духе думаю: рыжий Адам-третий способен сидеть и сосредотачиваться до скончания века. Стаж идет, звездочки на припрятанных в шкафу погонах прибавляются, зарплата растет. А подопечному никакой выгоды, только мозоли растут на мозгах да мир теряет последние крохи обаяния. Не сосредоточиться при таких раздумьях, скорее рассеешься, размечтаешься об ушедшем и неповторимом, о райских днях в заснеженных кущах княгини Щербатовой, об объятиях Аллы Антоновны.

– Вопрос принципиальный. Вопрос нашей с вами профессиональной пригодности. Месяц провести среди скопления праздного народа и не узнать ничего мало-мальски интересно-го для нас!

За кого меня здесь принимают? Спецшколы я не кончал, за время недоброго опыта стукачества не получал никаких выгод, только утраты, одна чувствительней другой. Если хотят сыграть на самолюбии, то стоит возразить, что слово «профессионал» меня не возбуждает, не приводит в священный трепет. Можно быть профессионалом-пахарем, а можно профессионалом-палачом. Надо бы сказать и это и многое другое, однако я не говорю. Мне хочется сбежать. С явочной квартиры, со службы, из дому, из города. От всех троих Адамов, от Вадима Вадимовича с его творческим коллективом, даже от Лиды и Антоши. Как-то все отторглось, откатилось в серое и топкое прошлое. Ни одна душа не знает меня, не посочувствует. Хотя бы поругала, встряхнула за грудки: чем занимаешься, сукин сын? Почему забыл театр?! Порви порочные связи, исповедуйся, отсиди годика три-пять, только вернись к праведной жизни, у тебя ведь запас прочности есть. Не нервной прочностью, тут, скорее всего, пошел последний моток. У тебя еще годы впереди. Неужели вокруг одни безнравственные подонки? Неужели некому отличить зерна от плевел?

Плечом в дверь и – привет организации! Однако чтобы иметь право без серьезных последствий вынырнуть из этого омута, нужно вначале что-то сказать, написать, потом уже отступать и последовательно ретироваться на заранее заготовленные позиции. Иначе накличешь беду. Скажем, психанешь, на шумишь, убежишь, окажешь явные признаки ненормальности. О таком индивидууме просто необходимо из серого дома позвонить в психушку и с полным основанием посоветовать заняться созревшим клиентом. И умыть руки, не чувствуя угрызений совести, даже Пилатовых. Хорошо, я решаюсь на постепенность. Что сказать этому рыжему? Молчит ведь, ножка на ножку заложена, ждет, Илья Муромец.

Говори, говори, – толкает в спину нечистая сила. Припоминать, кого ты там встречал. А ведь никого. Сосны, дубы, белки, снегири, тарелка с борщом... Текст официантки: «Сто граммов и кончить!»

Глоток свободы. Видел, слышал, осязал одну только «синюю птицу», морщинистую на морозе и душисто-свежую в

постели женщину. Совмещал ее, спутывал с любовницей драмы на больших линованных листах рукописи. О ней, что ли, рассказать?

О ней, о ней! – подталкивает бес. В твоей пьесе герой не совсем ты, а героиня не совсем Алла Антоновна. Таких много, вы – типичны. Вот где поворот сюжета: насильники доводят до предательства дорогого человека. Он виноват и не виноват! Правда жизни и правда искусства!!

А ведь и впрямь, что бы я ни рассказал о вымысле, персонаже, на судьбе реальной Аллы Антоновны не отразится. Ни в пьесе, ни в природе она на тайные сходки не собиралась, воззваний о свержении прогнившей политической системы не расклеивала. А по случаю из того, что она, партийная, заведующая отделением, крестила дочь и сама подставляла лоб под мирро, можно извлечь нечто доносообразное. И получить передышку на месяц. Извинительный грех, она меня любит, она простила бы...

– Припоминаю одну небезынтересную особу...

Георгий Леонтьевич как бы смахивает дрему с лица, не шевелится, не перемещает ноги, поощряет ожившим обликом. Осекаюсь. Но я уже обязан продолжать:

– Женщина лет тридцати трех. Разводная, живет в столице. Дочь. – Что еще сказать? Ничтожную информацию следует загрузить чувством так, чтобы Адам ее с ходу проглотил. Потом, уже в сером доме, пускай отрыгивает и разжевывает пустую жвачку. Как корова. – Не наш человек... – Это выражение пошевелило его. – Отделение в поликлинике. Адрес не спрашивал, но она заведующая и дала свой телефон. Запомнил. Остальное установить легко.

Для убедительности шарю в карманах пиджака, шарил бы долго, если бы не пришло на ум, что запоминают не карманами, а мозгами. И тут выясняется, что телефона я не помню. Это вызывает кромешный гнев, кровь бросается в голову от попытки сдержаться, в висках пульсирует, жжет. Злоба с пеной на губах, не на себя, не на свою ненадежную память, даже не на Адама, а на Аллу Антоновну. Почему не записала, не завязала узелок на память. Я несправедлив. Она писала, ноготком по снегу, и было красиво и запоминалось.

– Более того, скажу, она парторг всей клиники.

– Имя?

Зацепило, материалчик получается, меня отпустят.

– Алла Антоновна, – произношу с облегчением и повторяюсь, чтобы замаять незнание фамилии: – Заведующая отделением, парторг.

– Ну, ну?

– И вот эта женщина, врач, не умела подлечить свою дочь, младшую школьницу, растерялась, а может быть, нечто другое, вняла совету подружки, поехала в дальнее село... – Тут нужна пауза, насыщенная, глубокая. Получайте же паузу! – Поехала в село, отыскала тамошнего священника и в его светелке тайно крестила дочь.

Эффект должен сказаться. Действительно, Георгий Леонтьевич отодвигается, как бы отбрасывает сам себя в кресле. Продолжаю:

– Скажу больше, она поддалась на уговоры сельского попа и... сама подставила голову под крест. В тридцать лет, коммунист...

В глазах слегка темнеет, осознать всего, что произошло, я, естественно, не могу, только чувствую, как гора сваливается с плеч, освобождается пространство, бес перестает толкать, зато надвигается что-то серое, тяжелое, седлат закорки, подтягивается на волосах к затылку, хватает, сжимает. Одна гора сваливается, другая, поболее, наваливается.

Я молчу. Молчит Адам-третий. Что это может означать?

– Что с вами происходит? – учительский, сочный голос молодого оперативщика преисполнен негодования.

– А что? А что? – переспрашиваю рассеянно.

– Хотя бы то, что вы мне сказали.

– Я был точен. Могу подтвердить.

– А вас не подташнивает?

Уже несколько минут я силюсь загнать тошноту в желудок, она непокорно поднимается к горлу. «Возьми два пальца в рот! А где я их возьму?» Нет, минуту назад меня не тошнило. Это после слов Адама-третьего ретроспективно сотворились те ощущения, о которых он говорит. Да, да. Как во сне, хлопнет

доска, а тебе кажется, что вот в тебя успели в течение мгновения прицелиться, выстрелить, и вот доносится звук. Наяву я замечаю за собой то же самое.

Но почему оперативщик заговорил о моей тошноте? Хочет оскорбить? Если так, то в мире и вправду что-то меняется. «В мире что-то меняется», – угадывала «синяя птица» Алла Антонова. А я не вижу.

– Вам следовало бы отдохнуть...

Это после месяца, проведенного в Доме отдыха!

– Ладно. Достаточно.

– Достаточно на сегодня? Или достаточно вообще? – Тона моих вопросов не улавливаю, шутка в них, отчаяние, а может быть, я и не спрашивал ни о чем.

– А писать? Писать ничего не будем?

Тут я повышаю голос, изумляюсь забывчивости или некомпетентности товарища из компетентных органов.

Происходит нечто похожее на выпадение сознания. Такое было в первый день в сером доме, в минуту, когда меня завербовали.

Я даже не помню, как я оказываюсь на улице.

Тень от моей фигуры падает в разные стороны, можно рассматривать себя в любой проекции, грудь в профиль, лицо, точнее, голова – анфас, приплюснутая, слева плечи расширенные до совершенства, крутые.

Фонарей в городе много, подходи к тому, который делает тебя Аполлоном, и стой хоть до утра. Останавливается «Скорая помощь», выходят два дюжих санитара, надо пройти между ними, такова задача. Но чувствую, что лучше скрыться в тени и не высовываться, избегать неприятностей.

Для кого-то сегодняшнее небо чистое, веселое. Воздух с перегаром – для всех, особенно для меня. В ином случае я перешел бы на противоположную сторону улицы, ветер оттуда, там есть чем дышать, но сегодня, в наказание, принуждаю себя хватать полной грудью угарный газ. Для таких, как я, и этого много.

Идти в дом с таким замороченным видом, под взгляды великоразумной супруги, не стоит. Выпить можно, но с кем? Вы-

ясняется, что на весь город не найдется для меня ни единого друга, ни единой квартиры, где бы меня ждали-привечали. Это выражение моей бабушки. Многие одинокие мужчины имеют товарищей, компанию, женатые, в случае несладкой семейной жизни, – обзаводятся любовницами, чтобы было к кому прийти потолковать, поплакаться в жилетку. У меня никого нет, я слишком долго был порядочным человеком, все годы принадлежал только работе, учебе, семье. Не пил, не вострел в блат и – не имел почвы для произрастания дружбы, любви. Признательности, на худой конец. Теперь некуда податься... Разве что к мудрой бабушке...

На хутор. Как он называется? Где он? Там не найдет Адам-первый, Адам-второй и третий, не найдет следователь из Госавтоинспекции. А найдут – бабушка их паршивым веником выметет со словами: «Катитесь под три черта! Шибздики! Дармоеды! Нечмыхонды!»

Вот убегу, разыщу бабушку, хоть какую-никакую; спрячет, укроет. Ей скажу, что Ваню Дробота я вез для того, чтобы через него сблизиться с Олегом Сидяевым, ведь поручено. А взамен получу звонок, да не к следователю, а к прокурору: так и так, прикажи тому взяточнику, капитану или старлею, отпустить моего младенчика! А прокурор пригласит меня и скажет: не беда, что наехал, у меня случай был, они сами лезут под колеса... Ты не на человека, на цементовоз? Эти водители большегрузов не уступают малолитражкам! Уступил? Это неважно... Прокурор снимет трубку и рыкнет: «Следователь, займись-ка лучше хищениями, закрой дело Вилавы!» И я даже не пойду к капитану или старлею. И к Адаму-третьему. Только бы... найти бабушку, ее хутор... Забыл, где это...

13

«Источник сообщает, что в театре появились подспудные течения. Главный поспешно размножает рукопись новой пьесы, машинистка проговорила, что выдала уже две закладки, то есть – двенадцать экземпляров. Все они разосланы по приятелям В. Литко, главным режиссерам других театров. Обмен ходовой драматургией – дело обычное. Но тут пьеса не из ре-

комендованного министерством списка, а навязывается горячо и широко. В два дня отпечатаны роли, и В. Литко отобрал артистов для застойной репетиции. Рекомендовал вещь как редкостную трагикомедию с занимательной фабулой, острыми, никогда не игранными у нас характерами, по гражданскому звучанию едва ли не шедевр. Такие восторги совершенно не свойственны нашему тяжеловесному, самолюбивому Вадиму Вадимовичу.

Источник разведал: автор пьесы – второй режиссер Николай Вилага. Он известен в стране тем, что поживал (пожинал?) сомнительный успех со своими первыми пробами в драматургии. Получал или не получал международные премии, приглашался на гастроли. Потом разбирались наши специалисты и все ставили на места. Подозрительно то, что В. Литко репетирует пьесу, не утвержденную в управлении культуры, не визированную цензурой. Что происходит?!

Сам Вилага на работе не появляется. Говорят, болеет. Подзреваю – пьет.

22.IV. С. Полоцкий.»

«Источник сообщает, что в его дежурство в палате № 9 появился новый пациент, Н. А. Вилага; алкогольно-депрессивный синдром и мания страха. Обращает внимание особенность поведения Вилагы. Он непрерывно пишет. Пишет и пишет. Отнимали бумагу – пишет на стенах, на полу, царапает на стекле. В этой связи источник сообщает о странном поведении заведующего отделением Л. Ф. Бортника. Врач часто посещает больного Вилагу, слушает его бредовые замыслы романа жизни. А главное, с уходом Бортника листки, исписанные больным, исчезают. В первые дни все это казалось случайностью, но по истечении месяца стало внушать подозрение.

4.VII. И. Чистый.»

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Минуло много-много лет.

Николай Вилава по-прежнему пишет и пишет. Если отнимают бумагу, пишет на стенах, на полу, на стеклах окон... Из разрозненных листов давних лет удалось сверстать нечто похожее на роман. Вы его прочли. В дальнейшем – его проза не связна. К тому же автор ее уничтожает в приступах страха.

О переменах в жизни за пределами лечебницы он не говорит, но знает больше просвещенного и любознательного доктора – ангелы нашептывают ему в ухо, что ли.

В тюфяке под ним доктор нашел его странные пьесы...



ШЕЕЫ ИЗ ПСИХУШКИ

СТУКАЧ (ДИПТИХ)

Действуют
А у р а, дама с большой пенсией.
А у р и к а, она же в молодости.
К у т е п а, мужик без пенсии.
К о л я, он же в молодости.
Л а в р, генерал безопасности.
А л и н а, его секретарь.

БЫЛЬ ПЕРВАЯ И Г Р А В П Р О Ш Л О Е

1

Роскошная гостиная. Интерьер смещен, у входа – пылесос. Некогда присмотренная дама, А у р а, ныне запущенная, мужеподобная с виду и потерянная по сути, включает и выключает телевизор, прикуривает и гасит сигарету, наливает и отставляет рюмку. Несколько раз набирает номер телефона.

А у р а *(в трубку)*. Але? Я прошу прощения. Мне, кажется, дали не тот номер... Извините. *(Опускает трубку. Листает телефонную книгу. Снова набирает номер.)* Я прошу прощения. Мне. Кажется. Дали. Не тот номер. *(Пауза.)* Николай? Кутепа?.. За двадцать девять лет голос не изменился – хорошо живется смерду! Двадцать девять лет, три месяца и девять дней... Память профессиональная. Я вернулась... восемнадцать лет назад. Не забыла, вот звоню. Много всего было. Очень хорошего, что на поверку оказалось очень плохим... Помехи? Я коротко. Я – вдова. Год назад мой генерал... Год безвылазно просидела взаперти, с моим-то темпераментом! Заметь телефончик. Двести двадцать семь, ноль-три-ноль-шесть. Звони, приходи. Тебе удобно завтра? К двадцати? Нет, нет, к двадцати. Жду.

Со всей возможной уверенностью кладет трубку. Опрокидывает рюмку, ходит по комнате, цепляется за пылесос.

2

Тот же смещенный интерьер. Пылесос у двери. Припугнутая А у р а в богатом, неуклюже наброшенном наряде дежурит у дверного глазка. Шаги. Она распахивает дверь и тут же запирает на два замка. Отступает, цепляясь за пылесос.

Входит К у т е п а и тоже цепляется за пылесос.

Кутепа – под шестьдесят лет, заурядного вида, на плечах – тщательно пригнанные недоноски, стрижка домашняя, взгляд настороженный. Башмаки оставляет у порога.

А у р а. Кока! Что ты копошишься? Покажись.

К у т е п а. Знаете, вышколен. И в таких палатах – впервые! Здравствуйте!

А у р а. А я как-то и не поздоровалась. Не к месту. Я вроде и не расставалась с тобой все эти тридцать три года... то есть, еще три месяца и двадцать девять...

К у т е п а. Было, было и у меня такое ощущение. Уехали, все казалось, что понарошку. Все боялся звонка, хе-хе...

А у р а. Шутником стал?

К у т е п а. Под старость можно и пошутить.

А у р а. Какая старость? Ты еще, поди, не на пенсии.

К у т е п а *(сокрушенно)*. Пенсия мне не угрожает.

А у р а *(не вникая в тон гостя)*. Хорошее правило было у моего благоверного – нужных людей еще на пороге привечать рюмашкой. Примешь?

К у т е п а. Позвольте осмотреться.

А у р а *(с плохо скрытой бравадой тычет пальцем во все двери)*. Кабинет его превосходительства. Бывший. Пустует. Детская. Бывшая. Пустует. Спальня. В простое. Кухня в запустении. Не для кого стараться. Дальше там ванные, чулан. Есть еще что-то вроде запасника: свернутые ковры, пишущая машинка. «Ремингтон» в упаковке, «Панасоник» с магом в придачу... Компьютер, принтер, мобилки... Копили годами...

К у т е п а. Остановитесь, а то валерьяны попрошу, хе-хе...

А у р а. Можно подумать, все это тебе в диковинку!

К у т е п а. Отчего же! По телеку видел, в кинопродукции из-за бугра. Сам пишу от руки, а смотрю «Весну», черно-белую, ровесницу нашей разлуки. Что касается магнитофонов, то самый японский я сбросил бы с девятого этажа. В печенку въелись из соседних окон, хе-хе...

А у р а. У-у, характер. Я всегда любила в тебе мужчину. Мужчина! Прошу к столу. Я не успела приготовить, но выпить – на выбор.

К у т е п а. Заняты по-прежнему?

А у р а. Занята одним: все спешу, спешу. Только то и делаю, что спешу. *(Со странным смешком.)* Наладилась пыль собрать – едва успела пылесос выставить, принялась стряпать – закопалась с конфорками, платье – и то набросила кое-как. *(Тут же хватается за все разом: за нож и рюмку, за стул и набор фотографий.)* Смотри – хороша была? Я не сильно изменилась? Вот сделаю омоложение... Выпьем, чего там! *(Наливает – горлышко дребезжит о рюмку.)* Ой, неуклюжая!

К у т е п а. Позвольте я. *(У К у т е п ы тоже все дребезжит.)* Это такие теперь горлышка у бутылок – дребезжат.

А у р а. Просто не верится, что ты и – снова рядом. За встречу!

К у т е п а. Вас когда-то звали Аурикой, по-молдавски. *(Поднимает рюмку.)* Будем людьми, как говорят молдаване!

А у р а. Хоп-хоп! *(Дружно выпивают.)* Ты так поздно появился на моем горизонте!

К у т е п а. Мы знакомы тридцать три года.

А у р а. Ты тогда уже, тридцать три года назад, на моем горизонте появился поздно.

К у т е п а. Виноват.

А у р а. У меня был муж, молодой майор, потом выше – полковник.

К у т е п а. Потом – генерал, из самых секретных, из тех, что ходят в штатском, а документы хранят в столичных сейфах.

А у р а. Ты догадывался?

К у т е п а. Не трудно было. По вашему шарму, по манере хозяев...

А у р а. Ладно. Дело разумею, но пей! *(Наливает проливая.)* Эта встреча так разволновала меня. Ты не подумай чего-то там.

К у т е п а. Я и не думаю.

А у р а *(загораясь)*. Да, по обстоятельствам приходилось и перебраться, и перекурить. Но не до такой же степени!

К у т е п а. Ради Бога!

А у р а *(заметно злясь)*. И если задрезбит телефон, не бери трубку.

К у т е п а. В чужой квартире? Не в моих правилах.

А у р а. А ты все равно не бери!

К у т е п а. Не возьму.

Она пьет, он – тоже.

А у р а. Меня теперь все потихоньку обирают. Подружка напрашивается с милым «на хату». Пьют, едят мое, простыни перемарывают и даже забывают ключ возвращать. Одалживаются соседи. У меня есть из чего, но ведь несправедливо – не возвращают. В Лиманах мой дом арендовали казаки, в кредит. Устроили паланку – не платят. Хотя бы воевали, с турками там, с поляками. А то грызутся между собой. Одну традицию только и соблюдают – пьют. За мой счет. Их кошевой атаман сватается ко мне. Я знаю зачем – прописаться в моих хоромах. Потом пропишет весь кош. Кость Гордиенко! Атаман Сирко! *(Снова с угрожающей миной.)* И дверь, если запоет звонок, не открывай.

К у т е п а. Аура Юрьевна, я воспитанный человек.

А у р а. Вот и славненько. И не открывай!

К у т е п а. Не встану с места.

А у р а. Не вставай. И не шуми.

К у т е п а. Нет, нет...

А у р а. Не теперь. Когда придут, не шуми.

К у т е п а. Уверяю вас, сориентируюсь.

А у р а. Беспокоятся обо мне.

К у т е п а. Не мое дело, я гость...

А у р а. Сестричку присылают, знахаря. Иглоукалывание...
Догадываешься?

К у т е п а. Я сторонюсь и казенной медицины, и народной...

А у р а. Из убеждений?

К у т е п а. Платить нечем.

А у р а. И говоришь такое с улыбкой!

К у т е п а. Привычка к лишениям.

А у р а. Помню твой софизм. Если кровного рысака посадить на мякину...

К у т е п а ...он издохнет.

А у р а. А кляча?

К у т е п а. Живет! И воз тащит.

А у р а. Но стоит ли жить на мякине?!

К у т е п а. Живут. Это вы, женщина, лишенная всяких лишений, без пориджа и эфиопского кофе призов не берете.

А у р а. На старт не выходим.

К у т е п а берет рюмку, А у р а – тоже.

К у т е п а. Помню вас молодой, неправдоподобно, нереально красивой!

А у р а. Ты помнишь нашу первую встречу?

К у т е п а. При первой я был огорошен, отключился. Вы убеждали, я соглашался, вы водили по кабинетам, я ходил, вы пододвигали бумаги, я подписывал, как в бреду.

А у р а. Преувеличиваете, сударь!

К у т е п а. Вторую встречу... поначалу смутно воспринимал. Потом прокручивал в памяти десятки раз – что происходило, где я стоял? – и затвердил навсегда.

А у р а . А-а, на явочной квартире, у отставной активистки...

К у т е п а . Синяя полутьма. Диван, стол, стопка белой бумаги...

Меняется освещение. Диван, стол, стопка белой бумаги.

3

А у р и к а хороша, раскованна, профессиональна. К о л я в двойном плену: очарован женщиной и смят реальными и мнимыми страхами.

А у р и к а (*покуривая, наставляет*). Отступите сверху сантиметров на шесть и слева – на пять. Форма такова: «Источник сообщает, что...» Тут для широты дела вставляется: «выполняя задание такого-то...» В нашем случае тоже в мужском роде. И далее: «источник встретился с тем-то...» или «...побывал там-то». Далее коротко увиденное и услышанное. Доступно?

К о л я . Вопрос можно?

А у р и к а . Сколько угодно. И не держитесь, как на докладе у самого. Здесь атмосфера открытости и полной взаимности.

К о л я . Сразу не привыкнешь к вашим...

А у р и к а . Не «к вашим», а «к нашим». Ты – наш!

К о л я (*осмысливая*). Я – ваш...

А у р и к а . Мы с тобой – одно. Одно важное и нужное учреждение, разумеется, скромное, без огласки и рекламы. О чем подписано обязательство.

К о л я . Подписано...

А у р и к а . Что за вопрос?

К о л я . Комментарии, мнения?..

А у р и к а . Комментировать и высказывать мнения будут вышестоящие. Наша задача – факты.

К о л я . Упрощается, думать не надо.

А у р и к а . Ценю юмор, но в малых дозах.

К о л я . Больше не буду.

А у р и к а . В конце изложения следует дата и подпись. Дата придет в нужный день, а вот подпись... Нам нужен псевдоним.

К о л я . Не думал, что в моей жизни понадобится псевдоним. Начинаю уважать себя.

А у р и к а . Кутепа... Кутепа... Николай Кутепа... Кока... В институте ты специализируешься по?..

К о л я . Пока психология. Психиатрия. Не по силам мне, боюсь чокнуться. Перехожу на филологию.

А у р и к а . Актеры берут псевдонимы – фамилии крупных деятелей театра, рабочие – революционеров, учителя – Ушинских, Макаренков... Давай из психиатрии. Кто там замечен на их небосклоне?

К о л я . Месмер, Фрейд, Павлов, Выготский...

А у р и к а . Вот и выбери благозвучную фамилию.

К о л я . Не кощунство ли?..

А у р и к а . А что ты предлагаешь?

К о л я . Логичней – из терминов. Кретин – связано с античным миром, Шизик – широко распространено теперь...

А у р и к а . Сложненько. Давай имя великого.

К о л я . Пусть будет Шарко, он лечил королей.

А у р и к а . Это – душ Шарко? Наш и – лечил королей?

К о л я . Француз, девятнадцатый век. Он еще открыл патологию, когда человек забывает дышать и может умереть без кислорода.

А у р и к а . Такое бывает?

К о л я (*глубоко*). Со мной... всегда, когда вижу вас...

А у р и к а (*легкомысленно*). Фантазер! Ладненько, пусть будет француз.

К о л я . Я – француз, я – Жан Мартен Шарко... только бы не засветиться.

4

Гостиная А у р ы . Хозяйка и гость допивают коньяк. Она сладко вздыхает.

А у р а . Обычно я презирала своих подопечных. Вербуются, как правило, замаранные, схваченные на аморалке, стяжательстве, служебных нарушениях. С виду приплюснутые, со страхом перед небом в клетку. Ты первый, кого я не брезгала.

Попал, как под транспорт. Пошел за женщиной. И рыло не было в пушку, и мозги вроде бы на месте. Любовь?

К у т е п а . Хе-хе... Не только. Не видел смысла артачиться. Если ваша контора уж раскинула сети, ни в какой тине не отсидишься. Сессии завалишь, мамаша потеряет место, а она едва сидела на нем. Испачкаете, унизите, отвратите друзей, отнимете кусок хлеба. Да все так, что и виноватого не сыщешь, кроме самого себя. Гордого изувечите, тактичного обхамите тактом же... И все равно принудите капать на ближнего. Если все такое предвидишь, стоит ли кувыркататься?..

А у р а . Ты тогда уже не ходил в дураках.

К у т е п а . Житейская мудрость. С детства играли в доносы. Если к сказанному прибавить, что меня сильно интересовала ваша психология.

А у р а . Да?

К у т е п а . Как это ни странно! Вы меня в открытую исследовали, а я вас – тайно. Огромная машина отбирает из гнилого общества малых здоровых, перспективных молодых людей для того, чтобы это общество удержать в гнили, но на плаву. А посудина дает течь, теряет остойчивость, тонет...

А у р а . Робкое оправдание задним числом. Вел тебя худший из пороков – трусость. Я теперь почитываю Библию.

К у т е п а . И это правда. И многое другое. Я великий путаник. Патентованное белое мне виделось черным, созидание – разрушением, мудрец – глупцом. На одно лицо мне казались и мундиры голубые, и послушный им народ. Я искал нишу, куда бы спрятаться от страхов и сомнений. И тут явилась молодая богиня.

А у р а . И ты очертя голову в омут?

К у т е п а . Была игра... Перед каждым шагом я старался угадать, чего от меня хотят. И как мне быть? Притормозить, спуститься на помочах? Очертя голову? Рад стараться! Была поэзия. Чтобы не сойти с ума, я рифмовал.

На юру мы нашли свою нишу –

Суета и ни зги не видать.

Говори, говори, я услышу

То, что ты так не хочешь сказать.

Хе-хе... искал приют-уют.

А у р а . Видишь, опора была в нас!

К у т е п а . Страх. Вы им заполнили все наше бытие. Лепили из него опору, дело, надежду, радость...

А у р а . Радость из страха?

К у т е п а . Высший пилотаж. Раз в месяц я обязан был приносить вам хоть какую-нибудь пакость. Сплетню, поклеп на человека, мысли которого я разделял... ложное подозрение... Хуже, когда облыжно подавал убеждения праведника... Унизительно ведь высматривать, подслушивать, высасывать из пальца обтекаемый факт только ради того, чтобы вы могли положить в папку листок и в аванс и зарплату получить... да не по гривне за пакость, а все блага мира! Это терзало...

А у р а . Где же тут радость?

К у т е п а . Она являлась, когда после этакой тактичной, с потугой на светскость, пытки я выходил на воздух. Прибывала теплая волна, этакий душевный подъем. Я свободен до следующего визита! Я под защитой от больших бед, от молоха! Огражден от произвола начальства и доносов братьев-сексотов, имя которым – легион! Целый месяц могу ненавидеть вас, даже анекдотец травить, поносить подслушивание телефонов и перлюстрацию писем. С меня стечет, как с гуся вода, мол, болтал, чтобы втереться в среду диссидентов.

А у р а (*с горячным восторгом*). Какая игра велась!

К у т е п а . Какие ставки были!

А у р а . Карьера, достаток!

К у т е п а . Душевное равновесие!

А у р а (*поднимает рюмку*). За утраченное прошлое!

К у т е п а . За мир – театр, людей – актеров! А еще: мир – бардак, люди – бляди!

5

Высвечивается явочная квартира. А у р и к а и К о л я К у т е п а . Они в зимней одежде: меховой жилет, брюки в обтяжку, мохнатые сапожки. На нем куцее пальтишко, непомерный свитер, мятые брюки. Раздеваются, дуют в горсти.

А у р и к а . С возвращением!

К о л я . Спасибо!

А у р и к а . Ну, как зимний санаторий?

К о л я . Недостроенный замок княгини Щербатовой. Недостроенный потому, что княгине наворожили: положишь последний камень – умрешь.

А у р и к а . Душа и тело отдохали?

К о л я . Если бы не помнилось о ваших напутствиях.

А у р и к а . И как контингент?

К о л я . Ветераны сохи и подоюника. Большерукие, согбенные, увечные. Привезли с собой ароматы фермы и тракторного стана. Дамы под стать кавалерам. Плюшевые курточки, кирзовые сапоги. В роскошном холле под пальмой собьются в комок и поют (*поет*):

*Хороша я, хороша,
Да плохо одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это.*

А у р и к а . Ба, да ты при голосе!

К о л я (*продолжает свое*). Механизаторы из тех, что не доживают до пенсии из-за перегрузок мышечных и сивушных. Один такой за моим столом все гнусавил да приставал к официантке. Та его урезонивала: «Я знаю, чего тебе надо. Сто граммов и кончить!»... Экзотическая, но не подходящая среда.

А у р и к а . Неподходящей среды не бывает. Всякая среда для нас питательна.

К о л я . Впитывал охи да вздохи. Разделял радости, мол, хоть перед смертью в раю побывали. Не надо вставать со вторыми петухами и тащиться на ферму в мороз да навоз. Никто не выматерит! Слава Богу! Единственный демарш – благодарили не партию, а Бога. Но это не переделаешь, не переможешь!

А у р и к а . Так-таки не на кого было глаз положить?

К о л я . Набрел на одну на отшибе. Прическа с фиолетовым отливом, голубое, в пупырышках, пальтецо. Сидела на корточках у пихты и мизинцем чертила семь цифр на свежем насте. Свой городской телефон.

А у р и к а . Оттачиваем наблюдательность?

К о л я . Вашими стараниями.

А у р и к а . Познакомились?

К о л я . Куда денешься! Санаторий ведь.

А у р и к а . Интересна?

К о л я . Врачиха. Заведующая отделением даже – в свои неполные тридцать три года.

А у р и к а . Подробности?

К о л я (*принужденно*). Долго скрывала, что разводная. Ушла от молодого отставника, пьяницы и импотента. Растит дочь-пятиклассницу.

А у р и к а . Мнения?

К о л я . Об офицерах – самые невыгодные: бездельники, бражники, бабники. Старшины – несуну, рядовые – вызывают сострадание...

А у р и к а . Детали?

К о л я . Интимные, что ли?

А у р и к а . Если ничего не лежит на поверхности, перетряхни простынки.

К о л я . Непривычная сфера для меня...

А у р и к а . Тем острее впечатления.

К о л я . Сделали первое признание и – прорвало. Пошла за мною в номер. Опрокинула на меня море девичьей и, вместе с тем, материнской нежности. «Я знала, что мое от меня не уйдет! Не насовсем – на такое счастье я не покушаюсь! Не надолго, но мое!»

А у р и к а . Гражданка явно долго постилась.

К о л я (*глубоко*). А каково было мне? Забывшему свое мужское звание, смирившемуся с ролью старого холостяка?! Мне, мимо которого женщины проходят, как мимо телеграфного столба?!

А у р и к а . О своих переживаниях как-нибудь на досуге. Их в дело не впишешь. Поступки, реплики.

К о л я . Что за поступки, что за реплики в подобных ситуациях?!

А у р и к а . Самые сокровенные. В экстазе женщину тянет к исповеди.

К о л я . Да?

А у р и к а . Да!

К о л я . У вас тоже изучают психологию?

А у р и к а . Кока! Не корчь из себя целочку.

К о л я . Однако я не поп, она не прихожанка...

А у р и к а . По ситуации ты был архиереем. Потому – не лги. И без комплексов. Расслабься! (*А у р и к а подсовывает бумагу. К о л я садится к столу.*) Улов у тебя небогатый. Однако! Здесь должно быть что-то написано. И не пустяшное. Не принуждай меня повторяться.

К о л я . Не пустяшного не было. Заурядное курортное знакомство. Адюльтерчик. Переигравшие страсти.

А у р и к а . Были свидания, были прощания...

К о л я (*холодея*). Прощание? Стоим за спиной моего автобуса. Она в метре... Жар чую... Говорит – стрелы мечет. «Боже, как заурядно стоим! А через месяц, через год и десять лет спустя, у себя в Киеве, в темной спальне или на тихом дежурстве – чего бы я не отдала, чтобы вот так выйти на мороз и постоять... в метре от тебя!» На ресницах застывали капли...

А у р и к а . Это прощание. А прогулки до того?

К о л я . Вы проникательны... относительно исповеди. Вечерами она вела меня к заколоченной церквушке.

А у р и к а . Это уже теплее, теплее.

К о л я . В треснувших витражах отблески фонарей, как лампы...

А у р и к а . И что она говорила на паперти?

К о л я . Я могу хранить хотя бы чужую тайну?

А у р и к а . Говорилось тебе, значит, тайна – твоя. А твоя, в равной степени, – моя.

К о л я . Говорила о длительной болезни дочери... самое сокровенное. О бессилии вашей... нашей медицины. О том, что спасло дочь только крещение.

А у р и к а . Горячо!

К о л я . В семилетнем возрасте свезли дочку в глухое село, на дом к священнику. Дитя стало выздоравливать прямо в купели. Измученная и воспрянувшая духом мать сама подставила свой лоб под мирро и окропление... Сокровенное...

А у р и к а (*с победной иронией*). Зав отделением! Коммунистка! Имя?

К о л я . Матери?

А у р и к а . Дочери партия не предоставляла работу в столице. И не давала жилье.

Пауза.

К о л я . Это была моя первая женщина. Алла Константиновна Косенко.

А у р и к а . Семизначный телефон запомнил?

К о л я заторможенно шарит по карманам.

Запоминают не карманами.

К о л я . Запомнил.

А у р и к а . Принимайся за перо.

К о л я . Достойно ли все это вашего внимания?

А у р и к а . Не «вашего», а «нашего»: с паршивой овцы хоть шерсти клок.

К о л я поправляет бумагу, вертит авторучку.

К о л я . Можно начать нестандартно? «С чувством признательности за любовь женщины... источник сообщает»...

А у р и к а (*глянув на часы*). Не паясничай!

К о л я . На подходе следующий рыцарь?

А у р и к а . Не выпрыгивай из рамок!

Пауза.

К о л я . Не склеится у меня.

Пауза.

А у р и к а . Я продиктую.

К о л я . Это была моя первая женщина. Я тыкался в нее, как кутенок в чрево матери... Она меня наставляла...

А у р и к а . Видно, судьба такая, чтобы тебя наставляли женщины. И все же отбросим сопутствующие моменты.

К о л я . Она знает, что я единственный, кто посвящен в тайну ее крещения.

А у р и к а . Я, кажется, повторяюсь, но... Тайна – это когда знает один. Знают двое – это уже гласность.

К о л я . Узнают в ее лечебнице – узнают и в моей конторе. Я засвечусь.

А у р и к а . Слишком далеко заглядываешь. Это наша забота.

К о л я . Я не смогу быть вам полезным.

А у р и к а . Не тебе судить.

Пауза.

К о л я . Вас не подташнивает?..

А у р и к а . Не меня должно подташнивать... А тебя!

К о л я . Разумеется... И не теперь... А значительно раньше. В начале.

6

Снова гостиная. А у р а и К у т е п а с рюмками в руках.

А у р а . Что же ты остановился?

К у т е п а . Боюсь перебора.

А у р а . Наблюдаются рецидивы?

К у т е п а . Кататоником стал.

К у т е п а демонстрирует подергивание мышц лица. Смеются оба.

А у р а . Наговариваешь на себя.

К у т е п а . Случается.

А у р а (*поднимает рюмку*). Однако – за прошлое!

К у т е п а (*горько*). За реку, имевшую прочные берега, за легенду, удерживавшую в узде поколения!

Пауза. А у р а оставляет коньяк, уходит из-за стола.

А у р а . Теперь ты можешь говорить все, что думаешь... А я тебе скажу то, что я знаю. У нас была страна вольнодумцев. И чтобы им, всем скопом, не дать разложить нашу систему, мы разлагали их – каждого в отдельности. Слежка, подслушивание и перлюстрация, армия сексотов – это инструмент, внешний атрибут дела. Мы все такое держали в такой тайне, чтобы про нее знал всякий и каждый, да побольше, да с плюсиком. Знал и боялся. А вот того, чем мы занимались не понарошку, не постигали даже многие наши высшие чины. Исполнители и подавно. Почти каждого способного мыслить мы подлавливали на мелком проступке – кто в миру не грешен! – припугивали одного,

задабривали другого и привлекали к неблагоприятному сотрудничеству. Он выслуживался, капая на ближнего, оставляя материальные следы. А рыльце его тем временем покрывалось пушком, сердечко наживало нравственный, а порой и физический порок. Мы так хранили тайну его бытия, что она становилась явью. Он исподволь понимал это. И то, что он падал в глазах окружающих, – не главное. Нам бы еще десять лет – и не было бы глаз, в которых можно было бы упасть! Главное – его падение в собственных глазах! Заповеди исхода живут в каждом мимо его воли. И каждого мы приводили к их предательству. К осознанию, что он подлец, мразь, пешка в чужих руках. Что без пакостей ему не прожить, не прокормиться. Доводили особь до этаконной кондиции и – в накопитель. И жили. И даже теперь, когда черт знает откуда и по чьему мановению свалилась гласность и демократия, мы неприкасаемы. И при деле, и на покое. Нас не трогают, потому что трогать придется тронутым! Потому – пей со мной. И уважай, как уважал раньше!

У А у р ы дрожат руки. Едва выпив, она роняет рюмку.

К у т е п а . Если бы разбилась, было бы к счастью.

А у р а . Мне нельзя волноваться... Предлагают закодироваться...

К у т е п а (*указывая на спиртное*). От этого?

А у р а . От воспоминаний.

К у т е п а . Не вспоминайте. Вы же на покое.

А у р а . Только вчера подала рапорт.

К у т е п а . Что-то не догоняю. Да ладно.

А у р а . И не догонишь. Верь на слово.

К у т е п а (*ньет*). Поди, старший офицер?

А у р а . Полковник.

К у т е п а . Начинаю пуще прежнего вас бояться.

А у р а (*расслабленно*). Полковник, владелец хоромов в престижном районе и загородного имения... Полковник, от которого эмигрировали дети, отвернулись друзья семьи, которые на поверку оказались друзьями должности. И не моей, а мужа – генерала... (*А у р а по-бабьи всхлипывает*.) Такой меня не видел? Теперь часто... Нет той самой узды... сняла портупею и – всего лишь баба.

К у т е п а . Выходит, у меня лучше. Я ничего не имел и терять нечего.

А у р а . Кроме одиночества.

К у т е п а . Одиночество – великолепная вещь...

А у р аесли есть кто-нибудь, кому можно сказать, что одиночество – великолепная вещь... Начитаны.

К у т е п а . Кроме того, я не одинок.

А у р а . Знаю.

К у т е п а . Информация поступает по прежним каналам?

А у р а . Все по-прежнему. Вывески перекрашены, люди на местах...

К у т е п а . Так отставка же!

А у р а . Свой круг. Даже в отставке остаемся при лямках. Вон секретарь облисполкома изгнан с треском, сидит дома. А начальнички станции и дистанции, банка и баньки, коммунхоза и колхоза – в свое время расставлены им. Теперь мы звоним отставному секретарю исполкома, он – начальничкам, и – все течет, все не изменяется...

Пауза.

К у т е п а . И пенсия с выслугой?

А у р а . Законы писаны не про вас.

К у т е п а . И благоприобретения неприкосновенны?

А у р а . Про меня мне все известно. Но как тебя угораздило жениться? В молодости обходился вручную, двадцать, даже десять лет назад – холостяк. И вдруг! Почему не вовремя?

К у т е п а . Вовремя я не уважал себя. Если себя не любишь, кто же тебя полюбит?

А у р а . А теперь выпрямило?

К у т е п а . Не заметно?

А у р а . Невооруженным глазом – не слишком. Те же застиранные воротнички, та же, скажем так, подтянутость в теле.

К у т е п а . Земных благ на всех не хватает.

Пауза.

А у р а . Она, эта... твоя посвящена в извилины твоей биографии?

К у т е п а . Не вникает. Принимает меня де-факто.

А у р а . Одноклеточная?

К у т е п а *(осторожно)*. Я могу серьезно обидеться.

А у р а *(изумленно)*. Не буду.

К у т е п а . У нее своего прошлого с избытком. Обихаживала, ублажала моряков между рейсами. Двадцать один раз надеялась и обманывалась. Ходила под выюками в Польшу-Турцию. Взятки давала инвалютой и натурой, аборт, жизнь по лжи... утратишь веру в добро...

А у р а *(с издевкой)*. Зато теперь!

К у т е п а . Три года одна и та же фигура перед глазами. То с сумками с рынка, то в фартуке у газпечки.

А у р а *(с большей издевкой)*. И это то, что она искала всю жизнь!

К у т е п а . По тихой радости – похоже.

А у р а . Она обихаживала моряков между рейсами, теперь ее обихаживаешь ты – на покое!

К у т е п а . В этом мире сколько у человека отнимается, столько же ему и дается.

А у р а . Я знаю одного, у которого в этом мире отнимается и отнимается. И прозвище у него подходящее – Кутепа.

К у т е п а . Мы же не о присутствующих.

А у р а *(горько)*. Кутепа – и дальше ходить некуда! Если когда-нибудь и вправду возьмутся восстанавливать справедливость, то начинать надо с Кутеп! *(Пересаживается на диван.)* Иди сюда. Садись рядом. *(К у т е п а послушно подсаживается.)* Кока, ты любишь свою жену?

К у т е п а *(смущенно)*. Можно вопрос так не ставить?

А у р а . Я понимаю, не слишком бон тон говорить с посторонними о супруге. Но мы не совсем посторонние. Она, видно, такая – вся из себя?!

К у т е п а . Маленькая, болезненная, смирившаяся...

А у р а *(с нервом)*. Тебя любит?

К у т е п а . Я так вопрос не ставил...

А у р а . Со стороны не определишь. *(Зло.)* Кормишь, обхаживаешь ты! В постели она как?

К у т е п а . Я привык к лишениям.

А у р а . И тут лишения!

К у т е п а (*толково*). Ее отвратило задолго до меня. И потом, ей особенно нельзя: брюки через голову бросишь – беременна...

А у р а (*вскрикивает и отходит*). Схороните меня живой! Ни поесть, ни повеселиться, ни трахнуть! Смысл? Смысл жизни в чем?

К у т е п а . Григорий Сковорода, Лев Толстой – не знали. Где уж нам!

А у р а хватает разные предметы, готова бросить в него.

А у р а . Ты дурак! И лжец! Ты корчишь из себя святошу! И дурочку нашел – верит. Две дурочки! Она и я. Уши у нас устроены – под лапшу! Врешь! Так не бывает. И таких не бывает! Нет таких колодок, на которых тачают Кутеп!! Столетия трудились, чтобы не было!

7

Резко меняется освещение. Явочная квартира. А у р и к а в мающем платье, искусительна. К о л я К у т е п а в мятом пиджаке. Он потрясен.

К о л я . Се-сегодня вы пре-превосходите самое себя!

А у р и к а . И по весьма грустному поводу.

К о л я . Не пугайте зря.

А у р и к а . Отнюдь. Сегодня наше последнее свидание.

К о л я (*осевшим голосом*). У вас отпуск?

А у р и к а . У меня перевод по службе. С повышением.

Пауза.

К о л я . Можно осмыслить?

А у р и к а . Наше дело не осмысливать, а исполнять.

Пауза.

К о л я . Изменение в вашей штатной службе косвенным образом коснется моей нештатной?

А у р и к а . Прямо коснется. Прямо.

К о л я (*осторожно*). У вас принято спрашивать согласия?

А у р и к а . У нас... согласие нижестоящих само собой разумеется.

К о л я . Деликатно и понятно. Перемена в судьбе смерда не зависит от воли смерда.

Пауза.

А у р и к а . У тебя останется все то же. Только лицо через стол будет несколько другое.

К о л я . Чувствительно другое... Хотя бы того же пола?

А у р и к а . Кутепа! Женщина в нашем деле – явление уникальное! Как на боевом корабле. Одиозное!

К о л я . И только через волосатую руку.

А у р и к а (*кокетливо*). Женщин посылают только к редким везунчикам.

Пауза.

К о л я . Женщина ли, мужчина ли – был бы человек хороший...

А у р и к а (*морщась*). Миша-газовик. Сорок два года, а он все в старлеях ходит.

К о л я . В миру полагают, что деградирует только армия.

А у р и к а . Мы пытаемся не отставать.

Пауза.

К о л я . Итак, в городе будем видеться редко, случайно и только шапочно?

А у р и к а . И шапочно не удастся.

К о л я . Не по артикулу? Или конный пешему не товарищ?

А у р и к а . Мой перевод семейный. И связан с выездом.

К о л я . Не черненьким ли в помощь?

А у р и к а . Напротив, к весьма белым. Однако прерогатива задавать вопросы до сегодня принадлежала не тебе.

К о л я . Случай ведь – из ряда вон...

А у р и к а . Из ряда вон. Но у нас времени только на организационный вопрос.

К о л я . На подходе старший лейтенант Миша, сорока двух лет от роду, пьяница?

А у р и к а . У старшего лейтенанта Миши другая явочная квартира. Туда я тебя завтра передам. Сегодня – последние слова тет-а-тет. Все-таки неполных четыре года...

К о л я . Тронут. Не предвидел, пришел без флакона. На посошок бы, на удачу в вашем кропотливом деле.

А у р и к а . В «нашем кропотливом деле»! В нашем! *(Достает из бара коньяк.)* Предусмотрено не нами.

К о л я . Армянский? Чувствую себя выделенным судьбой. Для вас не крепок будет?

А у р и к а достает одну рюмку.

А у р и к а . А для тебя?

К о л я . Простите, я упустил из виду, что вы на работе.

А у р и к а . Наша работа порой открывает широкие возможности. *(Наливает ему, подает. Он, вздохнув, берет.)* Ну-ну, покажи себя в деле.

К о л я . Оставайтесь всегда такой...

А у р и к а . Ты – тоже.

Он пьет. Пауза. Она подносит вторую. Он пьет.

К о л я . «Боже, как заурядно стоим! А через месяц, через год и десять лет, в темной спальне или на тихом дежурстве – чего бы я не отдал, чтобы вот так постоять... в метре...»

А у р и к а . Ты способен ждать?

Пауза. К о л я К у т е п а холодеет.

К о л я .

*Так ждать, чтоб даже память вымерла,
Чтоб был непроходимым день,
Чтоб умирать при милом имени
И догонять чужую тень,
Чтоб пальцы невзначай не хрустнули,
Чтоб вздох и тот зажать в руке,
Чтоб даже мертвым я почувствовал
Твое дыханье на щеке...*

Пауза.

А у р и к а . Принимаю как прощальный адрес.

К о л я . Простите, если и это не моя прерогатива.

А у р и к а . Чего там! В рифму. Только не хотелось бы, чтобы все это так, запросто. Сегодня услышал, сегодня и ляпнул...

К о л я . Услышал не сегодня, а ляпы вообще не в моих правилах. Выношено. Почти четыре года... всякий звонок... всегда жуткий для меня, потому что из чуждой жизни и вместе с тем – от вас... Потому, что вы – в той жизни. Я был раздвоен, растроен, расчленен, распят! Шел черт его знает с чем, черт его знает на что шел... За свидание с вами платил отступничеством... Угрызения совести не унимались... Оправдание чувством к вам уже не помогало... Потерян – и все тут...

Пауза.

А у р и к а . А ты не совсем обычный парень. В какую грязь тебя ни сунь, ты и там смотришься не до донышка в дерьме. И страхи твои с оговорками, и отступничество, как у Юлиана Мережковского: «Отчего такая грусть в природе? Чем она прекраснее, тем грустнее.»

Она наполняет рюмку, протягивает ему.

К о л я . С барского плеча – соглядатаю за выслугу. *(С вызовом пьет.)*

А у р и к а . Тебе не повезло. Обычно такие тихони трудно раскалываются. А тебя занесло. И не потребовалось чрезвычайных мер. Ни насилия, ни обольщения... Когда от меня потребовали тебя, я приготовилась к самому крайнему... И к уступкам... Ты допустил промашку.

К о л я . Я промахиваюсь, даже когда попадаю.

А у р и к а *(медленно наполняет рюмку, пьет сама)*. Наверное, было бы справедливо, если бы ты свою долю получил. *(Пауза.)* Но мне трудно переступить через себя. *(Пауза.)* Мы кормимся от стукачей... но презираем их до тошноты. *(Как бы безотносительно к разговору распускает пояс на тонком платье.)* Особенное омерзение вызывают рьяные, те, что на повешение бегут со своей веревкой... Ты скорее строптивый. Раздвоен, растроен, распят, но себя оказываешь. Ты – странный. *(Едва заметным движением снимает туфли.)* Твой растоптанный гонор вызывает чувство вины даже у меня.

Она распускает волосы, собирает в пучок. К о л я К у т е п а медленно приближается. На полдороги останавливается. Приближа-

ется почти вплотную. Она оборачивается, изучающе смотрит, взвешивает, отворачивается.

Через час вечеринка по случаю присвоения супругу генеральского звания... и перевода на первую должность... к белым. (Пауза.) Я должна переодеться. Званный ужин... и все такое.

К о л я . Ради Бога!..

В снопе света А у р и к а изгаляется над чувствами мужчины. Раздевается. К о л я смотрит. В груди бьются рыдания. Голая, она идет к нему. Он падает без чувств. Темно. Высвечивается гостиная.

8

А у р а . Твой брак зарегистрирован?

К у т е п а . Нет.

А у р а . Ты можешь оставить свою... жену?

К у т е п а . Ее оставляли двадцать один раз. Двадцать два – будет перебор.

А у р а . Она способна на истерику?

К у т е п а . Она спросит: за что?

А у р а . Ты слишком чуток к словам.

К у т е п а . Это другие – не чутки к словам.

А у р а . А ты не думаешь, что такой вопрос не придет ей в голову?

К у т е п а . Достаточно того, что такой вопрос пришел мне в голову.

А у р а . Ты стал несколько другим...

К у т е п а . Седым, подержанным...

А у р а . И все же остался прежним...

К у т е п априбитым пыльным мешком. Из-за угла.

А у р а . Я бы с тобой очень дружила.

К у т е п а . Спасибо.

А у р а . И только?

К у т е п а . Большое спасибо!

А у р а . И все?

К у т е п а . А что я могу еще?

Пауза.

А у р а . Ты можешь помочь мне... восстановить справедливость.

Пауза.

К у т е п а . Справедливость надо заставить в миру при рождении. Поручить ее несложно, восстановить справедливость еще никому не удавалось.

А у р а . Мне удастся! *(Горячо.)* По отношению к тебе, во всяком случае.

К у т е п а . Я не избалован особым отношением. И избегаю его.

А у р а *(зажигается больше)*. Ты только не мешай мне. У меня превосходная идея. А у тебя – широкий выбор! *(Выбегает на середину гостиной.)* Не покидая этих стен, ты из гостя превращаешься в совладельца. Подписываем контракт – это теперь принято – и заверяем у нотариуса.

К у т е п а *(принимая за шутку)*. Скоро и споро!

А у р а шагает по гостиной, как бы меряя ее.

А у р а . Гостиная – пополам!

К у т е п а *(подыгрывая затее)*. И ковры, и бар, и люстра!

А у р а скрывается в левой двери.

А у р а *(из глубины)*. Столовая!..

К у т е п а *(вслед ей)*. С югославской печкой, микроволновкой, с румынской кухней...

А у р а *(появляясь, с азартом)*. Печка микроволновая есть. А кухня – буковинская, персональный заказ! На двоих! *(Скрывается в правой двери. Из глубины.)* Спальня!..

К у т е п а . С дубовой кроватью под пологом, с фарфоровым ночником...

А у р а *(из глубины)*. С двумя ночниками, электромассажером, шведской стенкой...

К у т е п а . С Шахерезадой и тысяча одной ночью!

А у р а *(появляется, запыхавшись)*. И еще много с чем – на двоих! *(Скрывается в средней двери.)* Кабинет генерала!

К у т е п а . Со столом-стадионом!

А у р а *(из глубины)*. Гардероб!..

К у т е п а . С мундирами, эполетами, лампасами, именным оружием и секретными телефонами...

А у р а«панасониками», «ремингтонами», мобилками – со всей начинкой!

Выскакивает, почти ликуя.

К у т е п а (*переигрывая*). Ванные?

А у р а . По одной на душу!

К у т е п а . Взносы в семейный бюджет?

А у р а . Оговорим в контракте даже карманные расходы!
(Пауза.) Ладно?

К у т е п а . Ладно, только нескладно.

А у р а . Два вопросительных знака?

К у т е п а (*самоиронично*). Представляю себя в мундире и при чужих регалиях. Ушивать придется... И в апартаментах! Не вид, а стыд!

А у р а . Смешно?

К у т е п а . Скорее грустно. (*Замирают друг против друга.*) Ненавидел, боялся... сломили, подмяли... служил худшему из пороков. Замаран до последнего своего дня... И вдруг – воздаяние. Из тех же рук... Надо переступить через себя... (Пауза.) Мало вам комфорта и пряностей? Для услаждения души вам подай мученика! Да такого, чтобы чувствовал!

Пауза.

А у р а (*с упреком и болью*). Кутепа!..

К у т е п а . Молчу, молчу...

Пауза.

А у р а . Да нет, говори. (Пауза.) Я могу сказать побольнее... Мое...(Лихорадочно.) Днем еще куда ни шло: коньяк, книжки, на стреме у дверного глазка и телефона... из окна мятые фигуры, из-за гардины... Но приходит ночь. Сна ни в одном глазу. Шорохи полтергейстов из темных углов, шаги командора за двойной дверью, гоголевский гроб под потолком... Эти хоромы видятся склепом, кофе – цикутой, ядовитым вехом, всякая мысль – последней... Мокрое полотенце, пилюли, пилюли... медитация. Пока шепчу мантру, дышать еще можно,

кончаю – исчезает воздух. Когда позволяла себе выходить наружу – сдавала анализы – норма. Теперь не ищущу врачей, они меня ищут. Хотят закодировать. Не от дрожи в конечностях, не от спиртного и курения... От самое себя. А разве такое возможно? От смерти мужа, которого убрали свои?.. От бегства детей за тридевять земель... бегства от нас... от меня?! *(Пауза.)* Кока, я никому не открываю. Боюсь снять трубку. Я слишком знаю, на что способны соратники и выученики моего покойного... *(Пауза.)* Одна надежда, что все возвращается на круги своя... Почитываю, слушаю продажное радио...

К у т е п а робеет, отступает, цепляет пылесос.

К у т е п а . Простите, неуклюжий...

А у р а . Думаешь, я и вправду сегодня собиралась пылесосить? Сто лет и три года пылесос валяется здесь. *(Пауза.)* Кока, ты не торопиться?

К у т е п а . Не знаю... Пора и честь знать...

А у р а . Ты помнишь?.. У тебя роскошная память... я знаю... Помнишь все... Вот фотографии... Таковую меня, да?.. И все прошлое?.. Ты придешь... Ты знаешь, ничего не исчезает насовсем... Мы еще пригодимся... И вы, законопослушные, робкие... Ты придешь?

К у т е п а *(отступая)*. Выберу время... отчего же...

В обличье А у р ы что-то меняется. Она – в прошлом.

А у р а . В понедельник. В двадцать, ноль-ноль. *(Лихорадочно.)* Два длинных звонка и короткий, потом снова длинный. И встань так, чтобы я видела лицо. В глазок. Понял? Ты понятливый... *(В спешке.)* Повтори!

К у т е п а . В понедельник. В двадцать, ноль-ноль...

А у р а *(подсказывает)*. Два дли...

К у т е п а *(перенимая ее дрожь и поспешность)*. Два длинных звонка, один короткий и снова длинный...

А у р а . И постоять в двух метрах...

К у т е п атак, чтобы видно было мое лицо.

Пауза. А у р а берет К у т е п у за плечи.

А у р а *(в трансе)*. Кутепа... Коля... Кока... лучше, чтобы ты догадался без наводящих... да? да?

К у т е п а (*поддаваясь ее состоянию*). У нас все так давно и сложно...

А у р а . Но ты понимаешь... дружище... друг... дружок...

К у т е п а . В общем-то... прийти...

А у р ане с пустыми руками... вернее, не пустой... как было тридцать лет назад...

Пауза. В отчаянии А у р а целует К у т е п у .

...все будет, как было... как было и по-другому... Понедельник, двадцать ноль-ноль, в двух метрах от дверного глазка...

А у р а молниеносно заглядывает в глазок, открывает замки, толкает дверь, обнимая, выставляет за порог К у т е п у , запирает замки. Вздыхает, потирает руки, марширует по гостиной. Ликуя, поет:

*Эй, музыканты, сил не жалейте,
Радость до края в сердце налейте!
Пусть подпоет нам старый наш маршал,
Он ведь ровесник старого марша!
Там-тар-там-тара-ра-ра-ра-ра-там!
Там-тар-ра-ра-ра-ра-ра-ра-там!!*

Т е м н о

БЫЛЬ ВТОРАЯ КОМПЕНСАЦИЯ (ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ)

Кабинет начальника СБУ. Л а в р Н а р ц и с о в и ч оглаживает на себе генеральский мундир, украдкой заглядывает в зеркало. Стук в дверь, генерал прячет зеркало в стол, делает руководящее лицо. Входит А л и н а .

А л и н а . Лавр Нарцисович... (*Окидывает начальника взглядом, льстиво.*) Как к лицу вам генеральские погоны!

Л а в р . Повышение всем к лицу.

А л и н а . Отныне вы – господин генерал.

Л а в р . Привычней звучало – товарищ генерал.

А л и н а . И мундир столичный, от кутюрье!

Л а в р . Алина, на сегодня амикошонства достаточно.

А л и н а . Виновата.

Л а в р . То-то. Ты с чем вошла?

А л и н а . В который раз к вам просится некий Николай, кажется, Фомич. Кутепа.

Л а в р . Ф амилию ты мне называла. Кутепа, культяпый или куцый, но неумный! Даже увидеть захотелось. Что он из себя представляет?

А л и н а . Коренной обыватель, три вершка от горшка, с виду запущенный, но по нашим коридорам шастает уверенно. Можно предположить...

Л а в р . Для предположений в службе безопасности есть другие люди. Ты, Алина, иди в приемную и... разреши войти этому коренному и короткому.

А л и н а . Кутепа. Николаю Фомичу, что ли?

Л а в р . Предупреди – четырнадцать минут.

А л и н а уходит. Л а в р углубляется в бумаги. Ватными ногами переступает порог невзрачный, убого одетый мужичок. Ему за шестьдесят лет, в руке он держит лист бумаги.

К у т е п а (*нервничает, перевозмозгает робость, сипло кашляет, едва начинает говорить*). Здравия желаю, господин полковник!.. (*Осекается.*) О, тут уже – господин генерал. Как торопится наша жизнь! Ладно, поздравляю с повышением в звании – вас или вашу должность, господин генерал!

Л а в р . Привычней – товарищ генерал. У вас четырнадцать минут. Слушаю.

К у т е п а . Понятненько. Я телеграфным стилем. Нужно ваше вмешательство. Я хочу получить компенсацию за моральные издержки... впрочем, материальные тоже.

Л а в р . Я новый человек за этим столом. Напомните, в каком звании вы служили?

К у т е п а . Я – человек без звания. Вообще.

Л а в р . Но из нашего штата?

К у т е п а . Нештатный.

Л а в р . Поясните.

К у т е п а . Я – бывший сексот, секретный сотрудник. Стукач... соглядатай с двадцатилетним стажем. Но это – двадцать один год назад...

Л а в р округлил глаза. К у т е п а снисходительно улыбнулся.

Л а в р . Сверх ожидания!

К у т е п а . В наше время многое «сверх». А ожидать следовало. Целая армия нашего брата остается без работы. Я вот – и тогда, при старой власти, двадцать лет, и теперь вот, при вашей, извините, власти – двадцать лет... Врагу не пожелаешь жить в годы перемен.

Л а в р . Повторите ваши претензии.

К у т е п а . Я требую возмещения моральных и материальных издержек из-за двадцатилетнего подлого служения компетентным органам... Потом из-за двадцатилетнего общего и публичного презрения... и безработицы...

Л а в р . На моем веку подобных исков не случалось...

К у т е п а . Наш городской отдел образования никогда ни одному человеку, окончившему университет в столице и приехавшему к нам работать... повторяю, никогда не выплачивал подъемных денег и суммы, потраченной на переезд. А мой молодой сосед добился, да не только для себя, но и для своих чад и для супруги. Стучи – и тебе откроют, гласит Святое писание. Сосед дерзнул и выиграл. Я подумал, а что я – с чем черт не шутит!

Л а в р . Да, Святое писание в наши дни гласит все громче. Только его глас вряд ли касается закоренелых грешников, вроде нас с вами.

К у т е п а . Намек понятен. Однако раскаявшийся грешник дорогого стоит. Цитата оттуда же, главу и стих запомнювал.

Л а в р (*едва сдерживает смех*). И как дорого оценили вы свой подметный труд, мой почтенный книжник?

К у т е п а . Вот выкладки. (*Кладет бумагу на стол.*) Подсчитано с калькулятором и квалифицированными консультантами.

Л а в р не берет бумагу, К у т е п а пододвигает ее к нему ближе.

Лавр Нарцисович, из отпущенных мне четырнадцати минут осталось десять. Не успеете прочесть, я ведь приду еще и еще, мне разум не помеха. Про меня хозяйка моей ночлежки

говорит: «В детстве был глуп по возрасту, в юности – гормоны играли, в зрелости прикидывался, дураку у нас легче прокоррмироваться, а в старости – сам бог велел...»

И рассыпчатый смех с затяжным кашлем.

Л а в р . Убедительно. Верю: придете и во второй и в третий раз. Но с третьим приходом весь город заметит: тут неспроста. Узнает, что вы стучали двадцать лет, закладывали порядочных людей и получали по сорока рублей за пакость. Многие требуют люстрации!

К у т е п а . О, если бы я получал по сорока рублей за пакость, я бы сотворил для себя пенсионный фонд, и на кой леший вы мне теперь понадобились бы! А то, было, пакостишь-пакостишь, да все озираешься, как медведь в цирке за ломтиком сахара, а ваш брат – в кои веки кинет на бедность.

Л а в р . Вы же где-то работали?

К у т е п а . Работал, пока в коллектив не просочилось: мол, Кока наш бегаёт по явочным квартирам, якшается с компетентными органами. После этого я, как выражаются классики, был окружен стеной презрения. Гнушались меня даже те, кто сам стучал, но пока еще не разоблачен. Пришлось уволиться. *(Сипло кашляет.)* Да, потом долго ходил в поисках другой работы, только недобрые слухи обгоняли меня. Никуда не брали. До независимости, пока ваша контора еще служила пугалом, я мог перебиваться случайным заработком. А в последние двадцать лет – бомжил. Стеклотара, мусорные баки, что почище, кошачьи крынки у подъездов, отбросы на свалках, снисходительные хозяйки... На сегодня старухи-хозяйки со своих пенсий, пожалуй, и себя не прокормят. Бомжат рядом со мной.

Л а в р *(вздыхает, смотрит на часы)*. И впрямь остается три минуты. *(Бегло просматривает бумагу гостя.)* Грамотно составлено. Кто автор?

К у т е п а . Ваш покорный слуга. Педагогический институт, потом университет с отличием. Кстати, одного моего соратника блат и круговая порука как-то сразу устроили к вам в штат. Платили здорово, на костюм, обувь и пальто давали отдельные тугрики, вместо мундира, значит. Рос в званиях. Те-

перь почти с вас, то есть, не генерал, но полковник, только уже в отставке. Тот же блат и порука помогли несчастному перекочевать в Москву. Во! А у меня не было волосатой руки, я думал сам, через верную службу вне штата, пробьюсь. Самого себя сотворить не сумел, не повезло...

Л а в р (*просматривая лист*). Неполный год постоянной работы в школе... Что же компенсировать? Сон до полудня, вечерние прогулки на свежем воздухе, вольницу? Тунеядство? Хочу – хожу, хочу – сижу, хочу – лежу?

К у т е п а (*произносит так, чтобы намекнуть на возжеления*). Хожу – хочу, сижу – хочу, лежу – хочу! (*Противно хихикает*.) Это если взять мою голодающую физику. Только не забудем, что во всяком, даже запущенном, теле теплится душа, и она тоже чего-то хочет. И чего-то сильно не хочет. Больше всего не хотела душа служить вам, видеть-слышать о вас даже в кошмарном сне. Не хотел и – служил. Я опрометью, в угаре чувств втиснулся к вашим, а уж вы запугали простака, приобщили к темным деяниям и не выпускали из когтей. Помните про ястреба и голубя? Чем упорней сизарь трепыхается, чтобы вырваться из лап хищника, тем глубже когти входят в его плоть. И я жил, как сомнамбула. Хотел – чего я больше всего хотел? Собственно, желания были уже не мои. Вы поставили меня в стойку, как гончего на тетерева. Я стал хотеть – чего прикажете: наткнуться на дурака, который поносил бы вашу власть, выдал бы гласно или в поступке что-нибудь эдакое, пригодное для вашей прожорливой мельницы. Чего я хочу, когда сижу или лежу? Да хочу, чтобы вы почили во бозе все в одну ночь. Какая экономия была бы для страны! И только об этом думал и думаю. Стоило ли мне, бедному студенту, пять лет зубрить любомудрие и приобщаться к словесным шедеврам? Надо ли было тратить семестры в аудиториях и библиотеках, чтобы потом годы и годы серым волком рыскать по городу и собирать гнусный материал для вас? Вы же требуете приходить к вам не с пустыми руками, притом приходить регулярно – раз, а лучше два раза в месяц. У вас там планы по вербовке стукачей, по количеству доносов... Кто из вас больше накопит, тот дальше пойдет чинами и валютой. А чего мне

стоило при свете дня пробираться на явочную квартиру! Вы меняли адреса, потом меняли оперативников, передавали меня из рук в руки, как проститутку по вызову... Но как бы вы ни ухищрялись, соседи знали, что я – стукач, пакостник, мразь. И, хуже, я знал, что они знают. Да и вы не слишком держали меня инкогнито. Вам надо было, чтобы я чувствовал себя испачканным, изгоем, ни на что другое не годным, только подпитывать вашу машину и вас, с вашими роскошными зарплатами, любовницами на тех же явочных квартирах, с вашим полицейским государством.

К у т е п а задыхается, сочно кашляет. Л а в р , в пику ему, вдруг хохотнул.

Л а в р . Красиво. Прямо монолог под занавес. Подать воды?

Л а в р подает стакан.

К у т е п а . Лучше бы чего покрепче...

Л а в р . И это можно.

Достаёт из сейфа бутылку коньяку, наливает. К у т е п а пьёт.

К у т е п а . Так бы сразу... *(Указывает себе на грудь.)* Вот тут полегчало.

Л а в р . Значит, бывало и легче? Я попутно подсчитал, что вы прожили на двадцать тысяч часов больше любого своего сверстника.

К у т е п а . С ума сойти! Это только ваша контора способна на такую бухгалтерию...

Л а в р . Отнюдь. Всякий шахтер, фермер, учитель, да и наш, как вы полагаете, хорошо оплачиваемый паразит по восьми часов каждый буден окунается в рабочую ауру – видит только штрек, ниву, аудиторию, вашего брата-стукача. Мир каждого профессионала узок, интересы однозначны, только то, чему обучен и что от него требуют – автоматизм... Каждый из нас духовно как бы спит еще восемь рабочих часов... в продолжение тех восьми часов, которые рекомендуют нам врачи для ночного сна, повторно. А вы, отоспав треть суток, потратив еще столько же на туалет, семью, иные мелкие заботы и развлечения... получаете еще сорок часов каждую неделю для по-

знания мира, для наблюдений, размышлений. Свободный человек, Сократ, Диоген, Монтень!

К у т е п а . Это в наше-то время – сократить, диогенить да монтенить? Да слухами, радио, телевидением, вашей благословенной опекой в тощий череп смерда за эти даровые часы вливается столько мути, лжи, мерзости, что без видимых причин в течение года-двух становишься шизиком. Врагу не пожелаешь – быть свободным в нашей свободной стране... Вы хоть поняли, что я сказал?

Л а в р . Понятное очень трудно объяснить.

К у т е п а . То-то, ваше превосходительство. Известно, генералы – народ неодушевленный.

Л а в р . Ну-ну, вы хоть и гость, но прошу вас, не переступайте черту.

К у т е п а . Виноват, товарищ-господин генерал.

Л а в р . Все-таки вы выжили, значит, и у вас были счастливые минуты. А?

К у т е п а . О, бывали минуты блаженства, только этого не поймет тот, кто не побывал в моей шкуре. Это тоже рецидив шизо или зомби... Я даже возвышался душой, слезы застилали мои слабые глаза. Слезы извращенного счастья.

Л а в р . Да?!

К у т е п а . Эти минуты я вспоминаю... больше ведь ничегошеньки светлого не случилось во все мои шестьдесят лет. Я недавно даже рассказал... одной... Боюсь, теперь буду рассказывать встречному и поперечному. Парадокс ведь, коллизия. Радости совка...

Л а в р . Ну-ну?..

К у т е п а . Это бывало всегда, когда вы заканчивали экзекуцию на явочной квартире. А я завершал донос: «Источник сообщает, что такой-то, такая-то, в кругу друзей»... И вот когда вы меня отпускали, когда я оказывался на улице, а лучше – в сквере, подальше от людей, я шел... нет, я земли не касался, парил... Я дышал полной грудью, ликовал...

Л а в р . Поясните.

К у т е п а . Да я был счастлив, что отныне и целый месяц, в худшем случае – две недели, вы меня не вызовете.... Вернее,

мне не надо вам звонить, не придется созерцать ваши отборные, холеные, лепные, безжизненные рожи! Я мог пожить среди людей... Но счастье было мимолетно. Я спохватывался – ведь с завтрашнего же дня надо искать, добывать, воровать, сочинять для вас новый и новый материал, подлее и мерзче прежнего. Я человек обязательный, и вы на этом играли: подай всякий раз новое и весомое.

Л а в р . И за эти земные радости вы теперь требуете компенсацию? Вы хорошенько подумали?

К у т е п а . Подумал. Жизнь ведь поменялась. Старые вольнодумцы требуют люстрации. То есть разоблачения. Я иду дальше – саморазоблачение. Впрочем, мне разоблачаться не надо, я вот он – весь на виду. И я пришел к выводу, что мои грехи куда меньше ваших.

Л а в р . Да?

К у т е п а . Да.

Л а в р . Но вы излагаете уже перипетии, а ведь была завязка. Вас в самом начале ваших злоключений никто не склонял к сотрудничеству. Что вас привело, как вы выражаетесь, под жернова этой, гм.. хм... мельницы?

К у т е п а . Я влюбился в одну из ваших... все бы уступил ради нее. Но совесть зазрила.... И тут меня шибанула философия разврата. В жизни, как и в искусстве, вся сила души – жива в этике. И вот этика пала. Лицемерие, блядство, коррупция накрыли град и веси, как цунами. В этой юдоли я со своим просвещением и нравственностью оказался не нужен. Этакая белая ворона, помеха и в малой и в большой стае. Но мне перед лицом женщины хотелось быть кем-то! А тут мой, уже упомянутый, однокашник выдвигался на вашем поприще. Носил дарованный костюм, специально по нему сшитый, получал зарплату... да, да – тройную зарплату школьного учителя. Когда то на Руси первыми людьми были учитель, священник и лекарь. Теперь же в цене соглядатаи. А просветители, лекари души и тела превратились в бомжей... И виноваты в этом власти предрержащие, потому что при власти встали невежды и насильники духа. Я их ненавижу. А мой однокашник исподволь внушил мне, что единственный отряд борцов против засилья в

стране бандитов есть ваша банда. Он убедил меня капать ему на подлых чинуш. Я протак, я не подозревал, что коллеге срочно нужны нештатные кадры, он всего лишь оперативник и быстро-быстро хочет выслужиться в чины. Я пошел за ним, не подозревая, что там, в нашей уютной явочной квартире, у него бывают еще пять или десять агентов... Хуже, что, начав с подлых чиновников, я незаметно для себя был наведен коллегой на обывателей, потом на непричастных. В жажде выслужиться, по недомыслию я как-то заложил праведника, без которого и граду несть стояния. И – обратной дороги мне не было... И я уже стучал не только на мерзавцев!.. Впрочем, может быть, все было и не так. У меня есть еще и еще одно – два объяснения моего падения. Это ведь ерунда, что для поступка гомо полоумного есть одно объяснение и одно оправдание. Не животные же мы, не повадки нами правят, а комплексы...

Л а в р . Как я вас понимаю, как понимаю!

К у т е п а . Но я не проявлял инициативу. Только по поручению опекуна источник сообщал то, что угодно было конторе.

Л а в р . И вас не подташнивало?

К у т е п а . У-у, как вы теперь заговорили! Попробовал бы я сообщить не то, что в вашем Коране, то зачем бы я вам нужен был? Сразу нашли бы статью и против меня. И источника нашли бы, который сообщил бы обо мне все, что для вас здорово, а мне – смерть.

Л а в р (*глянув на часы*). Прошло не четырнадцать, а двадцать минут.

К у т е п а . Но я не получил ответа.

Л а в р (*хитрит*). Так сразу? Прецедент ведь, никто никогда не являлся в Службу безопасности за моральной компенсацией. Закона нет оплачивать... Я, как буриданов осел, теряюсь меж двумя охапками сена. И вас жаль, и – ничего поделат не могу. Давайте-ка мы с вами выпьем на посошок и...

К у т е п а . Можно, только...

Л а в р (*наливает*). Прозит.

Оба выпили. Гость явно хмелеет.

К у т е п а . У вас там, в сейфе, не найдется чем загрызть? Я натошак, стукнуло в темя, размягчаюсь.

Л а в р . Не найдется. А вы выйдите из парадного и сразу справа, в конце квартала, – пирожковая.

К у т е п а . Где найти пирожки, я знаю, а вот где взять червонец, чтобы купить хоть один? Для вас такой проблемы не существует?

Л а в р . Странно.

К у т е п а . Для вас странно, для нас заурядно. Потому без ясного ответа на мое заявление я отсюда не выйду.

Л а в р (*смеясь*). Наряд вызывать, что ли?

К у т е п а . Хорошенький пейзаж откроется у парадного подъезда СБУ! Двое дюжих холопов в шлемах и с дубинками выбрасывают за порог шелудивого обывателя. А? А шелудивый вопит: верните моральные издержки старому стукачу! А?

Л а в р (*уже сурово*). Не паясничайте. Вы, когда задумывали этот фарс, писали бумагу, выговаривали себе пропуск к нам, вы ведь знали, что из вашей затеи ничего не получится. Денег в бюджете не предусмотрено.

К у т е п а . На ветеранов и инвалидов войны предусмотрено, на афганцев и чернобыльцев – тоже, на депутатов, на вас, душителей святого духа, – ой как предусмотрено! А на тех, кому вы истерзали душу, кого сделали изгоями, лишили возможности заработать себе хоть минимальную, вшивую пенсию, – нет?! Я шага отсюда не ступлю. Вызывайте амбалов. И пусть они меня не просто выбросят за порог... пусть отнесут старика в ночлежку. Вот потеха будет для обитателей дна! В кои веки они позволят себе посмеяться.

К у т е п а демонстративно ложится на пол. Генерал встает, угрожающе прохаживается, потом нажимает кнопку: зуммер. Входит А л и н а .

Л а в р . Алина Степановна, что посоветуете? Как поступим с этим господином Кутепой?

А л и н а (*плутовато*). Подумать, подготовить документы и начать дело господина Николая Кутепы по одной из разработанных вами программ. Только этот визитер – из ряда вон выходит. Даже предположить трудно было, а?

К у т е п а (*лежа*). Что за программа? В каком направлении?!

Генерал и секретарша перемигиваются, делают друг другу загадочные знаки, проектируя дальнейшую работу с визитером.

А л и н а . Разумеется, все в ваших интересах. Лавр Нарцисович, назначьте господину Кутепе встречу на вторник. Я подготовлю документы.

Л а в р *(с выразительным одобрением)*. Алина Степановна!

А л и н а *(с непонятым восхищением)*. Лавр Нарцисович! *(Ласково, К у т е п е .)* Николай Фомич, поднимайтесь. Во вторник мы вас ждем в семнадцать часов пополудни в этом же кабинете.

К у т е п а *(сбитый с толку жестами хозяев кабинета)*. Обманете, как у вас всегда водилось?

А л и н а . Простите, но сегодня на дворе совершенно другое время. Вот вам пропуск на вторник. Вот вам червонец на дорогу. И второй – на пирожки.

Подает заготовленный пропуск и два червонца.

Темно.

В темноте фоном шум толпы, раздаются голоса на разные лады:

Солидный: О нашей службе недоброжелатели сочинили столько нелепостей, что диву даешься. И душители слова, и рецидив сталинских времен, и чуть ли не гестапо. Это все речи невежд. Мы служим родине и народу. Сколько выдающихся людей из наших рядов история помнит: Зорге, Абель, да и последний из великих – Андропов...

Молодой: Вам как новичку следует освоить азы. Придумаем вам псевдоним, придумаем вашу личную легенду, научим форме доноса. Отступаете три сантиметра сверху и пять сантиметров – поле слева. Начало всегда такое: «Выполняя задание такого-то, источник побывал»... Или: «Работал там-то и там-то, изучил то-то и то-то». Только информация. Выводы сделают спецслужбы.

Гнусавый: Я боюсь... Я согласен...

Бойкий: У меня тот коллективчик – всех заложу!

Женский: Мне встречаться только с мужчинами? А если ползет? Я же не со всеми иду на сближение...

Тупой: Шо вы говорите? Я тугой на ухо. А шо делать с моей слабостью к спиртному?.. А-а, даже здорово: все мужики пьют. Только на водочку давайте...

Старик: У меня пенсия мала. Я думал, тут хоть чего-нибудь платят.

Реплики утихают, включается свет. Генерал за столом. А л и н а вносит толстые папки.

А л и н а . Лавр Нарцисович, сегодня вторник. Господин Кутепа уже в приемной. Подшивки его трудов я принесла. *(Кладет на стол.)* Сверху – моя подборка из ударных его творений. Прочитайте, и дальше – как мы оговорили.

Л а в р . Оставь только три-пять доносов из твоей подборки, а остальное зачем, только стол занимает.

А л и н а . О, нет. Эти горы его пасквилей – убедительный реквизит, убойная сила. Запугают глупышку. Можно впускать гостя?

Л а в р . Пожалуй.

А л и н а уходит. Ковыляя, входит К у т е п а . Долго кашляет на пороге.

К у т е п а . Здравствия желаю, господин-товарищ генерал!

Л а в р . Здравствуйте. А вы пунктуальны.

К у т е п а . Вышол ваших предшественников...

Л а в р . Видите, есть и от нас польза. Садитесь.

К у т е п а . Что, намечается долгий разговор?

Л а в р . Да, в четырнадцать минут не уложимся.

К у т е п а . Если выставляют не сразу, то есть надежда. *(Садится.)* Только нельзя ли разговор – не всухую?

Л а в р *(обрывая)*. Николай Фомич, вы не в баре.

К у т е п а . Виноват, товарищ-господин генерал. Только те, что сидели здесь до вас, были заметно обходительней...

Л а в р . Спасибо за напоминание. Итак, приступим.

Генерал открывает папку, достает лист.

К у т е п а *(отстраняется)*. Совсем плохи мои дела... Догадываюсь, это поклепы на меня, раба божия. *(Нервничает, кашляет.)* Были, были писаки. И я знал, что я доношу и на меня – доносят. Не думал я, что то, что двадцать лет назад аукнулось, сегодня откликнется! Люстрация? Власти согласились на люстрацию? Так они же пилят сук, на котором сидят!

Л а в р . Николай Фомич, где ваше самообладание, где достоинство?..

К у т е п а . Достоинство?..

Хочовет искренне, даже красиво.

Л а в р . Вы что! Что с вами? Вам подать воды?

К у т е п а . Простите, это я вообразил про себя... Достоинство... у нашего брата?..

Л а в р (*строго*). Позвольте начать, Николай Фомич?

К у т е п а . Валяйте, Лавр Нарцисович.

Собеседники обменялись взглядами: генерал – злым, гость – виноватым.

Л а в р . «Двенадцатого, седьмого, семьдесят второго года. Источник сообщает, что, устроившись официантом в ресторан «АБА», он выследил четверых в третьей кабине»... Кстати, официантом вас устроили наши люди и вы полгода получали малую зарплату и большие чаевые. Вот вам полгода трудового стажа.

К у т е п а . Прошу прощения, зачисляли меня временно, «Трудовую книжку» мне там не выдали, никакого рабочего стажа вы мне не подарили для пенсии! Один – ноль не в вашу пользу.

Л а в р . Речь не об этом. Читаю: «Художник Завадовский в матерных выражениях вскрывал пороки в руководстве творческими организациями города. Самого секретаря обкома посылал на три буквы! Шептал коллегам, что регулярно слушает голос по радио «Свобода». Советовал молодым своим ученикам купить приемники «Рига», принести ему, он что-то в них перестроит и голос «Свобода» будет звучать, как «Говорит Москва».

К у т е п а . Простите, прерываю. Что тут неугодного вам? К тому же все правда, от «а» до «я».

Л а в р . Да? Вы знали жизнь художника Завадовского до встречи в ресторане?

К у т е п а . А кто не знал? Знаменитость. Выставлялся в обеих столицах, лауреат. Государственные заказы получал, вы перед границей им хвастались...

Л а в р . А вы сами его работы видели?

К у т е п а . Я же не слепой. И выставки в студенчестве посещал. Пейзажист, уровень! Левитан. Божественно писал. С него даже репродукции в книжках помещали, ледерин делали.

Л а в р . Он картины писал, а вы на него пасквили писали?

К у т е п а . Так ваши же требовали. У него – такая работа, у меня – такая работа...

Л а в р . А сегодня вы часто встречаете полотна Завадовского?

К у т е п а . Я избегаю встреч с теми, на кого вы меня наводили. Это еще одна претензия к вам. Вы сделали меня одиноким в большом городе...

Л а в р (*пропуская мимо ушей слова собеседника*). Нет картин Завадовского. На выставках нет, в книжках нет, в каталогах и справочниках нет.

К у т е п а . Не знаю... Может, его время прошло. Вон литераторы: Потапенко, Лейкин, Баранцевич – при Чехове ой как соперничали с Антоном Павловичем! А где они сегодня? А он – того!

Л а в р . А вы знаете что-нибудь о судьбе Завадовского после ваших двух доносов?

К у т е п а . Не интересовался. Говорят, съехал... с катушек... Не видел я его больше ни в ресторане, ни на выставках. Но замечу: и меня тогда как-то враз уволили с официантов. Не нужен я там больше был. Такая кормушка укатила от меня!..

Л а в р . Вы-то остались на юге, под солнышком. А вот что изменилось в судьбе выдающегося мастера: пришла Колыма и Магадан. Картины его были изъяты, пылились по запасникам. Часть разворовали и вывезли за пределы... часть, в половодье, залита была в подвале. Как не имеющие ценности, полотна не спасали, сгнили. Каждое ведь – штучный, единственный экземпляр. У супруги отняли мастерскую, хотя Завадовский построил ее из своих скромных гонораров. Квартиру женщина продала, чтобы вырастить детей, жила на хуторе. Десять лет спустя старший его сын решил восстановить справедливость, потребовал от властей слишком многого и... был отправлен в те же не столь отдаленные места, где отбывал свое отец.

К у т е п а (*вдруг вспыхнул, вскочил, топает по кабинету*). Генерал, не делайте из меня козла отпущения, не те времена! Мы оба хорошенько знаем, что с одного пасквиля даже в мое веселенькое время человека ни казнили, ни миловали. Ваши собирали еще и еще матерьяльчик. Таким, как я, имя было легион, и вы трем-пяти прохвостам поручали одно и то же дело. Да только в моем ресторане и шеф-повар, и косой трубач, и этот, швейцар в генеральской форме, при дверях, – все стучали. Только они на постоянной основе, а я – на потребу!..

Л а в р . Не мельтешите. Мы не про других, мы выбираем вашу толику подлянки. Конечно, конечно, ваша вина крохотна, и выгода ничтожна. Не стоит так нервничать. Подумаешь, человеку случилось наблюдать пьяную болтовню, он нехотя пересказал ее в письменной форме – что за грех!..

К у т е п а (*совсем взвинчен, дрожит*). А вы, генерал, язва. Причем сибирская! Сапогом прямо в душу... Это вас в школе кагэбэ натаскали?

Л а в р (*поворошил кипу старых доносов*). Читаем дальше. Для краткости возьмем один из последних доносов, уже под самую перестройку. Люди пробуждались, выпрямляли хребты, а вы по инерции, тупо и безразлично, как дурак с мороза, сочи-няли свои шедевры. «Источник сообщает, что в электричке Киев – Ворзель известный Пахомов в тамбуре сошелся с канадским журналистом. Говорили о какой-то националистической литературе. Канадец держал в руке стопку книг, источник разглядел трехтомник Павла Тычины. А Пахомов получил взамен книжку «Желтый князь». Удалось позже выяснить, что это поклеп на коммунистическую партию, мол, она устроила голодомор в Украине»... Что ж вы так, гражданин Кутепа, отстали от времени? Про геноцид трубила вся Европа...

К у т е п а . Ну, я отстал, только ведь перед самой перестройкой отстал. Выпивал шибко. Однако знаю: тот Пахомов тогда не пострадал!

Л а в р . В Сибирь не услали, в застенки не позвали, компетентные органы им не занимались. Только копию вашего послания передали руководству того управления, где служил товарищ Пахомов.

К у т е п а . И что?..

Л а в р . А там собрали коллектив, обсудили Пахомова от первой до последней буквы алфавита. Нет, нет, о его встрече с канадцем и знать не знали коллеги по работе. Они имели свои, чисто служебные и личные претензии к Пахомову. Тому пять лет назад он перебежал дорогу в карьере, у того десять лет назад отбил любовницу, а третий имманентно не любил мужика – жизнь! У нас ведь важно не назвать факт проступка, а дать направление, народец сам разжует и выплюнет, натаскан, нос по ветру держит каждый... Месяц жрали беднягу всем узким миром, он швырнул на стол заявление и исчез. Даже за расчетом не пришел.

К у т е п а . Значит, с Пахомовым все о'кей?

Л а в р . Можете пройтись на окраину, улица Поперечная, загляните в коммунальный дворик. Там во всю ширь вольготно раскинулась мусорная свалка, полдюжины бродячих собак топчутся и грызутся за отбросы, два бревна подпирают стенку. А под треснутым окном, в вытоптанном палисаднике, валяется давний и горький пьяница. Над ним время от времени читает акафист издерганная и тощая старуха: «Снова ужрался? Когда ты ею зальешься, проклятый?!» При этом нам достоверно известно, что Пахомов до ухода из Управления не пил. И когда работу искал, а ему везде отказывали, как и вам, по той же причине державной ненадежности... безработный мужик тогда в рот не брал спиртного... Хороший был специалист, этот Пахомов, и думал о жизни несколько шире нашего с вами, господин Кутепа...

К у т е п а *(в изнеможении)*. Может, хватит...

К у т е п а идет к двери, возвращается.

Л а в р . Никак вы собирались уходить?

К у т е п а , пошатываясь, забирает свою бумагу, отходит.

О, не торопитесь. Подойдите к столу.

К у т е п а подходит. Генерал преображается в вежливого хозяина.

Прошу садиться.

Гость садится. Генерал достает бутылку, рюмки, наливает.

Теперь поговорим по душам.

К у т е п а . Куда уж дальше!

Л а в р . Мы все-таки – страна, держава. Пускай в зародыше, в утробе, но развиваемся. А всякая держава просто обязана себя защищать. Я доходчиво говорю? И мы с вами патриоты...

К у т е п а . Патриоты – это простолюдины, которые вкалывают за спасибо. Я полагал, что в наше время высоким штилем только шутят.

Л а в р . Я не шучу.

К у т е п а . Вы не патриот, хотя бы потому, что вам, вместо спасибо, казна выплачивает кругленькую сумму.

Л а в р . Вам я тоже предлагаю послужить патриотом. С вашим опытом и знанием людей в городе... так сказать, вернуться на круги своя.

К у т е п а . Что это – на круги своя?

Л а в р . Никогда еще не было столь большой нужды в вас, уважаемый Николай Фомич, как теперь.

К у т е п а . В нас – это в патриотах, которые стучат на шару?..

Л а в р . Теперь патриотам платят. И хорошие деньги...

К у т е п а . Повторите, я вдруг стал туг на ухо.

Л а в р . Понятно, наши вожди по всем масмедиа твердят, что в стране нет денег. Их не хватало и при всех прежних режимах, но на политику средства всегда находились. Повторяю: платим. И хорошие деньги.

К у т е п а . Другой разговор... Можно повторить?

Л а в р . Вы принимаете прежние обязанности, мы зачисляем вас на ставку.

К у т е п а . И это тоже, но я прошу повторить... в рюмку.

Л а в р . А-а, пожалуйста.

Выпили оба, крякнули.

К у т е п а . Мне писать заявление? Прямо с сегодняшнего вечера?

Л а в р . И заявление, и гарантийное письмо – хранить тайну.

К у т е п а . Придется вспомнить форму доноса. На листе А1 отступить на пять сантиметров сверху, для резолюции... два сантиметра слева. Начинать стандартно: «Источник сообщает»?..

Л а в р . Все так.

К у т е п а (*ликуя*). Все так, только в конце каждого месяца – кругленькая сумма?

Л а в р . Разумеется, только не в бухгалтерии, а из рук в руки от вашего оперативника.

К у т е п а . Святый Боже, святой крепкий, как жизнь меняется! И все к лучшему! Я понимаю, что и на меня будут стучать... но я ведь тоже...

Л а в р . Есть только одна деталь.

К у т е п а . Ради Бога, пусть две детали, три и сколько угодно, только бы тугрики на поддержку брэнного тела. Что за деталь?

Л а в р (*наливает в рюмки*). Тут следует выпить еще.

К у т е п а . Ради Бога! Прозит!

Пьют. К у т е п а потирает руки.

Авансик бы, чтобы материально закрепить разговор...

Л а в р . Минуточку! Дела вы будете обделывать так, чтобы комар носа не подточил.

К у т е п а . Само собой, у вас же честь мундира и страхи перед вышестоящими.

Л а в р . Я говорю: чтобы ни одна живая душа не подозревала. Оппозиция одолевает, понимаете всю сложность?.. Вы начинаете жизнь минера, то есть без права на оплошность. При первом доносе на вас – вас убирают.

К у т е п а . То есть, как убирают? С должности. Простите, лишают куска хлеба?..

Л а в р . Лишают живота.

Пауза. К у т е п а бегаёт по кабинету.

К у т е п а . Так же не получится. Из моего огромного опыта... ведь даже безо всяких промашек с моей стороны, без проступков... просто в системе морали – на меня напишут. Ведь кругом недоброжелатели! В отместку мне за прошлые мои давние дела – напишут, из-за нехватки другого материала, от

скуки... И с первого прицела мне – каюк? Хотя бы с третьего, дали бы посмаковать сытую жизнь...

Л а в р . Ничего не могу поделывать: закон суров, но он – закон.

К у т е п а . Ешкина мать! Можно подумать?

Л а в р . Да о чем тут думать? Вы же легко пошли на соглашение...

К у т е п а . Я же не знал, что тут мокрое дело!.. Я еще письменной гарантии не давал... А можно с испытательным сроком?

Л а в р . О, нет. В державу приходит порядок. Жизнь меняется и, как вы сами заметили, меняется к лучшему.

К у т е п а . Да, да... Да! Можно, я подумаю... за дверью, за парадной... дома?.. Я ничего не писал...

Незванный и запуганный гость кашляет все сильнее и пытится к выходу. Перед ним отворяется дверь, он проваливается в нее, слышен грохот падения. Это в нужный момент створку отворила А л и н а . Девушка не может сдержать хохота. Захохотал Л а в р , и она дала волю своему смеху.

А л и н а . Вот что такое софистика! Вы его приемом номер... каким приемом вы убрали этого ходатая?

Л а в р . Я его в два приема. Он уже готов был бежать, так я ему еще прибавил. Это чтобы не проснулся его задний ум на лестнице и старик не вернулся за причитающейся ему компенсацией. А еще – чтобы боялся пикнуть на людях...

А л и н а . С теперешним народом не газовыми баллонами, даже не танками надо... Находим новые формы работы с людьми.

Л а в р . Собственная шкура рабу божьему все же дороже...

А л и н а . Но каков грамотей, как изложил трагедию собственной личности!

Л а в р . Как говорят классики: в первом прочтении – трагедия, во втором она уже – фарс. И еще: на всякого мудреца довольно простоты!

А л и н а . Эту маленькую победу следует отметить.

А л и н а тянется к бутылке. Л а в р шутиливо отстраняет бутылку и рюмки.

Л а в р . Прошу прощения, но на рабочем месте?..

А л и н а . Лавр Нарцисович, в такой день!..

Л а в р . Забавный день. Жизнь – театр!

А л и н а . И мы классные актеры!

Вступает музыка марша из концовки первой были. Хозяиничает
А л и н а : наполняет рюмки, садится на край стола, упираясь коленками в бок начальнику. Читается давняя близость этих сотрудников.

Л а в р . Прозит, как говорит интеллигентный сексот!

А л и н а . За все наше!..

Весело пьют. Запевают на два голоса:

*Эй, музыканты, сил не жалейте –
Радость до края в сердце налейте.
Пусть подпоет нам старый наш маршал,
Он ведь ровесник старого марша!
Там-тар-тара-там-тар-тара-там-там-там!
Там-тарара-тара-тара-там-там-там!!*

Генерал и его секретарша продолжают петь и хохотать. Звучит победная музыка «Старого марша».

К о н е ц

ПРОБЛЕМА – РАЗ

К е р м а н ы ч .

С а н ч о .

Л е г а т .

М а г д а л и н а .

О х р а н а .

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Палаты, роскошнее царских. По углам стоят охранники в масках и с оружием наготове. К е р м а н ы ч явно любитесь своим достатком. На огромном экране идут новости. Меняются лики, каждый расплывается улыбкой, частит словами:

– Наш владетельный Керманых – кремень. Если сказал слово, то не отступит от него...

– Наш великий Керманых хлеба не откусит, не спросив, как там его народ...

– Наш мудрый Керманых за три года владения уже все азы освоил. Он человек обучаемый!

К е р м а н ы ч *(резко выключает телевизор)*. «Он обучаемый»... *(Топает по зале.)* Ну хоть не включай это радиотелевидение! Я «обучаемый»... Значит, способный кое-что освоить, а сонмище менторов сбежалось, чтобы хоть кое в чем просветить простака и невежду. Значит, дорожку из колонии, через гаражи и партсобрания, через сходки крутых в законе и кабинеты областных управлений и – до кресла канцлера, а потом Владетеля и Керманыча Территории за меня проторил чужой дядя? Я только местоблюститель, муляж, или как там говорит моя первая советница из хохлов?!

Стукнуть бы по куполу этих щелкоперов, борзописцев, ищеек! Да нельзя – свобода слова у нас, видишь ли – последний козырь независимой Территории. В своих границах у нас со жратвой и теплом временные трудности, в широком мире – имидж близок к нулю, бегство голов и рук за бугор повальное. Примерно врезать бы одному или двум самым ретивым, только не с плеча, как это я делаю на докладах, у себя в кабинете, а судами да лагерями!.. Вон только одну устроили за решетку, дак что? Помыкались толпы по улицам, покричали: «Маша – наша!» – и разбрелись. И подпевалы ее приуныли... Но тут, наедине, поучать легче, тут терпят, в моем тронном зале сбегаются прихлебатели, парвеню, как говорит моя советница из хохлов. Черт, как трудно осваивать грамотные слова!.. А еще так обзывает моих эта хохляндия: профосы и прикорытники... Эти знают, какой кривой дорожкой они попали в мое окружение и чем кончится их карьера, вздумай они перечить владетелю. А там, за рвом да частоколом, – сброд, публика, пипл, непредсказуемый элемент. Поднимут всякую от меня зуботычину, как говно на вилы, будет народцу о чем баять на всех перекрестках, на радиоволнах и на газетных полосах, и у нас, и за бугром. «Он обучаем!»

И это говорят не только злопыхатели, но и служки мои, те зубоскалят, а эти – елейно, с одобрением, голосами сторонников. Понимать надо так: вот помаленьку выводим олуха из тьмы к цивилизации, вскоре сравняется с нами. И это о своем неограниченном владетеле. Владетеле! И такой тон мне следует не замечать, потому что молва – не первая проблема, не вторая и не пятая-десятая.

Первая проблема – дама Х. Эта Марья Магдалина, эта миниатюрная габаритами, но широкая эхом своего вопияния, эта вроде бы раскаявшаяся грешница. Миниатюрная и горластая, аки труба иерихонская! Она и еще легионы ее заступников из всех наших и международных контор и заведений. Ни пройти ни проехать не дают, ни дома, ни за кордоном. Сидели бы смирно, она – в одиночке при всеночной лампаде над головой... они в дворцах да виллах – я бы и горем покатыл. Теперь же – санкции, изоляция, какие-то еще угрозы пострашнее, по моему адресу и на всю мою фамилию...

Плохо спал прошлую ночь, да и позапрошлую. За обедом не лезли в горло ни суши, ни устрицы. И так – словно в молодости, при дверном глазке в камеру, про людской глаз, глотал всю эту заморскую гадость не жуя. А потом выходил в желтый туалет, вгонял два пальца в рот и вырывал из души съеденное, аки император Вителлий... или как там глаголит тайная моя советница из хохлов? Это чтобы прогнать мою пролетарскую привычку к подножному корму... скрыть мое неприятие изысканных блюд... поднять меня хотя бы в собственных глазах. В зеркале вижу свою обрюзгшую физиономию и думаю: вот дорогую заморскую пищу все сбрасываю и сбрасываю в золотой унитаз, а холка все растет и растет и брюхо скоро лопнет. Раздобрел от одного сознания собственного благополучия, что ли? А может, это я не жирею, а с голоду пухну. Некому ткнуть в меня пальцем – проткнул бы... *(Кричит в переднюю.)* Эй, держиморды и холуи!

Выскакивает, словно из-под земли, с л у ж к а .

Вызвать верного премьера Санчо! А сам – вон!

С л у ж к а исчезает. Вбегает тощий и суетливый подстарок.

С а н ч о . Простите, Керманыч, через ров, китайскую стену да живые шпалеры пока переберешься... А теперь еще зенитная батарея стоит, оглядываешься...

К е р м а н ы ч . Надо всякую минуту быть с этой, с моей стороны.

С а н ч о . С утра задержали в кабмине – послы от белых, и желтых, и черных.

К е р м а н ы ч . Из этой, как ее, зоны? Тьху, бля, сбился, – из Еврозоны?

С а н ч о . Не парьтесь, Керманыч, у нас все о зону спотыкаются. От кабинана, парламента и до Вашего замка. Простите великодушно, я без намеков.

К е р м а н ы ч . Ну и какого папиного этим послам надо?

С а н ч о . Да все толкуют про политические преследования у нас да про бедных-бедных инакомыслящих. И все сворачивают на ту, прыщавку, – Марию Магдалину. Бешенство накалило на цивилизованный люд! И наши и ихние оратаи – в один голос: выпустите да выпустите, незаконно, политическая подкладка, заморозим ваши денежки за кордоном, не пустим ни одного вашего прохиндея ни в одну свободную страну... Чтoб этим демократам, и нашим и ихним, причинные места прыщами взялись!

К е р м а н ы ч . Ты им так и сказал?

С а н ч о . Это я при Вас такой смелый.

К е р м а н ы ч . А кто же им это скажет? Советуй, болезный.

С а н ч о . Я уже дошел до белого каления. И прихлебатели мои в трансе. Выпустить ее надо...

К е р м а н ы ч . Ты таки дурной, Санчо! Мы выпустим ее на волю, так она дорвется и до масс, и до медиа, она же из нас живых кишки выпустит и на солнышке просушит... И что ты им, этим из зоны, сказал?

С а н ч о . А то, что Вам советовала эта хохляндия из тухек: не Ваша воля, мол, у нас все в суд несут, а там расправа – права!

К е р м а н ы ч . А они тебе что?

С а н ч о . Говорят, на древней Руси был Шемякин суд, а у нас – Киреев суд.

К е р м а н ы ч . Дак это же что, не один хер?

С а н ч о . Я так и сказал.

К е р м а н ы ч . А они что?

С а н ч о . Культурные. Загнули две выдержки из Римского права, да на латыни. Звучит хуже нашего мата. Я даже запомнил: *Acerbafata Romanosagunt scelusgue fraternae necis!*

К е р м а н ы ч . С ума сойдешь на этой должности! И что сие на нашем суржике означает?

С а н ч о . Суровая судьба и злодейское братоубийство преследуют римлян.

К е р м а н ы ч . Так то же римлян, а мы себе Территория. А ты жим что?

С а н ч о . Dura leks, set leks!

К е р м а н ы ч . А при чем тут дура? Это наша заключенная Марья Магдалина – дура лекс?

С а н ч о . Дура лекс, зет лекс, говорю: закон суров, но он наш закон!

К е р м а н ы ч . Жуть! Не пускать этих грамотеев ко мне. Это же каждый иностранец по своему, иностранному, языку зачнет калякать, а переводчик переводить к своей выгоде, я умом тронусь. Нет, подальше от цивилизации! Заборы нарастили? Воду во рвы налили?

С а н ч о . А на что же казна тратится?

К е р м а н ы ч . Слышь, Санчо, зайду-ка я с другой стороны. Выпускать ее надо. Только этот проект не ты подал и не твоя министерская свора. Это идея первого лица Территории. Карать и миловать – привилегия верховного, то есть моя...

С а н ч о . О, Вы тоже режете по Римскому праву!

К е р м а н ы ч . Я обучаемый, Санчо. Слыхал такое?

С а н ч о . Слыхал. Сам пустил такой слух... Только говорю же, вся народная сволочь к ней стянется, ни дохнуть ни пукнуть тогда нам...

К е р м а н ы ч . Значит, не выпускать.

С а н ч о . Дак уже нечем дальше отвираться. Уже все, чем запаслись, соврали.

К е р м а н ы ч . А как бы так, чтобы и выпустить, и избавиться от нее, а? Эдак – фю-ить за пределы Территории. Думай, Санчо, не я же, а ты два года в техникуме поваренное дело изучал.

С а н ч о . Вы гений, Керманьч. Мне стучало в темя: как бы так устроить, чтобы эта Магдалина на Территории не задержалась? Я намекал ей еще до суда и следствия – не хочет.

К е р м а н ы ч . Ну и до чего ты додумался теперь?!

С а н ч о . Ну, организовать побег. Имитировать преследование. Мол, поймаем, так при попытке к бегству того... Вот она и вынуждена будет – с тюряги да за бугор.

К е р м а н ы ч . Смешно. Не ее мерзавцы, а мы должны организовать побег?

С а н ч о . Мало ли мы организовали такого, что двумя руками на член не натянешь!..

К е р м а н ы ч . Так за нашими она не пойдет. Подумает, что это оформится, как ее прошение и мое помилование. Такая стерва не унижится до прошения! Она понимает так: она – о-го-го! а я – фю-ить...

С а н ч о . Мы перекупим ее прохиндеев, и они вроде бы обойдут нас на хромой.

К е р м а н ы ч . Прозрачно. Весь «забугор» лопнет от хохота...

С а н ч о . Лопнет, так это же нам на радость. А не лопнет, потому что мы не столь глупы, как нас держат и дома и на чужбине...

К е р м а н ы ч . А далеко она сидит?

С а н ч о . У персидского шаха Абаса главный конкурент на престол сидел в клетке прямо под тронем царя царей...

К е р м а н ы ч *(переступая, словно на горячем, и ежась)*. Санчо, ты сдурел или по куполу захотел?

С а н ч о . Не парьтесь, владетель, мы ее за забором замка, между частоколом и рвом пристроили.

К е р м а н ы ч . В темнице?

С а н ч о . В светлице.

К е р м а н ы ч *(замахиваясь)*. Что же так?

С а н ч о . Оставь в колонии, так писцы да ораторы одолеют. Забугорные послы, депутаты Евро, Афро и Азио. Как на голую приму смотреть сбегаются. Очередь – все равно что после введения карточек, за хлебом. Хлеба и зрелищ! Древний Рим да и только!

К е р м а н ы ч . Рим да Рим у тебя... Слушаю тебя, Санчо, – кто тебе столько ума насрал?

С а н ч о . А у Вас-то голова – вон какая, одна холка, что у быка. Поди, ума палата!

К е р м а н ы ч . И холка выросла, и брюхо, да вот с мыслями напряженка... Когда в обеих руках власть, нечем за ум взяться. Мне бы половину твоих мозгов, Санчо, я бы во власть – ни ногой!

С а н ч о . И чем Вам не угодила власть? Полную же облапили.

К е р м а н ы ч . Прежде полагал: выпрыгнул на пенек – сиди и ешь пирожок. А тут ты один, а пипла легион, и хотят... тому попа, тому попадю, а тому попову дочерь!

С а н ч о . Да, еще Бонапартий говорил: власть можно взять штыками, но сидеть на штыках невозможно.

К е р м а н ы ч . Санчо, ты опять умничаешь?!

С а н ч о . Нет, нет! Я только скажу: Вы же их имели в виду...

К е р м а н ы ч . Не всех, Санчо, не всех поимеешь. Доводят... Одни ночные, да и дневные, страхи силача подкосят. Хочешь трахнуть молодку – смотри, твои же холуи расставили камеры наблюдения... хочешь выпить-закусить, как бывало с малиной, не смей – отравят...

С а н ч о . Вы много в голову берете, Керманых. Только бы и беды...

К е р м а н ы ч . Санчо, и как ты при таком большом уме и такой набитый дурак? Государство у нас – типа править надо. А за что ухватиться, не знаешь. Университетов не проходил, две отсидки, малина да школа стукачей. По понятиям не получается, законы писаны не про нас.

С а н ч о . Да и где, когда и какой великий взбирался на вершушку по законам?

К е р м а н ы ч . Ой, Санчо, как это справедливо, как справедливо.

С а н ч о . Миллиардер может стать честным человеком, а честный человек стать миллиардером – никогда.

К е р м а н ы ч . Что-то слишком заумно. Повтори. Дело говно, его надо разжевать.

С а н ч о . Да ладно, это софистика, все равно не поймете.

К е р м а н ы ч *(стукнул оруженосца по голове, тот ритуально целует руку бьющую)*. А я объясняю доступно?

С а н ч о . О да... Но, Керманыч, раз уж вступили в дерьмо, да обеими ногами, месите дальше.

Владетель похода бьет своего оруженосца по затылку. По дороге минует еще двух-трех охранников, раздает и им подзатыльники – переводит дух.

К е р м а н ы ч . Понятно?

О х р а н н и к и (*дружным хором*). Понятно, вашмоць!

С а н ч о . Нуда, сучить кулаки легче, чем думать...

К е р м а н ы ч . Ну, ну, Санчо, не гноби душу дальше, вайлай свои идеи... Только медленно, чтобы я успевал переваривать.

С а н ч о . Мы наших прохвостов, – тушками называются, – переоденем в ее униформу. Получится, что выкрали кралю ее же сторонники.

К е р м а н ы ч . Она на дых узнает наших.

С а н ч о . Господи, и это повторяю! Мы вначале делаем из них раскаявшихся, из перебежчиков, тушек, как независимая борза величает теперь живой товар. Мы их сделаем повторными перебежчиками, но уже от нас к ней. Дадим ей поверить в верность предателей. Вы что-нибудь понимаете?

К е р м а н ы ч . Не делай из меня совсем чурбана!

С а н ч о . Все от Бога!..

К е р м а н ы ч . Наглеешь, Санчо. Забыл, кто тебя из говна вытащил!

Бьет профоса по голове. Тот ритуально целует руку хозяина.
К е р м а н ы ч проходит по рядам охраны, достает многих по голове.

О х р а н а . Служим нашему Керманычу!

С а н ч о . Препжних перебежчиков от нее к нам мы сделаем перебежчиками от нас к ней...

К е р м а н ы ч . Перебежчики от нее к нам, потом от нас к ней, а я типа – все плати? Ни хрена себе!

С а н ч о . От нее к нам – мы платили. А от нас к ней – она заплатит.

К е р м а н ы ч . Не понял, да ладно, все равно денежки из бюджета.

С а н ч о . Наконец-то дошло. (*Про себя.*) Ну и тупой...

К е р м а н ы ч . Ну-ну, гони дальше, что-то в этом есть. То мы скупали, теперь, мол, ее братия скупает наших. А деньги все равно от налогоплательщиков. Круто!

С а н ч о . Или там – за свои мы же у себя и купим.

К е р м а н ы ч . Что-то ты тут мудришь. На мне откаты ищешь? Повтори, я не догоняю.

С а н ч о . Господи! За денежки из бюджета, за откаты от потоков...

К е р м а н ы ч . Стоп-стоп, эдак дорого она нам обойдется. Может, лучше – при попытке к бегству?..

С а н ч о . Нельзя, мы и так зажаты в угол задом, как волк на псарне. Смерды с вилами придут под забор... Через забор сиганут...

К е р м а н ы ч . Окстись! Что ты против ночи несешь! Там семь метров, с шестью они, что ли? Как этот наш, что чемпион, по прыжку которого высоту моего забора определяли...

С а н ч о . Ладно... Но Вы хоть что-нибудь поняли из задуманного, или, как всегда, вам нужны толкователи?

К е р м а н ы ч *(снова бьет по голове С а н ч о , тот ритуально целует руку)*. Понял. Только где же тут мое «я»?

С а н ч о . А где оно было, когда мы вляпывались во власть? Мало нам было тени, блатов да откатов? Когда мы были в оппозиции, мы могли саботировать, блокировать, сваливать с больной головы на здоровую... А эта куценькая Магдалишка отдувалась, тянула воз и при этом была кругом виновата. Теперь же она – права!

К е р м а н ы ч . Стоп, стоп! Теперь она права? А тогда?

С а н ч о . И тогда она была правой, да нам это было до свечки.

К е р м а н ы ч . Подумай тут за меня, а я выпью английского «Боржоми».

Хлопает в ладоши: два охранника в масках и при оружии подают ему фужеры.

О х р а н н и к и . Приятного аппетита да на пользу народа!

К е р м а н ы ч . Обреченные уже пробовали из этого фужера?

О х р а н н и к и . Пробовали!

К е р м а н ы ч . Живы остались?

О х р а н н и к и . Живы!!

К е р м а н ы ч (*отхлебнув*). Послушай, Санчо! А что это наша Магдалишка из себя корчит? Когда сидела в кресле канцлера, вкалывала по полсутки без харча, наряжалась, птицей-кобылицей порхала? А пересела в кутузку, сразу болячками обзавелась. Даже анализы черт-те какие!

С а н ч о . Секрет полишинеля.

К е р м а н ы ч . При чем тут шинель? Мозги мне дерешь?

С а н ч о . Секрет полишинеля – это когда вроде секрет, а знают все. Прикидываются...

К е р м а н ы ч . Знают все? Почему я не знаю?

С а н ч о . Так Вы же велели не сообщать вам неприятности, чтобы не волновать семью в замке.

К е р м а н ы ч . Оно и правильно. Как там учила эта из хохляндии: многие знания умножают скорбь.

С а н ч о . Это не хохляндия, это Экклезиаст.

К е р м а н ы ч . Среди нас таких умников не держим.

С а н ч о . Он давно умер.

К е р м а н ы ч . Ты прикончил? Правильно сделал, развелось тут с дипломами...

С а н ч о . Ладно, ладно, далеко забредем.

К е р м а н ы ч (*отводит Санчо в сторонку, душевно шепчет*). Верный Санчо, шепну только тебе... Если продашь оппозиции или щелкоперам мой проект, лично придушу тебя потной подушкой... Я бы сам к ней съездил. И кавалькада из двадцати машин готова, и скорые помощи, уже две, следом есть, даже зенитка... Только не сегодня мне выезжать за ворота. Понимаешь, свинья снилась. Такая рохля, три центнера. И гналась за мной. Шестерки ее отвлекали, ложились под нее, а ей подай первое лицо в государстве. Ну не проститутка?! Я дернул, как в молодости от милиции, добежал до крыльца. Уже дверь открыл, уже за порогом... А она за колошу схватила, тянет... Утром Глава моей администрации на два голоса с твоим министром юстиции прочли мне из сонника. Свинья – к наговору, сплетням. Сплетен я не боюсь. Правды боюсь. Если срав-

нить с тем, чем я живу, всякая сплетня меня обеляет. Хорошо, что я во сне не забивал свинью – это к понижению в должности... Вот только плохо: я, удирая, бил свинью ногой по голове. А это к душевным мукам... Я и так весь... душевный... боюсь... Надо расширить канал вокруг замка, напустить побольше воды... Да забор поднять до семи, ох, брешу, он уже семиметровый... до десяти метров, чтобы с шестом не перепрыгнули...

С а н ч о . Да кто там с шестом?.. В оппозиции одни старперы!

К е р м а н ы ч . Не скажи. А пипл?! Ох, охрана, подать английской воды!

Снова шестерка подносит стакан, отхлебывает сам, потом поит шефа.

И зачем ты, Санчо, мне про эту Магдалинку – со всеми подробностями?!

С а н ч о . Магдалина – проблема номер раз. Не решим ее – порешит нас.

К е р м а н ы ч . Не нервируй меня!.. Ладно, выкрадывай ее и – за бугор, чтоб духу ее здесь не было. Зови Легата.

Словно из-под земли встает бравый П р о х и н д е й .

П р о х и н д е й . Я здесь, сир!

К е р м а н ы ч . При чем тут «сыр»?

С а н ч о . Это не «сыр», а «сир». Так обращались к Наполеону.

К е р м а н ы ч . Наполеон? Это тот, – хохляндия рассказывала, – который надул польку, графиню Веленскую? И ее трахнул, и ее имение обчистил! Спекулянт! Золотой души мужик был. Делец! Мне бы таких дюжину в министры. А то тасую, тасую колоду шестерок, меняю шило на мыло, а воз и ныне – не то, что там, а катится и катится в пропасть... Ну, давай, Санчо, инструкции этому... Как тебя?

Л е г а т . Легат.

К е р м а н ы ч . Легат. Это всех у себя так называла Магдалина?

Л е г а т . Не всех. Только тех, что перебежали к вам, сир.

К е р м а н ы ч . Ну, сир так сир, только бы в масле катался. Гони, Санчо!

С а н ч о (*Легату*). Кореш, задача! Переодеваешься в прежнюю шкуру. Ну, как при Магдалине служил. Глупой ночью пробираешься за семь замков и семь заборов, в тюрягу к Марии Магдалине...

Л е г а т . Так ваши стервятники укокошат меня на первом же заборе!..

С а н ч о . Стервятников мы заменим. Будут тоже из перебежчиков. Слепы и глухи. Не за то я им по три миллиона отвалил.

Л е г а т . Ну, встану перед ее очи ясные – и?..

С а н ч о . И по обстановке. Только так, чтобы она согласилась бежать из застенков – за бугор.

Л е г а т . Ну, как я перетащу ее через забор?

С а н ч о . Таскать не придется. Помнишь сказку: «Сим-сим, откройся!»?

Л е г а т . Нет, но неважно...

С а н ч о . Грамотей! Ну почему от Марии к нам перебежали только подлецы и тупицы!

К е р м а н ы ч . Санчо, не отвлекайся!

С а н ч о . Вот перед каждым воротами скажешь: «Сим-сим, откройся!» Они и откроются.

Л е г а т . Ну, выведу Магдалину за ворота, а там ваши и ее и меня – залпом. Знаю я ваших, потерся среди вас – бандит на бандите!

К е р м а н ы ч подходит, бьет Л е г а т а по голове, тот ритуально целует руку.

К е р м а н ы ч . То-то, брат мусью, как говорит моя грамотная хохляндия.

Л е г а т . Слушаю, сир. Согласен с любым вашим решением.

К е р м а н ы ч . Продолжай, Санчо, может, и я что-нибудь пойму.

С а н ч о . За последними воротами вас будет ждать «Хаммер» с вашим же, то есть с ее же, водителем. А дальше все дороги – по щучьему велению перед вами откроются. Учти только: дороги наши, не разгоняйтесь сильно – разобьетесь, а она нам нужна за рубежом, и целенькая-сохранненькая!

Л е г а т . А как там, за рубежом, и мне оставаться?

К е р м а н ы ч . Разогнался! Нет, ты вернись, я посоветуюсь, подумаю, что с тобой и как.

Л е г а т . Аннулируете?

К е р м а н ы ч . Хуже: присвоим орден и назначим генералом или адмиралом. Санчо, какие там у нас погоны на кухне валяются?

Т е м н о . . .

КАРТИНА ВТОРАЯ

Заурядно обустроенная камера заключения. М а р и я М а г д а л и н а съезжилась на нарах. Гремят замки. М а р и я тяжело поднимается. Охранники в масках с автоматами наперевес встают с обеих сторон двери. Входит Л е г а т .

Л е г а т . Здравия желаю, Мария-ясная!..

М а г д а л и н а . Кто такой? Почему не знаю?

Л е г а т . Как не знаете? Я же у вас был... по правую руку, потом по левую, потом за спиной, а потом... из-за спины совсем исчез.

М а г д а л и н а . А, перебежчик в лагерь оккупантов? Тушка?

Л е г а т (*приближается, шепотом*). Пани Мария, мы тут организовались, то-это дело... И вот в ночную охрану пробрались все свои... то-это, все ваши. Ключи у нас, машина за рвом... Вот... можете с нами бежать.

М а г д а л и н а . Так просто?

Л е г а т . Не просто, мы готовили побег все те два года, что вы сидели.

М а г д а л и н а (*не шевелясь*). Готовьтесь еще пять лет. Мне еще столько сидеть.

Л е г а т . Вы и в темнице шутите?

М а г д а л и н а . А почему бы и не пошутить на всем готовом?

Л е г а т . Разумеется, вам выделили отдельную камеру, обеспечение из дому, говорят, массажистку обещают, иностранные врачи и высокие гости ломятся в дверь, можно то-

это дело – шутить. Но ведь тюрьма, одиночество, позор. Не шутите, собирайтесь.

М а г д а л и н а . Я вам русским языком – никуда я не соберусь. Мне и тут хорошо.

Л е г а т (*в страхе*). Мне же приказано вас выкрасть и – за бугор!

М а г д а л и н а . Оруженосец Санчо приказал или сам Керманыч?

Л е г а т . Сам Керманыч. Что же, то-это дело, будет?!

М а г д а л и н а . Ну вот, пусть сам Керманыч придет да попросит меня как следует...

Л е г а т . Что вы говорите? То-это дело!.. Тут следит за исполнением сам Санчо!

Гремит замок, входит С а н ч о .

С а н ч о . На выход! С вещами! Мешкаем!

Сочная пауза.

Я кому говорю? Стенке?!

М а г д а л и н а . Судя по тону, в печную трубу говоришь, пахолок.

С а н ч о . Приказано – с вещами на выход, и чтобы ноги твоей тут не было!

М а г д а л и н а . Прошу в уважительном тоне и на «вы». Привык там у себя в министерской конюшне!.. Не быдло, поди, у вас по тюрьмам сидит, а цвет нации!

С а н ч о заметно оседает.

С а н ч о . Так приказано же...

М а г д а л и н а . Я сказала: пусть сам приказчик придет да попросит... А мы подумаем. Припекло вам причинное место...

С а н ч о весь колотится. Достает мобильный телефон, звонит.

С а н ч о . Вашмоць, пане Керманыч, она не хочет...

К е р м а н ы ч (*голос из трубки*). Не хочет на волю, хе-хе-хе! Мне бы эдак при моих отсидках: пришли и – с вещичками на выход!

С а н ч о . Я как перед Богом – не хочет.

К е р м а н ы ч . А что она хочет? Еще одну Киреевщину и еще семь с половиной лет?

С а н ч о . Она хочет... простите, не казните... только не по голове... Она хочет, чтобы Вы сами пришли и попросили ее...

К е р м а н ы ч . Приехали!

С а н ч о . Мы приехали... а она не едет...

К е р м а н ы ч . Я ей не поеду! Я вот сам приеду!! *(Командует в голос.)* Эй, охрана, дюжину бронированных машин! Две скорые помощи! Я выезжаю. *(Сбавляет тон.)* Тьху, тут же рядом с забором.... *(Снова громко.)* Усиленную охрану, прожектора, сирены, зарядить зенитки! Я выхожу!

Гудут сирены, в стены ударяют снопы прожекторов.

С а н ч о *(крестится)*. Надвигается сам!.. Пронеси и помилуй!.. А ты... вы, Мария Магдалина, сейчас получите!..

Распахивается дверь, по обе стороны выстраивается охрана. Входит свирепый К е р м а н ы ч . С а н ч о и его почт падают на колени.

С а н ч о . Пронеси и помилуй!

О х р а н а *(хором)*. Пронеси и помилуй!

К е р м а н ы ч *(Санчо)*. Ты что, уже тут ничем не управляешь?! *(Всем.)* Вон из камеры!

С а н ч о . Вашмоць... а как же безопасность?..

К е р м а н ы ч . В тюрьге не на свободе, тут никто не кинет в тебя ни яйцо, ни гранату. Вон!

Вся челядь, толпясь и падая, выбегает. М а р и я демонстративно ложится на нары.

М а г д а л и н а *(не вставая, потягиваясь)*. А-а, Митя! Потянуло на круги своя?

К е р м а н ы ч *(грозно)*. Что за круги? На что намекаешь?!

М а г д а л и н а *(привстав)*. Окстись! Сядь там, в углу. Вообразил из себя!

К е р м а н ы ч *(меняясь в лице)*. Ты... Вы... на выход с вещами!

М а г д а л и н а . С какой это радости? Ты же побывал и в камере, и в палатах – можешь сравнить, где оно лучше. Сядь, говорю, в углу!

М а р и я вперилась в гостя. Он каменеет, исподволь впадает в полугипноз.

К е р м а н ы ч . Ты... вы... не очень. Все-таки – владетель.

М а г д а л и н а . Именно – все-таки. Посидим, выпьем, закусим.

К е р м а н ы ч . Закусить не могу.

М а г д а л и н а . Что так? С животиком не слава Богу?

К е р м а н ы ч . Нет моих работников пробы. Не знаешь-те? Сначала пробуют трое шестерок по очереди. *(Между словами – пьет из ее бокала, пятерней сгребает закуску, жует.)* Потом сидят под наблюдением врачей. Не помрут – я приступаю... Никогда не поешь свежака. Суп – не суп, а баланда, суши – не суши, а прелые веревки. Мокрой собакой отдают. Хоть тут вспомню молодость, душу отведу.

Наливает себе по новой, пьет, кричит. Ест. Она даже придерживает его.

М а г д а л и н а . То-то, брат Митька! Но ты взвесь и успокойся: в замке и в палатах легион претендентов на твою синекуру...

К е р м а н ы ч . Что есть синекура?

М а г д а л и н а . А ты на чем сидишь?

К е р м а н ы ч . На жопе?

М а г д а л и н а . Да, только на высокооплачиваемой жопе, где ничего не надо делать и только тратить на себя три миллиона в день. Так вот, вокруг тебя плотный круг завистников, причем пригожей тебя. Потому рано ли, поздно ли – изведут тебя, пасынка Божия, и займут твой трон. А на здешние нары претендентов днем с огнем не сыщешь. Так чье сиденье надежней? Жуй, брат Митька, жуй, что же ты забыл глотнуть?

М а р и я подает ломоть.

И спишь ты, поди, аки на углях?

К е р м а н ы ч . Не скажите, Мария Мандалиновна! Оказалось, сколько запомнить, испытать да прознать надо! И Езсы да концессии какие-то, и стран в мире столько, что тетрадки не хватило записывать, а запомнить – Бог миловал. А забот по

должности – полон рот, да везде надо быть умным! Я полагал, что власть – это сгреб замок, издал указ о неприкосновенности к телу твоему и твоей семье да приближенным, обставил спальню персидским пологом, а туалет – золотым унитазом, нанял юницу-две для пассивных услаждений и – лежи да по-свистывай... А тут, оказывается, заботься, чтобы на созревающие хлеба – устойчивая погода с малой облачностью и мелким дождиком... чтобы девяностолетнего покойничка в далеком хуторе препарировали... да еще деньги с него, преставившегося, содрали за труды... Пот прошибает, внутри весь колочусь. И на хрена оно мне надо было! А сколько запоминать! И таблицу умножения, и суффиксы-префиксы... Слышите, Мария Мандалиновна, есть какая-то виннипегия и стирилизация! А сколько, оказывается, на земле пожило поэтов да художников! Уж они-то на хрен в народном хозяйстве? С них и откатов не возьмешь! Горюшко, да и только...

М а г д а л и н а . Ты выпей, выпей, полегчает. Ты же сидел пару раз... Неужели, выскочив во владетели, не мог сравнить жизнь здесь и жизнь там? Тут можешь спать на одном боку, потом на другом, можешь думать о высоком, а не чем думать, то – какая радость – ни о чем не думай!

К е р м а н ы ч . Век живи – век учись. Как это справедливо, как справедливо!..

К е р м а н ы ч с аппетитом все пьет и закусывает.

Вот это мое, это насыщает тело и душу!

М а г д а л и н а . Может, хватит, жрешь, словно за себя бросаешь.

К е р м а н ы ч . Простите, Мария Мандалиновна, до всего дорвался. Обстановка юности моей. Харч из барачного котла, воспоминания голодной юности возбуждают аппетит...

Поднимается, прохаживается – три метра вперед, три – назад.

Хорошо тут у тебя!

М а г д а л и н а . Может, поменяемся хижинами?

К е р м а н ы ч . Не понял?

М а г д а л и н а . А говорят, тебя натаскали.

К е р м а н ы ч . Я – обучаем!

М а г д а л и н а . Ты обучаем, как кот или медведь в цирке – повадкам. С чьего голоса исполнять команды. С какого электороподсказчика высматривать мысли. Ты статист, одет и загримирован под великого вождя. Ты не только говоришь, ты живешь под суфлера. Прежде тебя вели воры в законе, а теперь – собственный сынок. Живи так и дальше, ума после шестидесяти годочков много не обрыщешь и воровскую натуру не изживешь. Боже, на что уходит житуха! И на хрен такое счастье?

К е р м а н ы ч . Мимо, все мимо.

Она встает, взглядывается в его глаза, наступает. Он даже садится.

М а г д а л и н а . Повторить или с первого раза поймешь? Это твоя проблема – раз!

К е р м а н ы ч . Ты... вы не очень... страшно ведь...

М а г д а л и н а . Страх – не порок. Страх – инстинкт спасения. Издревле страхом держится и религия, и медицина, и держава. Институт страха...

К е р м а н ы ч . Постойте, постойте, что, и учебное заведение есть такое – институт страха?

М а г д а л и н а . Есть. У тебя оно – главное и самое обеспеченное финансами. Состоит из одних дубарей и костоломов. Что, живешь за его счет, а не знаешь о таком заведении?

К е р м а н ы ч . Не знаю.

М а г д а л и н а . А что же ты полбюджета страны на него подписываешь, на хищных птиц и шакалов, то есть «беркутов» и «нутряные дела» да прокуратуру?!

К е р м а н ы ч . Я разве гляжу, что подписываю? Подсовывают верные профосы, я и подписываю.

М а г д а л и н а . А собирают денежки знаешь с кого?

К е р м а н ы ч . Нет. От меня же все такое скрывают. Говорят, не для того тебя выдвинули, чтобы ты вникал да вмешивался. Откаты идут – и радуйся...

М а г д а л и н а . А для чего тебя выдвинули?

К е р м а н ы ч . А чтобы возглавлял.

М а г д а л и н а . Болван ты, Митя. Не для того, чтобы ты возглавлял, а для того, чтобы при лихой године на тебя все свалить.

К е р м а н ы ч . Не пугайте, Мария батьковна. На мне и так уже живого места нет. За забор да ров боюсь выйти, кортеж из бронировок и две скорые помощи за собой вожу. Вот уже контору перенес из столицы к себе в замок. Жену впускаю в спальню только после тщательного обыска...

М а г д а л и н а . Да, плохи твои дела, Митя.

К е р м а н ы ч *(приседая у ее ног)*. Я знаю, ты на всю Территорию умница, посоветуй, как выкрутиться, улизнуть от полной и неограниченной власти, а заодно и напасти. Я не знаю, а ты же знаешь, куда оно повернет и чем душа успокоится.

М а г д а л и н а . Тебе лучше этого не знать.

К е р м а н ы ч . Хуже не знать. Я вот дурею и чахну...

М а г д а л и н а . Что-то по тебе не видно. Холка в два подборода, а брюхо – пивная бочка.

К е р м а н ы ч . Это с виду. Я не ем, не пью, чтобы, не приведи Боже, не глотнуть чего вредного. Это я от голода пухну. Пальцем ткнуть – проткнешь, полый я весь. Вот ткните, ткните.

М а г д а л и н а . Подумать можно?

К е р м а н ы ч . Думайте, думайте, вы же электросенс... это – ясновидица!

М а г д а л и н а . Сначала, можно, я немножко посмеюсь, потом подумаю?

К е р м а н ы ч . Хрен с вами, смейтесь, только думайте поскорее, за мной придут...

М а г д а л и н а . Придут, а ты прогонишь.

К е р м а н ы ч . Э-э, это только с виду я гоняю всех, а в натуре все меня оседлали. Спасу нет... И слова мне пишут, без них не выразишься, и мысли – все чужие. Я, признаться, никогда своих не имел. Да и на хрен они мне нужны были? Жил так: у меня кулаки, а вокруг дураки. А теперь – перевели в умные, а умом подкачивают со стороны, да все чужим. Набираться, осваивать поздно... Пенсия уже, душа покоя просит.

М а г д а л и н а . Подумаю, подумаю, подумаю...

К е р м а н ы ч . Я тебе заплачу. Я тебя выпущу...

М а г д а л и н а . Уж это «выпущу» ты оставь для себя. Из такого уютного гнездышка да в твою раздолбанную Территорию – я ни ногой.

К е р м а н ы ч . А как же мне?

М а г д а л и н а . Подумаю, подумаю, подумаю... Вишь, старик, мир так устроен, что дифференцирует... Я понятно говорю?

К е р м а н ы ч . Да вы попроще, голова кругом...

М а г д а л и н а . Говорю, в природе и в обществе особей разделяют по достоинству. Скажем, в стае гамадрил один самец – вожак, ему все: и лучший кусок, и самочка при течке. А десяток таких же, как он, но чуточку понеудачливей – лапу сосут и письку дробчат.

К е р м а н ы ч (*оживая*). Дак это я – мандагрил?

М а г д а л и н а . Гамадрил. Но не более...

К е р м а н ы ч . Понятно. Только вы попроще объясняйте.

М а г д а л и н а . Проще? Ну, возьмем прирученных животных. Одного быка хозяин оставляет на семья, кормит, холит. А других – яички удалили и – в ярмо. Понял? Один тешит свою плоть, а другие в плуге поле меряют.

К е р м а н ы ч (*совсем воспрянул*). Так это я – бык-семенник?

М а г д а л и н а . По штату. Только по штату. А если раскинуть мозгами, ты ни одного доброго и плодоносного семени не кинул в нашу землю. Бык-импотент.

К е р м а н ы ч . Что такое «имманент», я знаю, хохлушка растолковала.

М а г д а л и н а . Не путай понятия. Ты не знаешь даже того, кто ты и что ты есть.

К е р м а н ы ч . Что так?

М а г д а л и н а . Тупой ты, брат Митька! Заурядный, жалкий, как хохлы говорят, «пересичный» до чертиков, и только наполовину гомо сапиенс.

К е р м а н ы ч . Да ну? А как же я так высоко подался?

М а г д а л и н а . Катаклизм, мимикрия... Прости, я понятно говорю?

К е р м а н ы ч . Говорите, как можете, я один хрен привык не понимать ни того, что мне говорят, ни того, что я сам говорю... Последние три года, как встал над властью, я знаю только одно – боюсь. Боюсь – и кранты!.. Что делать, что делать? Я, собственно, и к вам не порядки наводить, разгоны про

людское око устраивать, а смиренно, едва осмелился... бежал от жути. Подскажите...

Магдалина. Брат Митька, ты дважды отбывал за мелкое воровство, за мордобой и насилие.

Керманыч. Ну-ну! Теперь это не принято вспоминать. Из бумаг моих такое изъято.

Магдалина. Но ты же помнишь и знаешь. И мучаешься.

Керманыч. Ну-ну?

Магдалина. Так ты не мучайся. Ты лучше осмысли прошлое и настоящее и сделай вывод... В лагере ты был бугром, хамом, битой... На престоле, по воле пипла, ты – то же самое: бугор, предводитель, но...

Керманыч. Ну-ну?

Магдалина. Так вот прикинь: когда у тебя была реальная власть? Тогда или теперь?.. Тогда с начальством контактил и они тебя опекали, выгораживали, даже делились с тобой сидором из ограбленного у заключенных. Тюрьма боялась тебя и как верзилу с пудовыми кулаками, и как особу, приближенную с вертухаям, начальству, самому кагэбэ... А теперь ты – марионетка, муляж. Не понял? Чучело. Тебя за ниточки подергивают олигархи, водит семья, твои мальчики, ближние и дальние родственнички. А ты вертишь целым пиплом по их команде. И в глазах того же пипла смотришься придурком. И переживания твои и страхи именно оттого и происходят, что ты сознаешь, что ты марионетка, заводная машинка, господин Никто.

Керманыч *(в отчаянии)*. Дослужился... Что же делать, что делать? Чем же все такое кончится?

Магдалина *(окончательно)*. Ты умрешь.

Керманыч *(вскочил)*. Наглой смертью!?

Магдалина. Какая уж тебе разница!

Керманыч. У меня эскорт бронированных машин.

Магдалина. На остановках сквозь этот эскорт проходят десятки людей.

Керманыч. У меня двойное кольцо живой охраны.

Магдалина. Ты нанял каждого в отдельности охранника, чтобы они стреляли в любого, кто позарится на твою жизнь?

К е р м а н ы ч . И заплатил сторицею.

М а г д а л и н а . Вот так же могут нанять любого из твоих наемников и заплатят вдвое, чтобы убрать тебя. Однажды продавшийся – уже товар. А товар любит все большую цену.

К е р м а н ы ч . Но вы вправду знаете это? Знаете?

М а г д а л и н а . И ты знаешь.

К е р м а н ы ч . Но вы можете спасти меня. Раз вы сумели сожрать одного президента, двух глав парламента, двух премьер-министров. Раз можете пожирать, значит, можете и спасать. Слушайте... подскажите, что мне и куда мне?..

М а г д а л и н а . Сначала ответь, где ты был полновластным бугром? Здесь, в тюрьге, или в замке?

К е р м а н ы ч (*натужно*). В тюрьге.

М а г д а л и н а . Что и требовалось доказать. А теперь выбирай.

К е р м а н ы ч . Из чего выбирать?

М а г д а л и н а . Ну, золотой унитаз под жопой, но жопа – наголо, для обозрения и порки.... или параша, но ты – бог, царь и воинский начальник?

К е р м а н ы ч . Вы сдурели?..

М а г д а л и н а . Ты хотел мудрого совета? Хотел выхода?

К е р м а н ы ч . Только злейший враг даст искренний совет. Своим доброжелателям я уже не верю. Они высосали из меня все, что я мог им дать. Теперь оглядываются, где бы и что бы еще прикарманить... а не найдут – меня продадут.

М а г д а л и н а . А простак не так прост. На последнем перегоне зришь в корень.

К е р м а н ы ч . И что вы мне скажете?

М а г д а л и н а . Оставайся здесь.

К е р м а н ы ч . С вами?

М а г д а л и н а . Меня-то ваша шайка выпускает на свободу.

К е р м а н ы ч . Пойдите, дайте сообразить. Вы – на свободу, а я на ваше место? То есть, я на ваше, вы – на мое место?

М а г д а л и н а . Господи, как трудно доходят простые истины.

К е р м а н ы ч . И вы отсюда – прямо в замок?

Магдалина. Естественно. Свято место пусто не бывает.

Керманыч. Я в безопасности, но... в застенках. Параша, баланда, петухи... а вы в замке, у вас эскорты, охрана, суши, боржоми, женщины?.. То есть мужчины?

Магдалина. Естественно.

Керманыч. Всю жизнь драл задницу, чтобы выбиться в люди... в сверхчеловеки... и в конце концов – туда же, на круги своя?

Магдалина. У каждого свои круги.

Керманыч. Ни хера себе!

Магдалина. А что это у тебя за всплеск эмоций? Ты просил мудрого совета. Тебе подходит только такой – твоя карма.

Керманыч. Постойте, постойте – моя кама... карман? Карман у меня – о-го-го!

Магдалина. Вот, ты же сам чувствуешь, что с твоим просвещением, кругозором, а пуще с завистью, алчностью, сластолюбием... в общем, со всеми семью смертными грехами... Со всем таким из тебя фюрер, как из меня тяжеловес.

Керманыч. У-у, в политике вы – тяжеловес! Это я – того... гигант в весе мухи.

Магдалина. Ну вот, сам осознаешь себя марионеткой. Огромной, дорогостоящей, но марионеткой...

Керманыч. Хватит!!!

Магдалина. Смотри, распетушился! Давай-ка, меняемся местами. Ты – на нары, я – в бронированный лимузин. Ты – под вертухаев, а я – за широкие спины спецхрана.

Керманыч. А фигушку с маслом не хотела?! Я ей – кот-кот, она мне – срака вот?

Мария хохочет, с ног валится. Это окончательно бесит Керманыча.

Ах, коли так – сиди ты до скончания века! Под надзором, под фонарем днем и ночью, на баланде, на параше, и теперь уже без свиданий! Пошла ты к едреной матери!!

Керманыч бросается к двери, толкает ее – она не поддается, дергает на себя – тот же результат.

Охрана! Санчо!! Изобью, уничтожу!!

Стучит кулаками, ногами в дверь – отклика нет.

Магдалина (с издевкой хохочет). Ты громче, громче. Скажи: «Сим-сим, отвори!»

Керманыч. Смеешься? Ты у меня будешь смеяться коренными зубами!

Магдалина. Уймись! Сядь!

Керманыч устает стучать. Садится на нары. Затяжная пауза. Вдруг и одновременно она принимается хохотать, он – рыдать.

Керманыч. Чему радуешься, стерва? Меня к себе приобщила. Двух спикеров, кучу министров извела. Вот и второго президента свалила в кутузку!

Магдалина. Не я свалила. Не я...

Керманыч. У кого же еще такое ядовитое жало? Кто так переполнен коварством?

Магдалина. В нашем случае коварство не нужно.

Керманыч. А что нужно?

Магдалина. Справедливость.

Керманыч. Вот туда его на хер! Откуда же эта высшая справедливость?

Магдалина. От пипла. Не я ворота захлопывала, не я твоих стуков и воплей не слышу...

Керманыч. Ты, ты! Все зло от тебя!

Магдалина. Уймись. Хочешь короткую и поучительную бить?

Керманыч. Говори, что знаешь. Один хрен, мы... как на дне пруда...

Магдалина. Мой дедушка убедительно доказал, что самый лучший его кусочек жизни был... знаешь когда?

Керманыч. Я и прежде ни черта не знал, а теперь и недавно...

Магдалина. Он был заурядным и малограмотным селянином, илотом, смердом, крепостным колхозником. Как вот ты в молодости. Только не разбойничал в промышленном городишке, но честно хлебопашествовал на высылках. Так вот

лучше всего ему работалось и достаток его наживался в короткие месяцы сорок четвертого года, когда немцы ушли, а наши не пришли. То есть армия красных пробежала, а властей... властей в глуши долго еще не было. И поле без них полно уродило, и пруд от скверны очистился, а во дворе мужика и стога появились, и коровка, и ослик, и куры-гуси... И сам вечный смерд выпрямился, и бабка его выздоровела. А все почему? Да потому, что работали на себя и знали, что не придется, через подати, кормить нас, дармоедов с огромными чревами да загравками, притом – с нечеловеческими запросами...

К е р м а н ы ч . Ты можешь без сказок, по-простому?

М а г д а л и н а . Так вот нас всех мудрецов, политиков, социологов, профессиональных теоретиков да наставников убрать бы с шеи пипла, ох и зацвела бы земля вокруг!

К е р м а н ы ч . Ты хочешь сказать, что все такое уже началось?

М а г д а л и н а . Дал бы Бог! Мы же затуркали, забили народ уговорами и страхами, он перестал самостоятельно мыслить. А мы ему в голову – только брехню да нашу выгоду внедрили. Он и плюнул и на нас, и на труд. Самое жуткое, что он плюнул и на себя самого. Взял пример с нас: врет да ворует, продается и тунеядствует.

К е р м а н ы ч . Замолчи! *(Прислушивается.)* Вроде топают шаги. Приближаются?

М а г д а л и н а . Да нет, то удаляются последние вертухаи. Скоро некому будет подать нам в окошко баланду, некуда будет вынести парашу. Впрочем, парашу нечем будет наполнить.

К е р м а н ы ч . Еще раз замолчи!

Шаги и впрямь приближаются. Грохочут запоры. К е р м а н ы ч тянется к двери. Дверь открывается.

К е р м а н ы ч *(нагло кивает М а р и у)*. Оставайся здорова!

Хочет выйти.

Г р у д н о й б а с *(из проема двери)*. Куда ты, боров мохнатый? Назад!

К е р м а н ы ч *(дерзко бросается в дверь)*. Ты на кого это басом? Ты на кого глаз морщишь, сука?!

Огромный кулак бьет ему встреч. Он падает на спину.

Т о т ж е г о л о с . Пани Мария, с вещами на выход!

К е р м а н ы ч . Как понять?! Как смеете?!

М а р и я демонстративно собирает свои вещи.

М а г д а л и н а . Как понять? Да просто. Твоим вороватым, лживым и алчным профосам и прихвостням ты уже не нужен. Лицемерные и подлые фалалеи да сундукеи тебя раскусили. Самым забитым и зомбированным смердам да илотам ты стал нестерпим. Прimitивный, жадный, скучный, ты всем надел. Твое время вышло!

М а р и я резко выходит. Дверь громко захлопывается, замки задвигаются. К е р м а н ы ч безнадежно кричит ей вслед.

К е р м а н ы ч . Мое время?! А когда оно было, мое время? Голодное и голое детство, юность вся в мордобоях да приводах, школа моя – грабеж да тюрьма? До тридцати лет на жопе у меня были одни штаны, а рубашек на плечах – еще меньше. Созревание мое – в насилии. Если не надо мной глумились, то я... Зрелость соткана из одних преступлений, чужих и моих. Бери ты, не успеешь – возьмут у тебя! Страсти только земные, животные – дери и дай, и просто в рай! И рай мой – земной, в крайней роскоши, в радостях над чужим горем. Меня всю жизнь унижали – в конце я потешался над вашим унижением... У-у-у!.. Обидно, больно, несправедливо! Все несправедливо! Со всех сторон несправедливо!!

К е р м а н ы ч забивается в угол и воет волком в ночи.

К е р м а н ы ч . Ау-у-у... И-и-и... Мать-перемать! Убью-ю-ю... Изуродую-ю-ю...

Т е м н о



ОВЕЛЛЫ ДНЯ

ТЬМА БЛАЖЕННАЯ

Посадка задерживалась, отправка задерживалась, спустились сумерки. Из Одессы в Николаев транспорт всегда битком набит, и мне досталось местечко на заднем сиденье, в углу – драная парусина и пружины набекрень.

Дважды списанный автобус по-стариковски охнул стартером, пукнул выхлопной трубой – в заднюю дверцу проникла слабая гарь, смесь трухи и жженных перьев – теперешнее горючее. Хотелось уснуть и проснуться дома.

Не удалось. Наш ночной дилижанс норовистым меринком дергал вперед, потом ружейным прикладом отдавал назад, снизу донимали раздрызганные пружины, мурлыкал счастливую песенку

пассажир слева. Хотелось заткнуть хоть этого, но лица его не разглядеть – еще наткнешься на хама, на людях расскажет, кто я есть на самом деле. Давно во мне живет дух Кассандры: я чувствую, кого или что встречу, догадываюсь, что мне скажут, что останется в осадке. А тут промахнулся.

Почуяв, что я никак не успокоюсь, товарищ слева, явно старик, – пресные запахи подсохшего пота, случайно коснувшаяся моей щеки бородака, сиплый, набрякший пивной пеной голос тому свидетельство, – в общем, дедуля сочувственно шепнул:

– Не комфортно?

– Да уж, – слабо простонал я.

– А вы не думайте о дороге. В душе всегда найдется дватри сладких воспоминания.

– Ну да, скажем, как в позапрошлом году, на этом же маршруте, не доезжая до Половинок, я попал в аварию.

– У-у, как вы глубоко осели. Вернитесь в молодость, к первой любви, к первому поцелую.

– То я уже подзабыл, а свежего ни черта не припомню.

Я собирался отвернуться, пристроить ягодицы между кочками сиденья и спрятать нос в воротник, но сосед блаженно вздохнул:

– У меня лучше. Я и в Одессу ездил с красивой миссией. – Он ждал, что я спрошу с какой. Не дождавись, добавил: – Сыну деньги отправлял. – Ждал, что я спрошу, куда? Не дождался, продолжил: – В Лиссабон.

Я раздражался не на шутку, заворчал:

– Обычно из-за бугра нам шлют на поддержку штанов, а у вас там что-то с сыном...

– Шесть лет он мне регулярно присылал, как вы выразились, на поддержку штанов. Но теперь я вдруг разбогател. По крупному. Теперь я ему помогу. Он там построил дом, для этого взял крупный кредит, на десять лет. А я ему помогу сразу вернуть долги.

– Да?

– Да. Я ведь вдруг разжился на миллион.

У меня запершило в горле. Я не прикинул, что едет старик в битом автобусе, глотает пары полусотни пассажиров, терпит

колики гнутых пружин – с миллионом ездят в своей иномарке, может, даже со своим шофером. Спросонья я только позавидовал ему по-черному, растерялся и, в душе смежив все свои недобрые позывы, эдак отвлеченно спросил:

– Теперь что, в Португалии разрешают остарбайтерам строиться?

– Разрешают. Если ты не совсем остарбайтер.

И он совсем включился в свою повесть.

– Мой не остарбайтер. Мой в Лиссабон переехал из Вроцлава, а туда тоже не от нас. Хитрый, как лиса, запутал следы. И спец мой в кибернетике, каких мало!

Я совсем одурел от зависти – у меня с детками совсем по-другому: дома обретаются, и без работы. Я весь горел, умышленно отворачивался и молчал. Моего затылка сосед в темноте не видел, а молчание ему на руку. Он излагал все новые возможности наших умов и рук за рубежом, ну, просто по писаному вещал, из уст в ухо, как наши заправские радиокомментаторы. Я потянулся заткнуть уши, но тут же захотелось вьесть хвастуна.

Я эдак небрежно переспросил:

– Миллион-то деревянными?

– Не-а!

– Уе?!

– Разумеется. Потому и не переводил из города в город. Могли меня облапошить, если не государство, то его граждане.

В голове у меня странно просветлело... только с одной стороны, со стороны скандала:

– А что же это вы с такими деньгами разъезжаете в грязном транспорте? Неужели весь миллион так и отправили на счет сынишки?!

– Весь и отправил.

– А что же о себе не позаботились?

– Привычка. «Привычка свыше нам дана», – совсем весело и довольно точно, по Чайковскому, запел старик.

Если бы вдруг озарился день, богатый сосед увидел бы, что я уже синюю от злости. Я тихо рычал ему в ухо:

– Привычка к нищете?

– Разумеется, – снова по-книжному шепнул он. – Стараюсь соответствовать уровню своего народа.

– Глупо!

– Глупо, но красиво.

Я дергался пуще нашего транспорта и выискивал, в чем бы разоблачить дурачка. Снова запросто и заурядно спросил:

– И не боялись-то с такими деньгами?

– Вот-вот, боялся. Теперь денег нет – и все страхи позади.

Я вытащил козырь из рукава:

– А как же это, если не секрет, вам достался эдакий вагон денег?

– Гонорар за идею.

– Да-а?!

– Да.

– И каким же идиотам пригодилась идея в миллион?

– Властям, – как-то чопорно и по-свойски отозвался старик.

– Да-а, власть может и миллион швырнуть. – Я наглед в собственных глазах, но уже остановиться не мог. Наклонился и фальшиво, доверительно, даже интимно спросил: – В чем же суть этой дорогостоящей идеи?

Сосед довольно безразлично и более, чем вполголоса, ответил:

– Мысль продана и потеряла цену. Не воспользуетесь.

Я понял, что дедунь силен и во внешней, и во внутренней, как теперь любят говорить, геополитике. Регулярный слушатель радио FM и телеканала TVI. Я с дрожью во всех жилках искал, чем бы донять засранца. А он, опорожнив на меня ушат студенной, заснул.

Я же спать не мог, дорога с ее рытвинами и ухабами перестала для меня существовать, про Половинки с их частыми авариями и гаишниками с поборами уже не касались меня. Я листал свою память, отыскивая у себя в жизни хоть что-нибудь похожее на удачу соседа. Пусть в миллион раз мельче, но везение. Не находил, дергался уже без помощи дряхлого автобуса и его полусонного водителя. Придумал! Я уложу дедулю образной правдой о своем существовании. Вот так в прозе, похожей на верлибр, выдам: чем живу, тем и интересен.

Деликатно толкнув соседа, уверенный, что он, в отличие от меня сейчас, чувствует дорогу и в тупой тряске бодрствует, я, как по писаному, заговорил:

– А мои наследники пошли в своего отца. Отец их – улитка, из панциря своего не вылезает более, чем наполовину, далее, чем из-под кустика да на тропинку, не ходит. И то только в сырую погоду. А еще все боится, что отнимает чужой кусок, что живет несправедливо. Услышал как-то еще студентом на перекрестке злую реплику: «Всякий подпасок считает, что его место на Крещатике» – не стал цепляться за столицу, хоть и выпал случай. От бабы не ушел, а ведь гнала... и сам знал смолоду, что как партнеры мы с ней несовместимы. Что само в руки идет, не держу: другим же такое не подвалило, почему я – исключение?! Потому и проголодь в животе и сермяга нагольная на оплечье – большего и не хочу...

Старик сопел, похрапывал, казалось, в его дыхании сипение и пузырьки пивной пены отзываются досадней, чем при речах старика. Я разозлился не на шутку, от бессилия разрасталась уже мстительная зависть. Откуда бы в таком заурядном провинциале идеи ценой в миллион? Как это должно подфартить человеку, чтобы в голову стукнуло что-то сверхважное, да чтобы на него вышел человек, заинтересованный в его идее? И не обманул тот заказчик?.. Я насилывал себя сном. Не засыпал. Всмотрелся в давно не мытое стекло – ба, да мы уже почти дома. Кстати, есть повод растолкать старика по-настоящему.

От пинка в бок дедуля выпрямился, много выдохнул воздуха, заговорил:

– Спрашиваешь, кто я и что? Я улитка, из панциря своего не вылезая более, чем наполовину, далее, чем из-под кустика да на тропинку, не хожу. И то только в сырую погоду. Все боюсь, что отнимаю чужой кусок, что живу несправедливо...

Меня подбросило на колючих пружинах, повело вперед. Это не автобус затормозил, это ужас толкнул меня прочь. Я потопал между рядами к водителю. Что я ему хотел сказать, трудно уложить в слова. Наверное, внутри себя я кричал:

– Эй, водила! Ты везешь лгуна большого масштаба! Ты везешь дурака и мерзавца! Он расстроил меня! Он разбудил во

мне самые скотские чувства... все семь смертных грехов моих разбудил!..

Мои вопли не понадобились. Автобус неожиданно мягко затормозил у поселка Сливино. Оказывается, вблизи психлечебницы. Водитель открыл дверцу, встал и любезно указал на выход. Сказал через мое плечо:

– Вам здесь? Пожалуйста.

Мой сосед, при свете раннего утра оказавшийся благообразным подстарком и довольно прилично одетым, прошел к выходу, сдержанно раскланялся всем, кто был в салоне:

– До свидания... Вернее, прощайте! Надеюсь, мы с вами не встретимся...

Ступил, словно сплыл с подножки на асфальт, и не оглядываясь, все торопливее и бодро пошагал в сторону лечебницы.

Я ни о чем не расспрашивал водителя. Был сбит с толку.

Сбит с толку и до сих пор. Думаю, ехал со мною из Одессы в Николаев один их старейших наших психиатров, из тех, кто лечащихся у него Бонапартов и Махно уже привык считать сущими Бонапартами и Махно, а ко всякому встречному и попутному применяет свою терапию... арт-терапию. Помогает при житейских затруднениях тем, чем его Бог одарил.

ПРИВКУС СТОЛИЦЫ

В зиму семьдесят третьего-четвертого годов руководству стало ясно, что я театру не нужен. Уволить оснований не было: за три последних сезона у меня получились две шумные кассовые премьеры – не каждому режиссеру такое удастся. Вытесняли меня за пассивность в общественной жизни, за излишнюю откровенность и полную некомпетентность в канонах социалистического реализма, потому избавлялись исподволь. Подвернулась квота на двухмесячную переподготовку театральных постановщиков. Чтобы поскорее с глаз долой, сердобольный шеф для начала послал меня в Москву, в театр Пушкина, к прославленному на всю страну маэстро.

– Тебе будет такое выходное пособие. На посошок приобщись к столичному вкусу, к иному уровню культуры.

...Небольшой зрительный зал, перегруженная и довольно неопрятная сцена, вечно пьяный и опаздывающий на репетиции маэстро – Борис Равенских. Ставит он ни много ни мало – «Драматическую песню». Это навязшая не только в зубах перелицовка романа Николая Островского (в Москве злые языки говорят – Анны Каравасовой) «Как закалялась сталь».

Дури в постановке – полна голова! Исполнители ведут себя совсем как наши мажоры, то есть офигенно и пофигенно; музыкальное сопровождение – почему-то морские песни, возникшие двадцать два года после описанных в романе событий, а физиономии и костюмы, скорее всего, из галлюцинаций старого алкоголика.

В законодательнице вкусов Москве успех был ошеломляющий; вся периферия перехватывала и инсценировку, и абрис постановки великого Равенских. Но это было потом.

А пока я сидел в холодном зале, скучал, думал о вырождении истинного русского театра, что в провинции, что в столице, и любовался рослой и смазливой актрисой Аллой Емельяновой. Репетировала она Тоню Туманову. На сцену девушка пришла из столичной окраины, высколена студией МХАТ, но еще не совсем изжила говорок московских часовен. Была слегка скована молодыми желанием и заметными материальными недостатками. Явно одинока и прозябает в общежитии.

Это все в течение недели я аккумулировал из разрозненных реплик Бориса Ивановича, который, не церемонясь, делал почему-то преимущественно ей дельные, но взболтанные хмелем замечания.

По столичным магазинам я не ходил, скромные мои средства экономились, и я осмелился пригласить Аллу Емельянову в ресторан между репетицией и спектаклем. Она заурядно согласилась, во время обеда у нее даже вспыхнул некоторый интерес ко мне. Показалось, как к мужчине, позже выяснилось – я поторопился.

- Вы сегодня придете на спектакль? Я играю.
- Я обязан посещать все ваши спектакли.
- Идут «Дни нашей жизни» Леонида Андреева.

Драматическая история курсистки в белом платье покорила меня. Вместе с героиней в душу прокралась прихорошенная

исполнительница. На что я мог рассчитывать? Женатик, десятилетний сын... провинциальная бедность и птичьи права в театре. Но ведь разово приударить можно, авось никому не заказан.

После спектакля я зашел в грим-уборную к Емельяновой (и еще двум партнершам) и очертя голову предложил ей на ушко:

– Завтра вечером вы свободны? У меня пригласительный билет в театр «Современник» на Евстигнеева. Приглашаю.

– Билетов туда не достать, а пригласительный у вас один...

– Что-нибудь придумаем.

Я был весь устремлен к Алле Емельяновой, потому готов на все.

...Мне сильно хотелось увидеть хит сезона в Москве – «Голого короля». Но, увы, поиски лишнего билетика ни к чему не привели. Я уже весь на вздохе и румяный не от мороза предложил спутнице:

– Вы идите по моему пригласительному, а я изобрету способ для себя.

Молодая женщина весь день охотно и весьма странно покорялась мне. Пошла одна. Я изобрел способ: два с лишним часа прыгал вокруг памятника Маяковскому, грелся в Елисеевском магазине, сто раз закатывал окоченевший рукав и смотрел на часы.

Она вышла из зала в смешливом и фривольном настроении. Я с наигранной веселостью показал ей пакет с бутылками шампанского и коньяка, ну, еще с обильной закуской.

– Поедемте ко мне, поужинаем.

– А это куда?

– На дачу МХАТ, у меня отдельная комната.

Она была последовательна и тут – не раздумывая, согласилась. Я даже подумал о себе выше, чем обычно: в Николаеве я не слишком котируюсь у красавиц, в столице же – ты посмотри-ка!

Потратился на такси, больше почувствовал касание, даже вкус столицы – водитель обсчитал. При входе в подъезд дачи я по-свойски расшаркался перед вахтером:

– Простите, ко мне гости...

И опростоволосился: обношенный и задоенный старик издали полагал, что со мной такая же курсистка из провинции,

потому сонно смотрел мимо. Но после моих слов пошел следом:

– Низзя! – заявил уже в моем номере. – Режим.

– Да ради Бога! – начал я деликатно. – Мы вот поужинаем и по домам.

– Ах, еще и бутылочки? На рабочем месте? Где это видано?!

Старик уже выжимал за дверь и меня, и мою возвышенную гостью. Я полез в карман за червонцем, потирал пальцами купюры, не решаясь, один или два отвалить за нарушение режима. Алла хмыкнула:

– Деда, тебе сейчас нальют стаканчик и – будь здоров!

– Только не шампани, – тут же согласился строгий дежурный.

Я наливал коньяку в двухсотграммовый, он подталкивал под кисть: пополей бы. Глотнул залпом, противно крикнул, обдав нас духом из помойки. Еще один столичный житель.

Запершись, мы сели у столика, включили только бра, полусвет, уют.

– Твои успехи! – подал я стаканы с коньяком.

Выпили. Я придвинулся, она не отстранялась. Жевали, я положил руку на ее теплое плечо – показалось, что она нежно подалась ближе, кошка.

– Вы там главный?

Я понял. В ответ соврал:

– Не главный, но ведущий.

Ее плечо, чуть в отворот, оказалось совсем близко. Она сама добавила влаги в стаканы:

– Повторим, мне надо быть решительной.

Повторили. Я неверно понял Аллу и полез ладонью ей за спину:

– Мне тоже иногда не хватает решительности.

– Я сейчас о другом. Так хочется на два-три года сорваться в провинцию, выдвинуться, получить почетное звание и вернуться сюда уже на коне.

Я, видимо, тяжело вздохнул, мимо воли налил только себе и глубоко глотнул.

– Что, не поможешь? – Наверное, мы уже были на «ты».

– Перебраться к нам, что ли?

– Да, да...

– Дурное дело не хитрое. Я вижу, что в вашем пушкинском театре не все в ажуре. Но ты даже представления не имеешь, какая бездна разделяет даже вашу, вторичную, столицу и – украинскую глушь... ваш второразрядный, двадцатый по ранжиру, но московский театр, и наш, пусть единственный...

– Я не жила в областном городе. Сразу с пригорода в центр.

– То-то и видно. Не видела, как в областных полисах запустение выглядывает из каждой щели. Дороги разбиты, дома не отремонтированы с прошлого века, пища не из Елисейского, очереди, сплошь раздражение. Вокруг все как бы припыленное, слипшееся. Хуже – люди со всем таким смирились. Даже если скопишь три зарплаты, приоденешься – некуда выйти. Ну, в театр, так ты из театра не вылезаете... Постановки наши трижды процеженные цензурой. Какой там Леонид Андреев! Не рекомендован у нас этот декадент...

Я был в раже, как артист в страстном монологе из ресторана:

– Звание получить труднее, чем у вас. Все решает партком да местком, райком да обком. А там правят пентюхи из глубинки, Джонни из района. А эти туго знают: надо давать тому, кто дает тебе...

Алла Емельянова менялась даже при тусклом свете бра: холодела, дурнела лицом, мельчала фигурой, пила, как и я, особняком.

– Тут хреново, – сказала со вздохом. – Думала, потому что высокая конкуренция и моя молодость во всем виноваты.

Я не мог остановиться:

– У нас тебя переведут из столичного разряда в периферийный. И объяснение найдут: бездарность, мол, таланты держатся в Москве. И – в очередь, хорошо, если десятой.

Что-то тяжелое носила на своих красивых плечиках эта очаровательная девушка. При моей помощи хотела сорвать и сбросить лишнюю ношу. Теперь грузно поднялась со стула, неуверенно шагнула к кровати под глухой стенкой и свалилась на бок. Дурак дураком, я понял все превратно. Дрожащими ру-

ками стянул с нее высокие ботфорты, хотел было взяться за вязаную кофту.

– Не надо, – отчужденно прошептала она.

Я снова не понял, вытащил одеяло, прикрыл Аллу и, дрожа уже всем телом, стал спешно раздеваться сам. Ринулся к ней под одеяло.

– Не надо, – тяжело сказала она. – Ложись там, у окна.

– Что случилось? – наигранно, вроде бы перед ней стоящий мужик, сказал я.

– Я не ханжа. Но чего-то не случилось...

Тут девушка тихо, в подушку, зарыдала.

– Я тебя обидел?

– Ты не поймешь.

Я понял и еще больше отдалил от себя женщину:

– Я мог бы тебе наврать с три короба. Наобещать, провести с тобой ночь. Может быть, все ночи моего пребывания в столице. Хм, разумеется, если бы у меня хватило денег... А потом сказать правду. Как бы я выглядел после всего этого? Я не хотел... Да мне просто не дано делать то, что делают все. Оттого и в глуши не нагрею себе места.

– Ты мне сделал худо.

– Лучше было врать?

– Лучше. Хоть на ночь, на время зажглась бы лучинка впереди... Какая-то надежда... Черт, ни проблеска!..

– Алла, ну разве просто чуткость, просто близость с коллегой по ремеслу, по горю, если хочешь... тебе мало?

– Видишь, и у тебя горе. Я почувствовала. А хотелось встретить счастливого, всемогущего мужика...

– Какой там хрен – всемогущий! У тебя хоть в Москве, а у меня в жалкой провинции нескладуха. Отправили сюда, пока найдут благовидный повод избавиться от малоодаренного да еще упрямого хохла.

Я принес со стола бутылку шампанского, откупорил, проливая на одеяло, наполнил два тонких стакана, пили, хмелели от смеси спиртного, кажется, плакали в четыре ручья.

С женщиной в ту ночь у меня ни хрена не выгорело. Она спала закупоренной, в вязаной кофте и кожаной юбке. Я – ва-

летом при ней, в полной одежке. Оба заурядно и пошло пьяные.

Утром, неумытые, подпухшие, ехали, как все москвичи, разумеется, кроме тех, кого щедро показывают по телевидению для взбодрения наивной провинции. Теснились в переполненном троллейбусе за гроши.

Не разговаривали. Оба скорбящие несостоявшейся радости.

Словно не долюшка наша была виновата, но мы оба были виноваты. Я перед нею, а она передо мною.

...Потом я никогда не встречал даже имени Аллы Емельяновой. Не читал в программках театра Пушкина, не видел в титрах многочисленных кино- и телесериалах, даже в эпизодических ролях.

Меня тогда же как-то сразу и походя вытолкали из театра.

«Мисюсь, где ты?» – помните, у Чехова?

СВОЙ КРУГ (РАССКАЗ ПОПУТЧИКА)

Мое назначение в родной город было приятным, тем более – перевод министерства с карт-бланшем – низкий поклон двоюродному дяде, академику и ректору, с которым я сошелся в университете и дальше его рука вела меня вперед и выше. До того я рос в интернате, не был обаян родительским гнездом и обычно расставался с прежним местом жительства, с работой, с женщиной навсегда, сжигал мосты. Карьера и мечта о высоком ранге в столице, – из грязи, через «сам себя сотворил», да в князи, – требовали всего моего внимания и всего времени. Трудно было хранить в памяти оставленные пейзажи, примелькавшиеся кабинеты и лица, чары и ухищрения прежних пассий. Почти двадцать лет, с момента поступления в столичный вуз, через отчаянную возню с карьерным ростом в крупных городах и амурные коллизии... совсем стерлись в памяти перипетии детства и школы, мимолетная дружба и мелочная подростковая вражда.

Старый француз говорил: к сорока годам надо отвечать за свое лицо; я опережал совет классика и к тридцати семи ладил себя на солидный, руководящий образ жизни. Не всегда удавалось, мешали извилины характера, взлеты и падения духа, лень-матушка.

Власти повели меня по коридорам и службам конторы, поселили в двухкомнатной квартирке, дали ставку госслужащего второй категории и обещали заглянуть в конце квартала, если нужна будет помощь.

И началось.

Старший бухгалтер Отрощенко (при моей прежней жизни, то есть двадцать и более лет тому, этот Павел Степанович вел хозяйство в моей школе) еще в прихожей, не дав возвыситься по должности, излишне горячо поздравил меня с возвращением «на историческую родину». Все бы сошло как робкая шутка, но старик поощрительно похлопал меня по плечу и обещал покровительство. Вера Котелкова, подкрашенная и подтянутая дамочка, по слухам, самодостаточная и со связями, на правах давней одноклассницы с порога сделала мне глазки и тем напомнила, что у нас с нею кое-что общее водилось.

Другие подчиненные наблюдали легкое амикошонство вышеупомянутых коллег, наверное, прикидывали собственную цену на ярмарке жизни, выпрямлялись и старались казаться повыше ростом. Двух-трех я знал по общим занятиям спортом, по встречам на тусовках, еще кое-кого – по городским сплетням, и, раскинув мозгами, я дошел, что с каждым из них у меня есть какие-то остаточные отношения.

Первым в кабинет ко мне пришел Сеня Шафран – сорок пять лет, а он все Сеня. В прошлой моей жизни он, параллельно с радиостанцией, служил стукачом. Теперь давние гебешники поменяли личину, дополнительных сорок гривен исчезли из недельного дохода Сени, сидел простачок на ставке связиста. Смотрел он мимо и говорил мимо:

– А я всегда знал, что вы вернетесь к родным берегам.

У Отрощенко это называлось исторической родиной. Меня одинаково подташнивало.

Из озорства я сказал:

– Отстал я от жизни родины. Вы все такой же всеобщий друг города и кругом в курсе?..

Не дав мне договорить, Сеня ожил всеми фибрами и порами своего коротенького естества – на человека появился спрос, а уж готовность у него пионерская. Мне понадобилась перебивка: я нажал кнопку, ни к чему вызвал секретаршу, и мой потенциальный осведомитель раскланялся.

За третьим компьютером в зале сидела плотная дама, на голове модный парик, на плечах тонкая шаль. Когда она обернулась, я узнал Нэлли Артемьевну, давнего инструктора областного коммунистического комитета.

– Рад видеть вас!

Большая подлость с моей стороны. Я уже знал, что эта добродейка получает пенсию госслужащего, то есть две тысячи шестьсот гривен (видимо, за служение родине в рядах компартии); знал, что муж у нее из тех же корней и еще держит бизнес. Нужды у них быть не может, работает дама во избежание домашнего однообразия. А час назад у меня искала места умная выпускница университета, всеми премудростями компьютера-интернета владеет, как жонглер шарами, знает английский язык и... голодает – по ее глазам и виноватому тону сужу. И как тут мне смириться с Нэлли Артемьевной?

Конторе предписано собирать данные о труде и плодах труда в самых разных сферах деяний города. То есть еще одна из многих паразитических ячеек, которые, словно по навету Паркинсона, в нашей стране поднимаются как грибы после дождика. Что я могу сделать перед лицом Всевышнего? В широком смысле – систематизировать и подавать наверх только правду, ничего, кроме правды... как перед судом. А в этих введенных мне четырех стенах как мне быть? Да порушить вольготное времяпрепровождение в рабочие часы и сделать целесообразным и полезным наше дело. Красиво сказано – пусть пока так.

...Сеня Шафран улучил минуту, застал меня в пухе и перьях среди старых отчетов и новых прожектов. Я нехотя кивнул, он сел – вышколен мужик в терпении. Я не поднимаю головы в надежде быть понятым, он не дышит в ожидании бреши в мо-

их разборках. Я оказался слабее, поднял голову, и с первой фразы полилось, со знанием дела, даже вдохновенно. Я отдышал и слушал:

– Начинать придется с Павла Степановича. У него связи со всем бизнесом города, со всей чиновничьей кастой. Вы думаете, что мы живем из бюджета? Окстись! Получаем на коммунальные расходы, на хлеб да на воду. Остальное зарабатывайте сами. Так этот старый пройдоха Отрощенко завел порядок: всякую статистику с мест позволил сочинять самим подотчетным и принимает бумаги только с подношением. Что там остается у него в ладошке, не знаю, но и того, что протекает сквозь его клешни, хватает конторе и всем ее детишкам на молочишко.

Сеня знал, где положено сделать остановку, чтобы слушатель переварил информацию.

Я понятливый, потому подтолкнул:

– А мой предшественник как относился к такой innovation?..

Шафран, видимо, еще более понятлив:

– Мы служим при четвертом главе конторы. Но по сути – первое лицо, кормилец наш – всегда Павел Степанович.

– А что означает ваше вступление: начинать придется?

– Ну, сближаться, что ли, исподволь передавать бразды... разумеется, печать и подпись остается у вас...

– Как и долюшка хлебать баланду в случае чего?

– «Случая чего» не будет. Страна стоит на Отрощенках.

– Коррупция...

– Боже, какие выражения! У нас на них табу, не говорим и не слышим.

Даже моей усталости и желания развлечься не хватило, чтобы дальше корчить из себя человека своего круга, муху меченую, образ, который сто лет назад я слышал от того же Отрощенко.

– Хватит. Попробуем забрать бразды у Павла Степановича.

Шафран послушно встал со стула, поклонился и пошел к двери. Оттуда донеслись слова, сказанные обо мне, но не для меня:

– Князь Мышкин.

И я подумал: и нахватанные шавки случались среди стучащей.

Эти слова привязались ко мне, с ними я спускался с этажа, топал по аллейке, по тротуару. Повторял их, даже напевал на разные лады. Потом раздумывал: а все же хорошо, что я корнями отсюда, открытость подчиненных гарантирована. Старый боксер говаривал: в открытую челюсть бить сподручно. Вот только себя следует держать чопорно – не испачкаться бы... не прибрали бы к рукам.

Утром с докладом пришел Отрощенко. Этот не делал вступлений. Положил передо мной два листа договоров, уже с печатями и подписями с одной стороны. На край стола, почти под компьютер, устроил конверт, вроде бы с новым журналом, но странно вспухший в ближнем углу.

– Вот. Выполненная работа на ближайшую неделю. Можно перевести дух.

– Павел Степанович, требуются пояснения.

– Альберт, мы ведь помним друг друга с коротких штанисшек, что тут кокетничать!

И слова, и тон, каким они были сказаны, могут поставить в угол любого выпускника, если их молвил бывший воспитатель. А Павел Степанович и двадцать, и тридцать лет назад номинально на вторых должностях – всегда был первым лицом в учреждении, где бы он ни служил. Это давно осело грузом в моей памяти. Я терял остойчивость, внутри взбеленился; после паузы, закусив губу, а вместе с ней и удила, сказал с расстановкой:

– Позвольте изучить договора. Зайдите завтра с утра.

Темнело, вразвалочку я шел в свою двухкомнатную обитель. Есть хотелось, а хлопотать не хотелось. К тому же мелкий бес прокрадывался в пах, и я закруглился на мысли об одиночестве – с чего-то надо начинать, завести покладистую подружку, такую, чтобы не отвлекала от служебного рвения. При моем опыте и некотором знании людей мне и в голову не приходило, что кто-то другой вник в мои душевные и телесные движения и уже мягко топает следом. Этим другим оказалась Вера Котелкова.

– Ба, да нам по пути! – Мы оба понимали, что это неправда, она смягчила выходку: – Я к тете по поручению.

Мне следовало как-то откликнуться, и бес подтолкнул меня к философии:

– И какой предтеча мог сказать нам, что после двадцати лет мы снова рядышком пойдем по дорожке к нашей школе.

– А и правда, – подхватила Вера. – Седьмая наша – вот она!

Какие слова машинально слетали с наших уст, не важно. В голове моей складывалась новелла: двадцать лет назад мой мелкий бес был необузданным, девчонки в классе были не нынешние – неподатливы. Я мучился. И девушка, не первая красавица, но резвушка и хорошистка, стала все чаще попадаться на моей дороге, пока не застряла в моих мозгах. Я мечтал прыгнуть повыше, но чья-то рука поставила передо мной планку – Вера, я знаю, что все мои собратья замыкаются на женщине. Поймешь, я буду рад...

Неуклюже, с промашками и раскаяниями, мы стали первыми друг для друга. Потом я уехал, она осталась...

Какие слова звучали теперь, в темный и теплый вечер, я не слышал. Дошли до слуха и запали глубже Верины, последние:

– У тебя смутно на душе. – И запела из Тургенева: – Многое вспомнишь родное, далекое, слушая ропот колес непрерывный...

И вспомнил я, что девчонка была при голосе, и романс ее хорошо ложился на мое настроение. Я хотел сделать комплимент ее пению, а получилось – углубил отношения:

– И такая женщина до сих пор одинока!

– Так проще жить в нашем мире.

Не стоит пересчитывать ступеньки, по которым мы спустились... точнее, поднимались в меблированную под будуар «хрущовку» Веры Котелковой. Такое можно увидеть в любом телевизионном фильме в любой вечер. Итак, я еще одним шагом стал ближе к коллективу, а точнее, окунулся в люди, рискуя раствориться в них.

Даже случайные связи с женщиной поднимают дух. В кабинет я вошел полон планов, масштабных и конкретных. Скажем, деликатно подвести Нэлли Артемьевну к мысли, что пора

«нам» готовить себе смену; порекомендовать ей позавчерашнюю выпускницу, пусть натаскает ее хоть по верхам и передаст ей свой участок работы. Справедливо ведь заменять старые, уже равнодушные к делу кадры на новые, инициативные.

Однако меня опередили: еще до урочного часа приема секретарша впустила в мой кабинет Нэлли Артемьевну. Лицо у нее было значительное и в то же время материнское. Села, с благой сдержанностью прочла приготовленный монолог.

Лучшие ее мысли похожи на намеки Отрощенко:

– Опирайтесь следует на опыт. Колея накатана: фирмы и учреждения по-божески обсчитывают свои деяния, сдают сводки своевременно, даже загодя, чтобы мы не парились. Разумно избегают наших визитов. Как поощрение сбрасывают нам кое-какие суммы на премиальные. Тут нет криминала. Старики наши умело систематизируют данные, выстраивают удобочтимые отчеты. Наша областная управа раньше всех отправляет материалы в столицу. Разумеется, отрываем от себя на премиальные тамошним клеркам. Колеи накатаны, не стоит пробивать новые в затверделом и замшелом проселке. Старики – это Отрощенко, Сеня, ваша покорная слуга...

Последние три слова сказаны с кокетливой улыбкой, так, чтобы ни я, ни тем более она сама не поверили в этакую чушь. Как бы между прочим было еще замечено:

– Сеня на своем куцем хвосте принес новинку: к вам заходили в поисках места. Опыт подсказывает, что на теперешний модняк полагаться на стоит: либо заносчивые мажоры, либо угнетенное село. Пополнение из них только нарушит статус-кво...

Понятно, столпы конторы – это аккурат все те приматы, кто нетерпим даже для заурядной европейской конторы. С такими спецами, с их видением мира и двойной бухгалтерией дорожка только «вперед в прошлое»!.. Но как тут начнешь выводить Нэлли Артемьевну на разговор о подготовке новой смены? Как собьешь женщину с благодного тона и привычных, устоявшихся мыслей? Я молчал. Злился на себя и молчал, а чтобы винить не только других, но и себя, я вспомнил свои недавние размышления. Я не без энтузиазма согласился руководить конторой-паразитом, из таких заведений теперь склады-

ваются наши официальные учреждения, городская общественность, наша культура. Теперь я просто обязан определить свою позицию...

С чем и как ушла великолепная Нэлли, неважно. Важно, что я остался на месте, но нутром почуял, что по жизни спускаюсь еще на ступеньку ниже. Надо повременить, оглядеться, притереться, резко выделяются только петухи в курятнике.

И вот режим моего дня со следующей недели.

Пробуждаюсь рано только благодаря прежнему, еще с лучших времен, расписанию. Вольготно моюсь-бреюсь, завтракаю в кормушке через дорогу. Пешком добираюсь на службу. Не спешу, все восстанавливаю в памяти знакомые места; не встречаю ни единого знакомого лица. Мысли постепенно глохнут, я наяву впадаю в дрему, ничего срочного и горячего в кабинете меня не ждет: Павел Степанович и компания закрыли планы на две недели вперед и теперь только в нужный час и по нужному адресу отправляют свои фальшивые доклады. На рабочем месте сижу смиренно, никто не заходит, не звонит. Новый человек, город меня пока не знает, а свои дают время обжиться. Спасибо. И я впадаю уже в медвежью дрему, на сезон: ничего не хочется, никуда не тянет. Сладкий паралич забирает меня всего. Артисты говорят: в том городе я прошел, в этом не прошел, провалился. Может быть, так бывает и с нами, чиновниками? Надолго ли меня такого хватит? В середине и в конце рабочего дня прохаживаюсь по офису – мне кивают через плечо и никто во мне не нуждается.

Вечер – особая статья. Я жду темноты, чувствую, что мне поскорее хочется покинуть свое заведение, а с ним и глухую вину за животное существование. Иногда я пробираюсь в каморку Веры Котелковой. Эта дамочка обставляет свидание изумительно. Скромный ужин, кофе, новости по телевидению и – постелька. Да так деликатно ведет себя: и чтобы ни звука о дневных заботах, ни шероховатости в удобствах, ни намек о ее собственных неурядицах и болях. А уж ласкает, словом и жестом, догадкой и опережением, – и в какой древней Индии женщина проходила школу?.. За полночь прокрадываюсь домой, чтобы утром не видеть далеко не вечернее лицо Веры, не

демонстрировать свои подпухшие веки и силпый басок и не смущать соседей по лестничной клетке. Три-пять дней спустя – все то же. Ни хрена себе деятьель! Этак поживи месяц-два – и превратишься в мебель конторы, а Павел Степанович станет абсолютным монархом, а Вера женит меня на себе, далее – продаст обе наши квартирнки, купит приличную, заведет с моим пассивным участием мальчику и девочку... Тут предел моей карьеры и конец мечте о столице. А с моральной точки зрения – чем я продуктивней Нэлли Артемьевны? Неужели наша высокая элита все такое называет процветанием? На меня находило душевное затмение, его я знавал и раньше, когда случались крутые повороты в пути и я не находил готового решения. Эх, поскользнуться бы на ровном месте, сломать ногу и полежать в гипсе пару недель. Что-то минет, с чем-то смиришься, а там, гляди, свой или чужой дядя подхватит под мышки. Только под ногами твердый асфальт, а мысли о том, что ступор на меня находит все чаще и с каждым разом затягивается, – лучше встряхнуться самому и встряхнуть Отрощенко и Ко!

В начале следующей недели, на летучке, меня взорвало. На других широтах, в часы прилива сил, я держался киношным премьером: шел по поставленной задаче, у меня доставало слов и модуляций, чтобы выразить мысль, в общем, впечатлял слушателей. В родных окрестностях меня подменили. Окружающие вдруг стали весомей и убедительней меня, этакий прайд, в котором я всего лишь последыш. За моей спиной был только интернат, университет, книжки по организации и управлению, да все забугорных авторов. В общем, множество зазубренных истин, которые, на поверку, в нашей юдоли выглядели жалкими и некстати. Я повышал голос без нужды, нажимал, акцентировал и говорил, кажется, следующее:

– С завтрашнего дня прекращается самодеятельность фирм и учреждений. Инспекторы не ждут готовых данных, и тем более приношений. Все восемь идут по объектам и сами выбирают цифры и показания. Потом идут контролеры. Если заведенный порядок зашел столь далеко, что авторитет наших специалистов совсем выветрился, то я приглашу контролеров и ревизоров со стороны. Возможно, даже из столицы...

Аудитория стеклянно глядела на меня, не смущаясь моих встречных взглядов. Краткость не всегда сестра таланта, но я закруглился и тут же отпустил специалистов.

В следующие дни я перестал понимать, на каком я свете. Мои люди пропадали с утра до вечера на объектах, приходили ни с чем. Оказывается, отговорок и нештатных ситуаций в моем городе бытует столько, что справиться с ними невозможно. Мои посещения нескольких фирм ни к чему не привели. Хозяйства исчезали за час до моего появления, а то и в момент прихода, – у каждого имелся запасной выход. Их управляющие смотрели на меня, как бараны на новые ворота, мычали и обещали. Я выглядел маленьким и жалким, возвращался в свой солидный кабинет, словно в чужой – не по Сеньке...

В конце квартала губернатор вызвал меня на ковер и показал разное письмо из центра – ничегошеньки, ни одного пункта по уставу мы не выполнили, а жалоб от ряда клиентов пришло, да, собственно, от всех клиентов, мешок. Вот тебе и накатанная колея, вот тебе и новая, современная дорога! Из слов Главы администрации я понял, что уложения и циркуляры – одно, а жизнь наша – другое. И мне следует выбирать: читать зарубежных деловых людей, Ли Якокков да Леонтьевых, следовать устаревшим циркулярам из центра и повторять их пустые формулировки или включаться в работу.

Мне некому поплакаться в жилетку, не обо что ударить свои сомнения. В подвальчике хлебнув рюмашку, чуть-чуть захмелев, я долго бродил по городу, который оказался для меня совсем чужим; я совсем отупел.

Таким и очутился под дверью Веры Котелковой.

Женщина задумала вышибить клин клином. На мой звонок дверь открылась сразу – в меня ударило персидскими пряностями, тут же в проеме нарисовалась обнаженная фигура недавней гимнастки – Вера, но, ей-богу, десятью годами моложе себя. Она вздрагивала всеми фибрами, благоухала гаремными ароматами – пружинистая, как кобылица на старте. Не успев защелкнуть дверь, теплые руки стянули с меня куртку, свитер, брюки, майку, трусы... затолкали меня в ванную, на-

терли жесткой мочалкой, походили мыльными горстями по всем деликатным частям тела. Потом завернули в безмерный пушистый халат, усадили в угол дивана, закидали подушками – так обкладывают ребенка, впервые пытающегося сидеть. Не ждал я такого, отдался на милость, был расслаблен и рассеян, потому покорялся и уповал, что хоть все такое вытасчит меня из депрессии.

Вера не вытаскивала – вышибала. В большущий фужер, тонкий, на просвет и не различишь, с плеча плеснула коньяку, с ладони покормила крошечными бутербродами с икоркой, восторженным шепотом крикнула:

– Ну, Алик, ты после ванны душистый и пушистый. Ангел! – и сочно расцеловала обе мои щеки.

Потом, все такая же неприкрытая, бесстыжая и вся – сгусток энергии, села напротив и вроде бы с неуместным, но так хорошо раздражающим и убедительным смехом заговорила:

– Для тебя ситуация в конторе нова, потому драматична. Для меня уже не первая, потому заурядная, у нас – как везде. Ты не ведаешь, а я знаю, что все три предыдущие наши керманьчи приходили к нам с такими же благими намерениями, как и ты. Наивные, хотели поменять русло реки. – И запела, опереточно, разводя руками, ежась плечами, раскачивая тяжелыми грудями: – Но нигде в реке вода не течет обратно, и не все и не всегда просто и понятно!.. – И снова высмеивала меня: – Как и ты, они враз получали уроки провинции. Ведь зачем владельцам страны провинция? Да затем же, что и крепостнику крестьяне, – пить с нее кровь и мотать на локоть ее жилы. А зачем в провинции мыслящие единицы? Да затем, чтобы извлекать хоть какую-никакую возможность самим держаться на плаву. Нам повезло, мы имеем Павла Степановича, потому можем себе позволить, вот, как я, – нанайский халат площадью в полакра, коньячок «Ok'vin» с пятью звездочками и бутерброды с икоркой – парходом из Камчатки! Вот и выбирай, Алик: или принципы для возвышенного духа, или божеское существование для бренной плоти. – И снова запела: – В здоровом теле – здоровый дух. На самом деле – одно из двух...

Тут Вера застыла, ожидая моей отповеди. Я физически чувствовал, как ее глаза уперлись в мои. Потом она схватила обе мои руки и закричала:

– Выбирай! – И принялась целовать-целовать мои ладони.

Я получил право на бзик. Я вскочил, схватил Веру за плечи, толкнул на диван и заорал, кажется, в три горла:

– Божеская жизнь! Это для кого? Для твоей конторы и для кучки паразитов, которые якобы нам подотчетны, а по сути – управляют нами, правят всей державой, даже теми кровососами, что сидят на самом верху! Сама, небось, перед сном каешься и молишь Бога о прощении. А на улице прячешь глаза от всякого встречного – стыдно! Или за двадцать лет втянулась в такую жизнь, примелькалось – глаз не прячешь, перед сном перестала молиться!..

Сколько я кричал, теперь не упомяну. Кажется, Вера становилась на колени и целовала мои ноги, потом укладывала меня, снова же, как ребенка, в постельку, давала грудь...

...Третий год я подписываю отчеты, молча киваю на проекты-мычания Отрощенко, свысока гляжу на свору моих подчиненных – они виноваты передо мной, я для них представитель правой и угнетенной части земляков – некая крыша над злокачественной конторой. Помимо подписи на отчетах – снизу и письмах – навверх, ничего общего с коллективом я не имею... Вера продала обе наши квартиры, через своего дядю, мужика с явно волосатыми, пожалуй, обеими руками, купила роскошное жилье в Царском селе... Да, ходит в интересном положении, проверено – ждет мальчика. Потому теперь по вечерам я пью один.

Прости, Господи, души слабые...

ВЗЯТКА... ПЛЮС

Середина лета, кажется, начало восьмидесятых. Мужчина в расцвете творческих сил Афанасий Колодин и не помнил, что где-то в трех державных институтах города назревают вступительные экзамены. И тут-то в дверь его крохотной, давно не отремонтированной и по-походному обставленной квартирки, какими в те далекие и счастливые времена одаривали людей

театра, робко позвонили. На пороге стоял натуральный Иван Поддубный, только физиономия от смущения вытянутая и патлы давно не мытые, не для цирка и дагерротипа, как у его славного соплеменника.

– Афанасьич, привет из Царедаровки! – мажорно, как человек, наконец-то добравшийся к цели, гаркнул гость.

– Спасибо... – осев, и вроде из-под полы пижамной куртки, шепнул хозяин.

Если бы в таком несовпадающем тоне заговорили актеры на репетиции в его театре, режиссер Афанасий Афанасьич взбелевился бы: вы, мол, слышите друг друга? Что за шепот и гнусавость в ответ на такую здоровую аффектацию! Но тут надо было вспомнить, что это за Царедаровка и кто этот мускулистый, с лицом, поджаренным на открытом июльском ветру, богатырь.

– Маму свою не забыли? Так мы сосед ее, шофер Кобыляко, мы – Иван Минович Кобыляко.

С деревней Колодин расстался двадцать два года назад, сосед Кобыляко, Иван Минович, тогда рядом с маминой хаткой не обретался. Да ладно, хоть какие-то связи обозначены, и этот держиморда, похоже, бить не будет.

– Проходите в комнату. Как там мама? Мама уже два года не приезжала...

– Здорова, – с энтузиазмом заявил Кобыляко, и понятно: такому ломовику все вокруг кажутся здоровыми. – Я только по малюсенькому делу. В долгу не останусь. Сынка надо, того... в институт. На историю захотел, а в бумаге его сплошь «тройка».

– Так я же к высшим учебным заведениям никакого отношения не имею...

– Вы авторитет в городе. А это как на зоне – авторитет! Я знавал...

После такого экскурса в прошлое гость вырос в глазах робкого обывателя, и отказать откровенному земляку как-то неловко.

– Я, собственно, не знаю, к кому податься, – гнусавил Колодин, уже сдаваясь.

Кобыляко потрясал тяжелым, потертым портфелем из чертовой кожи. В глаза бросались немытые пудовые кисти и

черные залежи под ногтями. Человек из народа хочет дитя свое двинуть в интеллигенты. Как тут не посочувствовать? Сам вышел оттуда, и довольно удачно.

Художник сцены впервые решился на неблагоприятный шаг. И впрямь, Минович из Царедаровки в благодарность за содействие подкинет матери в сарайчик уголька к зиме, щепок на растопку. А при нужде в райцентр к врачу свозит – человек на колесах.

Назавтра был понедельник, день тяжелый, зато в театре выходной, – Афанасий Афанасьич вошел в приемную педагогического института. Повезло – там сидел знакомый доцент Шаевский; смелости прибавилось.

– Войдем к шефу вместе, – сказал доцент, пожимая руку. – Я вам послужу переводчиком.

– А что, ректор – чужестранец?

– Да глух он, аки тетеря. Меня-то по губам привык понимать.

И правда, всякую фразу пришлось повторять дважды, сначала Шаевскому, потом ректору, да с повышением голоса и выразительной артикуляцией.

– Имя молодца-то как?

Колодин заглянул в аттестат, понял: род Кобыляк на выдумку не хитер:

– Мина Иванович, по деду назвали.

Вопросы разлетались за пределы кабинета, ответы шли глухо, в стол, однако согласие ректора поддержать некоего Мину Кобыляко из Царедаровки в поте лица было получено.

Три недели спустя, торопясь домой, Афанасьич встретил у своего подъезда двух Кобыляко: расплывающегося в улыбке Ивана Миновича и сына – копию отца, пожалуй, помощнее. Хотел было свернуть за угол, не вышло.

– От жинки моей и от деда Мины кланяемся! – счастливо крикнул отец и, перехватив, пожал руку Колодина от души. – Жинке вашей уже хорошенько поклонились...

Десница режиссера онемела, кровь от нее отхлынула. Колодин извинился, мол, крайне некогда, и хотел пробежать ми-

мо. Новоиспеченный студент молча выкинул навстречу ему свой кулак, тоже полупудовый. Неуклюжий режиссер дернул свою кисть навстречу для пожатия, костяшки ударились об эту глыбу с треском, теперь по локоть рука отнялась. Болела две недели, потом всегда, с наступлением холодов, приходилось носить варежку, даже на репетициях.

Черт с ними, с земляками, в ту минуту Колодин думал только о том, что теперь надо стряхнуть пыль с ладонь и забыть свой грех, называемый, кажется, блатом, навеки.

Не тут-то было. Через неделю супруга предложила Афанасьичу примерить модный костюм, присказав:

- Ходишь в театр, что твой артист Шмага!
- Откуда деньги на такую роскошь?
- Благодарные земляки...
- Муся, я же проповедую нравственность! Всю жизнь! А ты?!
- Не бери в голову. Не мне, а тебе даяние...
- Это же взятка. Верни немедленно!
- С чего вернуть? С твоей копеечной зарплаты? Год без пищи проживешь?

Это был первый скандал в семье. Дальше пошло по накатанной тропке.

Забавный вечер случился в начале октября. Студенты вернулись «с кукурузы», то есть с шефской работы в колхозе. Вечером в дверь не позвонили, а тяжело постучали. Двери напроць заслонял гигант в тельняшке и шкарах. Не ошибешься – студент Мина Кобыляко.

– Я той... – сказал он смущенно. – Я еще в общагу... тут через дорогу... не записался. Я у вас переночую...

И почувствовала семья, что этот вопрос для парня простенький и уже решенный. Ужин для двоих хозяев съел гость один. Утром из обжитой гостем спальни ударил пряный дух прелой стрехи и бычьего вздоха. Будить гостя пришлось в два голоса и в четыре руки. Слава Богу, он не стал ждать убогой яичницы, опаздывал на занятия. Потом Колодины с ужасом ждали великана и на второй, и на третий вечер, естественно, скандалили, поначалу сквозь зубы, потом открытыми, даже для соседей, голосами.

– Это ты взяла деньги!..

– Это ты благодетельствовал!

До января о молодом земляке забыли. Но в разгар зимней сессии в дверь позвонили. С улыбкой во всю щеку вошел Иван Минович:

– Вот я вам от вашей мамы... клумак. И от себя: огородинка, свининка... – И без обиняков: – Минушка мой не управился с какой-то зарубежкой. Зашли бы вы к своему приятелю... того... Выгонят же, а он историю захотел... – И, потупясь, мужик добавил: – Да и про стипендию бы для хлопца моего побеспокоились...

Ну как быть? Выбросить его «огородинку и свининку» вместе с маминым «клумаком», даже не заглянув, что там испечено-поджарено и вызрело в мешковине для сыночка? Не хватает духу, даже слова для отказа не вяжутся. Ведь костюм носит не от Кутюра, а от Кобыляки, начало сделано, коготок увяз... Вот так оправдывается, приживается, освящается взятка, прорастает блат. Вспомнилось: взятки берут пескари, акулы за услугу платят еще большей услугой. Итак, Колодин переведен в пескари, прямо из моралистов.

Приняли даяния, поблагодарили; слова и выразительное их произношение поручались супруге. От себя Афанасьич в конце приема пообещал позвонить о Минушке своему Шаевскому и яростно потребовал больше никогда и ничего не презентовать с крестьянского плеча, горожане не имеют никакой нужды, даже обидятся.

Иван Минович понял городского деятеля правильно. Никогда и ничего больше не дарил ему. Однако поздней весной как-то запросто, совсем по-родственному вломился в прихожую, да сразу с тремя мешками фасоли.

Внес чистый запах ботвы, стручков, подсохшего грунта.

– На рынок прорвался. Цены – ого-го пошли! Завтра и послезавтра торгану. Нехай у вас в прихожей постоят мешки. Они есть не просят.

Ночью, топая в туалет, Муся свалилась через ближайший шувал да на другой. Затрещала, посыпалась фасоль, было шумно на весь этаж, были разборки, сон улетел – мешок штопали

на пару. Два дня базарил землячок из Царедаровки, уехал, а на третий – Колодин обнаружил два полуведерка отборной фасоли – сахарной и «шапочки». Еще были семейные диалоги на высоких тонах. Результат: не по годам сластолюбивый режиссер, обидевшись до доньшка, неделю к ночи не перебирался в кровать супруги. Это больше наращивало отчуждение.

Разрыв в семье замаячил, когда два великана, отец и сын, втащили в квартиру подпорченной семьи больную Гашу Кобыляко.

– Беда, – горько констатировал Иван Минович постфактум. – Спешили на операцию сегодня, а хирург будет свободен для селян завтра. В сенцах больнички места не нашлось. Пусть у вас полежит денек-другой.

На руках ввели посемейному подбору дородную свинарку; в носы хозяев ударило печью, домоткаными ряднами и сажем.

Пережили и эти двое суток. Не скандалили при гостях, не было сил открыть рты и по их отъезду. Решили действовать; посидели нос к носу, раскинули мозгами, как бы отрезать от дома этих добрых, по сути деликатных, селян. Держать дверь на замке – так не знаешь, когда и с чем они нагрянут; в голос и с треском выставить – не хватает душевных сил: мама от них зависит... Прошло предложение Муси, которого уж никак не ждал Афанасьич. Невестка с последним вздохом объявила:

– Заберем маму из Царедаровки, и благодетели сами поймут, что к чему.

Высшая ценность слов была в том, что до сих пор на намеки супруга перевезти мать в город благоверная изобретательно и всячески уклонялась.

Развязка наступила неделю спустя, после воцарения свекрови в квартире.

Звонок в прихожую. Афанасьич и Муся даже не вышли из комнаты. Старуха открыла дверь; издали слышно было ее короткую и по-крестьянски определенную речь. Дверь громко захлопнулась, как бы навсегда...

Боже, неисповедимы пути твои! Не случись морального падения сына, не попади полуинтеллигентная семья на столь ражих духом простолюдин, одинокая и весьма пожилая жен-

щина так бы и прозябала в степной деревне под свист зимнего ветра за окном и при лампадке в красном углу. Теперь же она – домоуправ в уютной квартирке режиссера и при покорной невестке.

И счастлива.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА

На пенсии, когда ты не нужен ни работодателю, ни семье, невольно углубляешься в свое прошлое. Я выбираю лучшие случаи молодой жизни или первой зрелости и смакую перед сном. В бессонницу до того отдаюсь незабвенному моменту, что готов кричать, похоже на Гете: «Вернись, мгновенье!» Однажды даже слезу пустил по живому воспоминанию.

Бирюзовые холмы и лазурное море Геленджика. Мне сорок. В санаторий приехал отвести душу с незнакомкой без претензий и упреков, без того, что вечно сопровождало близость в моем давно и неудачно обжитом доме. Еще в дорожном костюме и с рюкзаком за плечом я наткнулся на сибирячку средних лет. Обменялись обычным приветствием: откуда, надолго ли, одни ли?.. Не то.

В гостинице по соседству разбирала вещи фигуристая землячка; взял на заметку.

Но! Выйдя на первую же прогулку, я разминулся с двумя, едва ли средних лет, дамочками. Мое внимание остановил их простоватый волжский говорок, то есть на «о» и – слово не до конца. Оглянулся, как в песне, чтобы посмотреть, не оглянулась ли она. Ею оказалась поджарая брюнетка с развевающимися волосами и мягкими чертами лица. В первом же взгляде я прочел то, что она, видимо, прочла в моих глазах. Будучи робкого десятка и на вторых ролях в семье, да и в своей конторе, я вдруг почувствовал, что в курортной зоне можно слегка распоясаться. Ничем ведь не рискуешь. И, сделав шаловливый вираж, пристроился к дамочкам.

– Двое – это собеседники, а трое – уже компания, – полоснул я чужой остротой.

Представился: Денис. Та, оглянувшаяся, назвала себя – Сима. Да так обещающе, что имени второй я уже не уловил. Впрочем, другую молодайку я больше не встречал.

Четверть века спустя, за полночь, давно бросив курить и ленясь выйти на балкон охладить голову, я в деталях проживал наши горячие, словно придуманные режиссером и в деталях затверженные мною, свидания.

Захожу в номер Симы – в глаза бросается не ее короткий сарафан и ровные плечики над ним. Неловко подкрашенные реснички и губки сразу замечаю, но сваленные кучей на кровати странные мечи: кривые в разные стороны и прямые, короткие, как у древних римлян, и средней длины, как у поляков времен блеска их короны. Десять, пятнадцать – не сосчитать. Я даже опешил: к чему бы у отдыхающей столько оружия? Женщина уловила мои частые мигания и порыв в сторону двери, хихикнула:

– Это хирургические... для разделки трупов.

– Вы медик?

– Бухгалтер.

Я знаю нашу жизнь, соображаю: женщина служит на заводе-изготовителе этих страшных инструментов и прихватила дюжину образцов, чтобы реализовать для пополнения расходов на курорте.

– Хочешь, подарю?

Я уловил главное: она перешла «на ты» – и только после паузы кивнул:

– Для самообороны... можно.

Еще ярче выступила Сима на прогулке, в парке. Мы выпили по фужеру «Абрау-Дюрсо», потанцевали под голосок Сенчиной: «Я пригласить хочу на танец»... распарились, выскочили за танцплощадку, за аллею, в глупую тень. Я прижал ее, как бы продолжая танец. И тут по телу женщины пошла волна, она опустила руку мне между ног и тыльной стороной ладони застучала, забила, словно лютым кулаком, по змейке. Я возбудился, спросил:

– Пойдем к тебе?

– Да хоть к черту на рога!

Были пляжные дни. Моя партнерша меняла бикини после каждого заплыва. Были танцы каждый вечер – на ней всегда небогатый, но новый наряд, легкий, полуоткрытый, зовущий. В полусвете она смотрелась школьницей, под фонарем ее предавала чуть-чуть растянута кожа на шее и натруженные руки. Я проницательный, спросил:

– У тебя большая семья?

– Две девочки, муж, навещаю свекровь. Достается рученькам.

Дня четыре спустя голова ее совсем закружилась, порывалась доказать, как я ей подхожу, как я ей дорог. Демонстративно брала меня за руку еще на пороге гостиницы, говорила:

– Двадцать четыре дня мои, вмещу в них всю свою жизнь.

Изобрела способ вызывающе, аффективно проявить чувство ко мне:

– У меня сегодня переговоры с мужем. Я хочу, чтобы ты стоял рядом.

– Он не военный, не застрелит меня?

– Инструктор, обкомовская вошь.

– Зачем ты так? Тебе с ним жить.

– После этих двадцати четырех дней – мне по барабану.

Я не был избалован женскими пристрастиями, потому плыл и таял.

Говорила она в трубку сдержанно:

– Устаканиваю нервишки. Ты же за тем меня отпустил. Приеду – не стану набрасываться... ни на тебя, ни на девочек. Поцелуй их за меня... В разлуке вы – самые лучшие.

И оглянулась на меня: мол, как я выдала?

Повторяю: я не был обласкан дома, подозревал, что моя супруга, не столь вызывающе, как Сима, однако время от времени кем-то увлекается. Потому я отвечал неблаговерной жене натужной сдержанностью, не напрашивался на близость, когда чувствовал, что уступит она отцепного. А такое было почти всегда. Потому в Геленджике упивался страстью волжанки и шел на все ее вызовы. Однажды испытал то, чего не случалось ни до нее, ни после, а теперь, после шестидесяти, уже никогда не случится. В густых зарослях, ночью, вдали от фонаря, она спустила змейку на моих брюках, окунула ладонь

под мои одежки, наклонилась и упилась... А ведь это было в годы, когда в стране советов официально секса вообще не существовало, а в быту каждый врал, что представления не имеет о любви за пределами продолжения рода. Кстати, до памятного вечера я тоже заблуждался на сей счет, а бес меня толкал на грехи срамные.

Двадцать пять лет кряду вспомнить и поверить в такое я, весьма заурядный муж и любовник, не позволял себе. Но вот вспоминаю. Сима не фальшивила, она жаждала сделать так, чтобы блаженство испытал прежде всего я. В этом было ее высшее наслаждение. Для меня это были те мгновенья, в которые хотелось кричать: вернись, будь отсчетом моей новой жизни! Веди дальше своей стезей!

Ну почему я не бросил все и не соединился с Симой?

Вернулся домой. Меня встретили с большими подозрениями. Как мужик с природным чувством вины и остатками совести, я отнекивался, но слабо. Ни горячих, ни каких бы то ни было объятий после разлуки жена не предложила. Я старался имитировать радость и желание, выходило неуклюже и бездарно.

Эх, надо было решиться, уйти с волжанкой. Где-то там была другая жизнь, она цвела. Пусть с малым недостатком, пусть на снятой жилплощади, но ведь с милым рай и в шалаше.

Я забывался и счастливо засыпал.

Свойство старческой памяти – выбирать из прошлого лучшее, подходящее для утешения покинутой души. Но кроме подходящего в те далекие дни было и много привходящего.

Оказывается, у меня была восемнадцатилетняя дочь, и весьма одаренная особа. На другое же после моего приезда утро она влетела в кухню и положила мне на тарелку документ.

– Па, я выдержала конкурс в Киевский университет. Аве, Цезарь, мариутури тет салютант!

А супруга, убрав с тарелки вызов на занятия, положив туда рассыпчатую кашу, поучительно молвила:

– Напрасно ты потратил сбережения на курорт.

Да, я обязан в течение десяти дней приодеть и обусть нашу красавицу для столицы, собрать ей сумму на дорогу и на жизнь до первой стипендии. Самое сложное, ради ясной головы и легкого дыхания дочери, мы с супругой, кровь из носу, должны

создать подобающую атмосферу в доме, то есть обеспечить духовные тылы нашей единственной и обожаемой.

И совсем нелепый эпизод из всей моей жизни: не помню, неделя или месяц спустя, но в один и тот же день, в пятницу, тринадцатого сентября, две вести. От шефа: предписание отпавиться мне в Москву в двухнедельную командировку; от телефонного аппарата: звонок из волжского города Горького, естественно, от Симы. Ворох любезных шуток и недосказанных воспоминаний, много вкрадчивого, искушающего смеха и предложение прилететь на пару дней в гости: мой, мол, удалился туда, где мы ворковали «намедни».

И перипетии, которые в пересказе легки и приятны, а при их проживании – бег по пересеченной местности, плутни и долги, в общем, гири на ногах и на душе.

Детали: в Москву я прилетел благополучно, сидел на семинарах в сладкой дреме, но потом изобретал повод, чтобы уговорить руководство отпустить меня на пару дней раньше: дома, мол, неприятности. Попутно питание всухомятку и запивание пустым чаем – экономия на дополнительную, весьма окольную дорогу. Дальше: невежество мое в географии. Я подсчитал, что на самолет мне не хватит, и воображал, что поездом от столицы до Горького – всего ничего. Оказалось – тринадцать часов изнурительной тряски в переполненном, разбитом купе с соседями крепко на подпитии, выдохе, избилующие ароматами стайни, все это при задраенном окне. Не спал всю ночь. И еще страхи: а вдруг явлюсь по адресу, а там что-то изменилось, скажем, худшее – муж вернулся!

По этой части обошлось: муж в санатории, дочери у бабушки в селе. Встретила меня одна желанная, облобызала по-волжски, до боли губ, выставила шкалец и жаркое из курицы (в то время можно удивляться, где и почему она брала курицу). Все шло хорошо, пока не дошло до дивана. А там сказалась нервотрепка, дорога, бессонная ночь... Ни малейшей эрекции. Партнерша едва не плакала.

К привходящему еще привходящее. Внимание к ее телефонным звонкам. Подруга хотела принести долг – хозяйка с трудом отговорила ее; дочери из деревни напрашивались

к маме на выходные... Тут из благой души Симы вырвались две-три интонации, которые засвидетельствовали, что она может быть не чуткой даже к детям, даже жесткой, что у нее есть слова, отличающиеся от ласковых и литературных.

Совсем неприятный звонок уже самой Симы – междугородный, в Геленджик. Деланные интонации, справки о здоровье, обращение «дорогуша», явно проверка, далеко ли опасность – ложь и лицемерие. Я с самого начала ушел в другую комнату, но хорошая полетность голоса женщины, которая мне так нравилась на курорте, донесла до меня и смысл, и тон речей, и вульгарное раздражение...

Потом была сокрушительная реплика:

– Одно дело любовь на свободе и совсем другое – в семейной колготне.

Сбитое настроение поправил ужин со спиртным и умелые ласки хозяйки в прощальную ночь. Я тогда подумал: если разумно одолеть расстояние, если учесть и не повторять все промашки последних дней, то с этой Симой можно проводить отпуск. Тем более что на прощанье она протирала глаза и красиво, снова же книжно, говорила:

– Прости предательскую слезу. – Поэзия!

И доконало эту любовную историю событие в родном городе. Супруга с порога сказала, что у нас был обыск. Только никому ни слова, плохо будет и нам, и дочери. Весь мой запас трусости поднялся из недр души. Не спал, кидался от одной догадки к другой: что за комиссия, Создатель?!

Меня вызвали в комитет госбезопасности. В те годы еще здорово жила память сталинских времен, еще царил генетический страх перед зловещей конторой. Я шел на заклятие.

– У вас нашли оружие.

Оказывается, я привез из Геленджика подарок от Симы – кривой меч, точнее, хирургический нож для разделки трупов. Я забыл о нем, спрятал на балконе – и поделом.

Кто усек его там, кто донес? Но теперь мне его демонстрировали как вещественное доказательство.

– Это же не оружие, – лепетал я, не приходя в себя от оплошности. – Оно мне совершенно не нужно.

– Откуда оно у вас?

– Такая мелочь, мне и скрывать нечего. Привез из Геленджика.

– Поездом? Машиной?

– Самолетом.

– И вас не проверяли? Невероятно!

– Да я вкинул его в рюкзак задолго до отъезда и забыл.

– Кто вам его передал в Геленджике?

– Господи, да бухгалтерша! Продавала такие штучки, что ли...

Я осекся. Но было поздно. Меня попросили описать событие во всех подробностях.

Противно вспоминать, как меня вызывали компетентные органы еще два раза. Краснел и я, дурак, и умник капитан, оба понимали, что дело выеденного яйца не стоит. Но конторе нужна была хоть какая-никакая работа, зарплата-то министерская! Вот и волокитились. Более того, бумаги были переданы в другую республику, в другой город. На службе у меня начались неприятности. Новый проект мой запороли, даже не разглядывая на комитете, не поставили меня в списки на премию, ближайšie коллеги забывали здороваться.

Я уже проклял и свою опрометчивость, и те «прекрасные мгновения», что я пережил на курорте. И тут звонок из Горького. С первого «але», с первого вздоха я понял, что это Сима и что предстоит тягостный разговор... Но была короткая реплика:

– Милый, что ты наделал?..

И я вдруг понял: хирургические мечи только повод увязать деятельность компетентных органов с проступком Симы, чтобы оправдать крупные зарплаты бездельников. Посадят Симу за хищение на предприятии...

...Четверть века спустя. Я один в полуночной комнате. Слушаю по миниатюрному приемнику бредни политиков. Тошно, но не столь тягостно, как воспоминания о лучших мгновениях из моего прошлого. За которое из них не ухватись, всегда зайдешь в тупик. И ни одно не могло стать поворотом к лучшему в моей жизни. Судьба или карма, Бог знает что... но слава Всевышнему, что дни мои были такими, какими они были, и завершаются так, как они завершаются.

РАССКАЗ 2013 ГОДА

Никите Вдовому не нравится, что кабинет местного отделения Национального союза писателей приходится делить с русским отделением такого же Союза. С благословения все меняющегося партийного начальства Вдовый принимает по вторникам и четвергам, а глава русской организации Владлен Немочин – по средам и пятницам. Хорошо хоть те еще четыре аматорских союза графоманов, что оккупировали город, не претендуют на дни в его святая святых – творческом кабинете патриотов.

Не нравилось такое положение дел всегда. Но сегодня!..

Пришел Вдовый пораньше, чтобы до явления редких посетителей вычитать рукопись... и застал дверь не запертой. Хотел было набрать мобильный номер Немочина – что за бардак, докатились, мол! Но руки опустились: за машинально отворенной дверью увидел на широком растоптанном диване распластанного старика. Из окна на лицо довременного гостя падал сноп света, и сразу стало ясно: незнакомец. Не член Союза, не надоедливый графоман, даже не собутыльник ни национального, ни русского глав Союзов. Хотелось растолкать нахала и уже в глаза ему широко и интеллигентно выразить удивление.

Увы, старик не дышал.

Вдовый не заметил, как опустился мимо стула – хорошо, попал на стопку книг местных авторов, давно не востребованных читателями. Творческая фантазия заработала: материал для детективной повести... а лучше – повод стучать начальству, мол, у кабинета должен быть один хозяин... позвонить двум-трем городским сплетникам и со сжатыми челюстями посмеяться над пикантной ситуацией.

Набрал все-таки милицию.

Странно для нашего дремотного времени, но наряд явился через четверть часа. Правда, районное отделение обитало через дорогу.

– Кто покойник? – это доставал блокнот юный и смурной лейтенантик Шипа.

– Я хочу от вас узнать, кто это! – насупился хозяин кабинета. – Я пришел и застал готовенького.

Покойник расположен был со всеми удобствами, застегнут на все пуговицы, замасленная писательскими прическами «думка» со всех сторон подоткнута под голову. Видимо, при жизни покойник был человеком аккуратным и отходил в лучший мир чопорно.

– Следов насильственной смерти я не вижу, – профессионально выразился лейтенантик.

– Как он тут оказался?! – рычал Вдовый.

– А это мы расследуем. Врача! – уже по-деловому командовал офицерик.

Врач испортил всю обедню. Погоняв бликами своих битых, на обувном шнурке, очков по трупу, побряхтев, приняхавшись, прощупав грудь и пах, он расстегнул все пуговицы на усопшем. Еще посверкал очками на веревочке и сказал:

– Старика все-таки насильовали. Вот явные следы полового акта.

– Тю! – ахнул хозяин кабинета.

– Тю или ну, – отозвался юный следователь, – но покопаться придется.

Допросы начались в чуланчике, то есть во временно приспособленном кабинете лейтенанта Шипы. Первым через стол сидел тот же Вдовый.

– Вы давно при должности?

– Это не должность, а служение музе.

– Ну, при музе вы давно?

– Еще до независимости, когда Союз был единый и мне платили за присутствие. – Старый Никита получил возможность высказаться: – И платили за возню с графоманами, и на путевках в Дома творчества не спекулировали, и книжку издать можно было не за свой счет, и обыватели хоть изредка читали местных авторов... Сегодня горсовет даже на оплату помещения, на электричество и воду не финансирует! Там же сидят вчерашние комуняки и кацапы!

– Хорошо, хорошо, – деликатничал лейтенантик. Он был начинающим сыщиком, потому еще не утратил способность краснеть, и сделал это заранее, до сакраментального вопроса: – А что вы знаете про вашего коллегу, то есть про Владлена Немочина?

– И про и конта, все знаю, – глухо рыкнул Вдовый.

– Ну, вот... – Уши Шипы горели, нос играл крыльями. – Ну, он того, не замечен ли в гомо... гомосек... простите на термине.

– Ни в каком сексе Влад замечен не может быть. Старуха его дважды приходила. Мол, не исполняет обязанностей. Откровенничала: даже ходит на него врукопашную, даже по этому, как его, что в Интернете сплошь, по оралу пробует, а он – ни тпру, ни ну! Потом год выслеживала, может, он налево ходит – тоже без результата. Я бы и рад покатить на него бочку, отнял ведь кабинет по средам и пятницам, кацапская морда, только нет оснований ни катить, ни стучать.

– Плохо, – вздохнул начинающий сыщик. – А то свалили бы на москаля и закрыли дело. – Шипа происходил из хохлов, потому кацапы для него стояли в Украине вне закона. – А так придется его допрашивать и, возможно, исходить из его показаний.

– Ну-ну, про меня он то же самое скажет. Мы с ним делились. Скажу вам, служивый, что творческая работа – такая кутерьма, что скорее запьешь или продашься власти предрержащим да имущим, чем прыгнешь в гречку. У нашего брата, у нашего творца, торчит что-нибудь одно – или мозги, или член.

– А как же вы пишете про все такое? Нужен опыт.

– Так был и опыт... еще до независимости.

– Да, много неожиданного принесла независимость.

Шипа был специалистом из новых, потому внимал словам, терпел правду и пока еще не бил по голове. Даже писателей. Отпустил Вдового.

После обеда перед ним сидел Немочин со словами:

– Покойника я не знал при жизни. Вот только благодаря вам познакомился. И как он попал в наш кабинет – чертовщина! Сюжет для небольшого рассказа.

– А что же Никита Вдовый отнекивается и переадресовывает?..

– Чего загребает копытами Никита? Да потому, что при совках я был местным секретарем Союза, один владел кабинетом, и мне даже платили. И книжку мою издали, и не одну. А теперь нас двое, и обоим официально не платят, и мы оба бегаем по одним и тем же спонсорам, чтобы выпустить каждый

свой сборник. Вдового злит, что мне, как русскому легату от литературы, Москва и теперь из-под полы да в конвертике малые подачки подкидывает. А ему ваш Киев – нет, вожди еще наверху все разворовывают.

– Так, может, Вдовый после вашей смены устроил подлог... насилие, чтобы выжить вас?

– Такой ценой?

– А что? Теперь это заурядное дело.

– От хохлов, конечно, можно ожидать чего угодно, но от нежного лирика!..

– Ну, не сам убил... Мог приволочь готовенький труп.

– Притащить на горбу труп? Да у Вдового паховая грыжа и одышка... да и с фантазией у классика напряженка.

– Ясненько... Мы разберемся, кто кого и на стороне или по месту работы... но на вас уже будет кое-какая тень...

– Я понимаю, вы молоды и можете позволить себе говорить глупости, но слушать их я не намерен.

Лейтенант Шипа совсем сгорел и покрылся испариной. В полуобмороке отпустил эту региональную литературную величину, позвонил лекарю.

– Есть что-нибудь новенькое?

– Покойник не был педиком.

– Плохо. Куда же теперь повернуть дело?

– Вломился старик самостоятельно...

– Но с дамой?

– Возможно. Вы выясните, у кого еще есть ключ от кабинета.

Повторяем: Шипа был из новых, потому умный, хоть за бугор еще и не сбежал. Велел разыскать и привести к нему уборщицу. Странно, вместо ожидаемой бабы с совком и венником явился нежный лирик с одышкой и грыжей – Вдовый.

– Я хотел видеть даму с метлой.

– Это я.

– Поясните.

– Пора бы привыкнуть, теперь многие совмещают профессии. Мне ведь не платят, а на уборщицу коммунхоз отпускает полставки, шестьсот тугриков.

– И вы убираете после себя?

– Мы по-европейски, стараемся не мусорить. – И выдал афоризм: – Чисто не там, где убирают, а там, где... и так далее.

– Ну, и как человек, который бывает в кабинете вне рабочего времени, что вы знаете о трагедии прошлой ночи?

– То же, что и вы и некий глава конкурирующей организации Немочин.

– Не много.

– Могу добавить, что еще двадцать лет назад мой предшественник получал регулярно ставку, мог вне очереди издаваться, за полдаром ездил в Дома творчества...

– Это уже мне говорили, и не только вы.

– ...а теперь с литературы, как с козла молока. Я перестал писать и приспособился к венику. До пенсии еще год, а увеличат срок выхода на госпрокорм, то все шесть лет корпеть...

– Успокойтесь, а то ведь получается – мотив для убийства налицо.

– Пардон, с какой целью я мог убить?

– Ну, с целью ограбления, наживы, – сгорая и потухая, плел начинающий следователь.

– Это неплохая идея. Только убить, ограбить и... притащить труп в собственный кабинет – лихо! Это дурь для москальского детектива.

– Ясненько... вы свободны.

– Что вам ясненько? Мотив убийства?

– Ради Бога! Не мешайте следствию.

– Хорошенькое дело! Слепили нелепицу... Там же лекарь нашел версию... сексуальное насилие.

– Жертва есть. А насильник кто?

– А судьи кто? – снова ударил афоризмом поэт и литературный вожак, только это у него уже вылетело от отчаяния.

Лейтенантик с большим трудом вытурил певца любви из своего чуланчика, но Богом данная ему проницательность оставила в юном сердце занозу.

Вызвал вахтера, что при Союзе двух писателей. Пришел Владлен Немочин.

– Можете не объяснять, – сказал Шипа, снова покраснев. – Я знаю творческую биографию Вдового. Ваша похожа, да?

– Похожа, только хуже. Он подметается в конце рабочего дня. А я всю ночь сплю в одежонке на вонючем диване.

– Стоп! – несвойственно своему воспитанию оборвал следователь и уже побледнел. – Так вы дежурили и в последнюю, я бы сказал, роковую ночь?

Маэстро на короткое время потерял дар красноречия, часто замигал наполовину облезлыми ресницами, сделал отталкивающее движение руками, потом загреб воздух:

– Нет! нет! И прошлую, и позапрошлую ночь за меня дежурила... знакомая...

– Можно познакомиться с этой знакомой?

– Ради Бога... Впрочем, что она может добавить? Пожалуй, не стоит.

– Эта знакомая с вами очень близко знакома?

– Какое это имеет значение? Вы подозреваете?.. Да если бы мы были слишком близко знакомы, то на диване вчера вытянул бы ножки – я. Избави Господи!..

– Продолжим наш разговор завтра.

– Да о чем тут разговаривать! Моя знакомая не просто знакомая. Она родственница, свояченица... точнее – родного брата моего супруга.

– Не мне, начинающему сыщику, новому человеку в вашем городе, обвинять столь известного и почитаемого певца родного края.

– Вы правы, правы, но это все было, было – и почитание, и деньги. Куда все подевалось!

– Вы свободны.

– Не вызывайте Катерину, она ничего не добавит. А брат мой не знает, что она числится у нас, думает – в солидном учреждении. Знаете, престиж, она кандидат медицины...

– Ваше учреждение не солидно?

– Господи, когда это было! Теперь это просто кабинетик, за который еще приходится каждый месяц платить от себя...

– И из каких денег вы платите?

Немочин примолк, только потом исходил. Наконец выдал из души:

– Катерина и зарабатывает на оплату...

– Какая же ей выгода дежурить по ночам, только чтобы оплачивать присутственное место, от которого ни работникам пера, ни читателям никакой радости?

Тут старый Владлен совсем заглох. И обывательские, и творческие извилины в нем выпрямились. Встал:

– Так вы меня отпускаете, господин капитан?

– Лейтенант.

– Да хоть и полковник, только отпустите.

Горе с этими новыми: дрессированы, дотошны и выслуживаются. И взятки брать пока не научились... Да и что он, Владлен, может дать?

Уже к вечеру вошла дама едва средних лет. Одета далеко не бедной родственницей, смотрит свысока и на убогонький кабинет сыщика, и на мелкие звездочки на погонах начинающего. Доброжелательно улыбнулась:

– Могу начать, как у Чехова: «Я жила только с вами, больше ни с кем».

– Рад такому вступлению. Думаю, разговор у нас получится налегке.

– А что мне скрывать? Это заблудившиеся в своих вымыслах писаки думают, что «по самой сути жизнь проста: его уста – ее уста». Но житуху не обойти. Новые веяния классиков не коснулись.

– Например?

– Люди старой закалки не дошли, что теперь выгодней не врать. Наболтаешь, а потом... помните, у Писемского: «...а потом помни, носи с собой все, что наврал тому да этому, чтобы не опростоволоситься».

– Люблю просвещенных людей. Но позвольте задать вопрос по делу.

– Отвечаю сразу. Я врач-кардиолог. Безработная. Человек, найденный в кабинете Союза писателей, прожил семьдесят девять лет, умер от гипертонического криза в минуту оргазма. Я не спала с потенциальным покойником.

– Стоп-стоп, позвольте ваши слова осмыслить. Вы откуда все такое знаете?

– Я только попрошу вас, лейтенант, не ходите на наших писателей. Не впадайте в смур. Мы же говорим по делу.

– Ну и в чем дело заключается? Именно с вами я помаленьку впадаю в смур.

– Да в том суть дела, что трое безработных, два классика «с растеряевой улицы» и один кардиолог без малейших комплексов, сообразили, как прокормиться в нашей юдоли. Идея, собственно, моя. Те два подстарка только согласились со мной и дали слово, что даже не поинтересуются той самой сутью, которой вы добиваетесь. Те два олуха даже не в курсе. Их осведомленность кончается на мне.

– Простите, олухи – это кто? Это люди, которые выпустили по десятку книг, которых читают и в нашем крае, следуют их интеллекту и морали и так далее...

– Да, да, в наше время чем талантливей человек в узкой специальности, тем беспомощней он в общей юдоли. Я уговорила двух объединенных дистрофиков положиться на меня. Они днем, ну, до восемнадцати часов, принимают тех одногодвух помешанных, что еще пытаются остаться в поколениях через литературу, а с двадцати часов я убираюсь и дежурю. За это я оплачиваю их рабочее место, вместе с электричеством и водой, ну, Интернетом и прочими выгодами. Главное же – выплачиваю им двойную ставку, исходя из той, что они получали до полной независимости страны, то есть независимости от денег, цензуры и морали.

Шипа бледнел, привычка краснеть навсегда покидала его.

– Откуда же вы берете деньги? И зачем вам такая обуза?!

– Эта обуза давала мне месячный доход в пару тысяч. Это после расчета по хозяйству и по зарплате корифеям.

– Позвольте просто помолчать, успокоиться, – попросил белый, как стенка, лейтенант.

Через добрых пять минут спросил:

– И как это связано с покойником на диване?

– Несчастный случай. Промашка одной из моих клиенток. Не того партнера привела.

– Какого партнера? Куда привела?!

– Лейтенант, откуда столько святости в нашем сегодняшнем сыщике? Объясняю. Я с двадцати часов вечера и до трех-пяти часов ночи сдаю кабинет под интимные свидания. Знае-

те, сколько в городе населения продуктивного возраста и сколько из них не удовлетворены спаррингом дома? Узнаете, не станете удивляться. И вот эти несчастные собирают гроши, чтобы оплатить встречу с любимой в самом надежном, безопасном, вне всякого подозрения местечке, пока власти не помнели и не узаконили открытый доступ...

– Стоп-стоп! И что вы брали с пары?

– Существует тариф. Вам стыдно не знать, мент все-таки! Триста единиц в национальной валюте за час. В смену я перепускала три, четыре, по праздникам, когда фейерверки, иллюминация и речи вождей, – по пять пар.

Лейтенант исподволь становился двуцветным: иссиня-желтым, потом пятнистым, багровым на белом фоне. Все свои двадцать три года парень шел к порядочности, назидательно, сознательно. Через родителей и Святое писание, через наставников из-за рубежа, и вот тебе – первое дело на родине похоже на театр или, лучше, на сумасшедший дом. До чего же далеко зашел народец во время оно!

– Вы устроили малое предприятие? – спросил Шипа, глотая сухую слюну. – Но как отнеслись к этому неблагоприятному делу эти... инженеры человеческих душ?

– У них глаза обращены внутрь, а значит, в прошлый опыт. Наш мир их давно обошел. Впрочем, инженеры постепенно перестали быть инженерами. Затурканные, удумавшиеся, запуганные. У них же – прежде всего фантазия! Когда-то она их кормила, а теперь только усугубляет страхи перед вождями и обывателями и лишает здравого смысла. Да, вы их не подключайте к делу. Они представления не имеют, чем да как я ворожаю в их кабинете.

– Да, но ведь покойник...

– Старик счастливо умер, на женщине, как старый французский президент Феликс Фор еще в тысяча восемьсот девяносто девятом году. Всем бы так, кому за семьдесят! Кстати, за француза никого не судили...

...Назавтра лейтенант Шипа честь честью оформил и сдал дело по начальству.

Меры были приняты жесткие: отныне власти сняли финансирование уборщицы и вахтера и обязали Союз писателей

каждый квартал платить в казну налог в размере шестидесяти процентов от прибыли.

Молодой Шипа снял погоны и пошел в слесари – на такую специальность у нас самый широкий спрос. Разумеется, если не считать нужду в путанах и сутенерах.

ГЕРАНТОФИЛКА

1

Позволю себе только вытянуть ногу и приподнять одеяло. Ну, еще взглянуть вдоль голого живота. Что там делается на поверхности, когда внутри – шабаш щекотных гномиков? От них импульсы по всем полостям и мышцам – до сердцебиения и краски на лице. Блин, здоровье бывает в тягость!

Вскочить, толкнуть окно, да так, чтобы форточки рассыпались, и принять воздушную ванну. Увы, мой старшенький, шестнадцатилетний Игнат, тоже поднимается к шести утра, я с ползунков убедила его, что час утренней пробежки заменяет день рационального питания. Он может выглянуть из второй клетушки, «детской», если называть ночлежку словами из учебника. Для него мамыны тридцать пять – это почтенный возраст, а голой тете являть себя почти взрослому сыну – смешно. А то еще средний, Арик, домашний Эйнштейн, в такое время, случается, бегаёт к параше – перед ним тем более надо блюсти скромность. Из этого умницы и мама и, за нею, братья делают интеллигента. То есть идола среди избранных и дурачка в житейском разумении. Для него в нашем обиходе пока нет грубых слов, исподволь внушаем, что женщины – существа бесполое и живут только для того, чтобы кормить, одевать и гладить по головке, но не для возбуждения греховных мыслей. А ведь тинейджеру уже тринадцать лет, и он – дважды победитель столичных конкурсов на лучшее изобретение. В самом углу чулана спит малыш, Сенька, это буйное существо, если застигнет на горячем – сразу укажет пальчиком на сокровенное место на теле и заорет: «Ах вот чем ты писаешь!»

Наброшу ветхий халатик, подойду к окну и тихо открою. И в квартирке покой, и с коммунального дворика никто не обратит внимания, хотя сосед Гриша спит в трех метрах, под своим окном на раскладушке. Вчера люмпен средней руки пришел ночью в стельку нетрезвым, с пафосом ломился в свои двери, потом в окна и не был допущен к телу своей безмерной благоверной.

Похожу, пару раз присяду, не столько для зарядки, – с шести утра заряжусь с метлой вокруг школы, – но ради забвения ноющей тяги к мужику. Эх, одиночество!

Такова утренняя жизнь в собственноручной пристройке к капитальной стене старого, еще пленными немцами слепленного барака. Подогреваю картошку на сковороде, завариваю чай, высыпаю на тарелку хворост, похожий на свернувшиеся уши, – вкуснятина! Ем на одной ноге – не хочу поправляться, до пятидесяти пяти моя фигура должна вызывать у встречных мужиков потребность оглянуться. Натягиваю задубелые джинсы и пролетарскую блузку, разумеется, из секондхенда, пишу инструкцию для Игнаши. Знаю, парень минуту-другую побудет мамой для братиков, то есть передаст им мои указания.

Спокойно выхожу на Приморскую и прогуливаюсь до своей школы. Своей, потому что в ней я закончила одиннадцатый класс, прочла всю библиотеку, потеряла невинность. И вот после трех лет молодых заблуждений, после трех лет недостатка и затем утрат, когда мне некуда было податься, я прибилась к стенам альма-матер, как говорит Арик. И вторые одиннадцать лет я тут – навожу порядок во дворе и за двором. Царская это работа! С шести до девяти подметешь тропинки, выковыряешь ошурки-окурки из-под деревьев, походишь граблями по газонам и – с девяти перерыв. До шестнадцати просто в робе бегаешь по торговкам, разбросанным у перекрестков на тротуарах, – тут бабки да детки торгуются, не замечая тебя. Потом, наскоро принарядившись, посещаешь универсам. Там надо смотреться дамочкой со спросом – случаются подходящие мужчины, авось познакомится который. Часа два возишься в своей ночлежке с газовой печкой, стиральной машинерией. Попутно выстраиваешь младшеньких, среднего – ученика с

апломбом, малого – просто свободного гражданина, то есть дворового гулену, проверяешь уроки и поручения. Под вечер снова метла, совок да грабли. В листопад и снегопад – двойная оплата дня. Трудно? Нет, я крепкая, к тому же – многолетняя привычка, главное же – куда денешься? Унизительно? Нет. Если собрать в большом зале при хорошем освещении и честном жюри всех бальзаковских и старше бальзаковских женщин, раздеть до ниточки и разобрать по косточкам – я попаду в призеры. А работа моя ничуть не унизительней дела маклера или политика. Я могу встать перед Богом в чем мать родила, а они прикрываются одеждами от кутюра и словами от вождей-лжецов. Они вообще убеждают себя, что Бога нет, иначе им придется сильно раскаиваться. А зарплата? Пусть они подавятся своими десятками тысяч. Они из грязи да в князи, потому гробут как в последний день Помпеи. Разумеется, на мою ораву не хватает моей тысячи двухсот гривен, я принуждена подрабатывать во все тяжкие. Тут уж пусть Господь меня прощает. На душевном уровне держит меня моя гибкая душа, а больше – мои очень удачные парнишки, хоть они и от разных папаш.

Отец старшего, Кира, приставал ко мне с десятого класса. В угаре естественного девичьего желания, после школьной экскурсии, в перелеске, с оглядками и со всеми неудобствами, я ему уступила. При втором же свидании, у него на кухне, я поняла, что он не предел моих мечтаний, и после всего, под настроение, выдала:

– На многое не надейся. Пока дружим. Но если я встречу кого лучше, то уйду от тебя.

Не встретила получше ни год, ни два спустя. К тому времени не попала в институт, пошла на пыльную работу, родила Игнашку. Все такое развело с мамой, и без того ненадежной родительницей. А моему Кире я маленько приелась, в сносях не понравилось мое брюхо, мое упрямство завести ребенка. Он охладел, нашел для себя забаву в мелочной мести этакой дуре за его, Кирилла, юные унижения. Скандалили год и два.

И тут я наткнулась на крутого дельца Першина, постарше меня, при «Тойоте», при малом бизнесе и «больших связях». Этот одевал меня в тонкие платья, в трусики из двух полосок,

приговаривал: «Это чтобы приятно было раздевать». Перешла к нему. Родилось дитя любви – Арик. Еще через год второго моего предали «связи», он разорился, сбежал за рубеж. При этом загодя и тайно продал квартиру, в которую так и не удосужился меня прописать. Те же его «связи» выбросили меня с Игнашкой и Ариком на улицу.

К тому времени я научилась делать замес, класть кирпичи, тесать доски, резать жечь. Стан мой креп и развивался, а руки я, как могла, берегла. Натягивала резиновые перчатки, смазывала на ночь кремами. Полтора года я строила себе двухкомнатную лачугу с кухонькой и душем. Сильно помогал мне сосед, умелец из карпатских вуек, Гриша. Воровал для меня со своей фирмы стройматериалы, в отсутствие своей безразмерной горгоны прибавал доски к стропилам, натягивал им же добытую жечь на кровле. Под конец рабочего дня, опрометью сваливался с крыши и бежал встречать супругу со службы. Я смеялась, это мне казалось милым...

Денег Гриша не просил, брал натурой, походя, в обеденные часы и целое лето. Не скажу – насиловал, для меня, при круглосуточной занятости, это тоже была отдушина. На другое лето уродился Сенька. Гриша к тому времени был на службе уличен в воровстве, немного посидел, заметно спился и... легко доказал мне, что никакого отношения к малышу Сеньке не имеет.

– Ты такая файная газдыня, что только слепой о тебя не спотыкнется.

Я и рада была такому разрыву. Уж очень приторным и каким-то узким душевно всю дорогу был Гриша.

2

У черной калитки школы меня ждал пожилой гражданин. Издали казалось, что из него осыпаются опилки. Заговорил он размеренно, точно выбирая интонации и легко расставляя слова по местам:

– Простите, вы мама Ария?

– Я. А что с ним?

– Вчера было все хорошо, даже очень. А сегодня вы лучше меня знаете, что с ним. Я хочу передать ему этот короб.

Из-за спины старика выкатилась «кравчучка» из тонких металлических планок, к ней был принайтован картонный ящик.

– Это что-то из станции юных техников?

– Нет. На той неделе я сидел в жюри, был поражен талантом мальчика... И вот узнал, что ему нужен процессор. Я дарю ему.

Мужик говорил такое и молодец не по часам, а по секундам.

– Это же бешеных денег стоит! – фальшиво вскрикнула я, уже готовясь протянуть руки.

– Отнюдь. Мне его подарили. Я только передариваю. – И с молодеватой улыбкой: – Так часто-густо случается, когда получаешь вещь, тебе уже не нужную.

– Неудобно, ей-богу. А как же «кравчучка»?

– Завтра захватите на работу, я буду тут прогуливаться, заберу.

Я ждала этого, и подстарок или старик, в общем, еще пока мужчина, смерил меня, ну, не с ног до головы, а наоборот, щеки его слегка схватились жаром, он помолодел уже лет до сорока с хвостиком. За плечами его теснились далекие годы, но сами плечи были ровными, из-под чистой рубахи в голубую линию оказывали себя остатки былых мышц. Морщины на лице укладывались гармонично, даже живописно, цвет и текстура кожи говорили: человек не пил, не курил и, скорее всего, не был изнурен нашей сестрой.

– Счастливо! – сказал он, смущаясь и отступая. – Люблю талантливых мальцов.

...Три часа я терла асфальт с одной мыслью: хотя бы никто не уволок «кравчучку» из-под лестницы в вестибюле.

В свой дворик я вкатила, словно на тройке, в хижину – с грохотом:

– Арик, вот тебе подарок! От деда, только не Мороза, а Купала!

Получилось почти белым стихом. У меня это часто получалось, я много читала в школе, заучивала красивые выражения и стихи, запас на всю оставшуюся...

Этот зануда-сыночек не бросился вскрывать ящик, не оторвался даже от компьютера. Как всегда, тоном нашего завуча или киношного начальника отдела спросил:

– Потратилась? Теперь будешь горбатиться... Мам, я же тебя просил!

– Иди сюда, по шее схлопочешь!

Дальше были рассказы про странного старика, охи, хотя бы не одумался и не пришел забирать подарок, смеха полные штаны. Но только до того момента, когда в коммунальном дворике прогудел и заглох таксомотор. Вошел мой первый, Кирилл, натоптанный от постоянной сухомятки и полусуточного покачивания за рулем.

– Привет! – с этакой приятцей хозяина не только дома, но и положения дел просипел он.

Прошелся по всем четырнадцати квадратным метрам и упал бочком на диван.

– Ты с чем?

– Уже настрожилась? Как водится, изредка, проведать сына. Как он там?

– Не там, а здесь. И почему ты всегда являешься, когда Игната нет дома?

– Жаль, что и Арий дома.

Сальный намек – дудки, родуля! И таким противным сразу обрисовался мой первый, и с виду и по сути. Невольно вообразился рядом этой грузной явью стройный и милый старикан с «кравчучкой» и с совершенно иными словами.

– Игнаши скоро не будет...

– Значит, отдышусь, хлебну чайку и – будь здорова, не кашляй.

– И когда все такое кончится! – выдала я в потолок.

– Тебе не нравится, что о пацане еще кто-то думает?

– Ты думал бы рублем, а не визитами. За полгода ни гроша! Кати колбаской!..

– Знаешь, оставь я отпрыск без надзора, с твоими завихрениями, сын по миру пойдет.

Я триста раз ему напоминала, что он не признал Игната при рождении, имел его в виду и долго потом. Но сегодня уже

не повторялась, чтобы не дать ему материала для дальнейших препирательств. Ну будь это нормальный хахаль, я бы с ним поделилась проблемой старшего сына. Подросток заявил, что может к осени жениться. Это в неполных-то семнадцать лет. Девушка старше почти на два года, живет с мамой в хорошей квартире, студентка... Я дала от ворот поворот: рано, не распишут, первая накипь, по-детски не разберутся, разойдутся, гляди, с довеском, не приведи Бог, и будет еще одна история, копия моей. Но это – будь Кирилл нормальным мужиком. А так ведь ему нужен только повод для разногласий и скандал для перекура. Все мстит мне за трудную первую мою уступку, за то, что теперь я не сломалась, даже с тремя клювами, которым надо каждый день что-нибудь принести. Еще за то, что на его попытки подменить его супругу мной, скажем, в обеденный перекур, я не поддаюсь. Кипятился не раз: «Я знаю тебя, ты бесишься без партнера. Поди, бегаешь по блядкам!» Но, голубчик, вот тебе двойной шиш! Куском ракушечника разотрусь, только не твоим обмылком!

И как же он противен на сегодняшний день – в сравнении с дедулей при «кравчучке»!

Задача: навести справки – фио дедули, род занятий, семейное положение, возраст. Впрочем, возраст – субстанция относительная. На моих глазах в течение пяти-семи минут мой незнакомец прожил двадцать лет в обратном исчислении. Да и на черта мне возраст и прочие данные? Просто – хорош Влас, да не про нас. Судя по чуткости к детям, старик морален, глядя на мягкие черты лица, надо думать, мягок он и по всем составляющим.

Пока готовила обед, кормила свой штат, бегала на вечернюю работу, утренние впечатления скрадывались. Но к десяти вечера, когда затолкала молодежь в их чуланчик, приняла душ, одним глазом понаблюдала малую эротику на телеэкране, в памяти плотно встал утренний подстарок. Особенно под одеялом и при выключенном ночнике. Вид у него был бравый, черты лица затвердели, мышцы налились и просматривались сквозь рукава и штанины. Заснула я с ним в обнимку. Проснулась с поллюцией.

«Кравчучка» протиралась дважды. На дно ее, в фольге и целлофане, был положен шмат вчерашнего пирога с вишнями и записка от Арика. От пирога я стойко отгоняла молодежь – съели бы, а среднего своего под угрозой возврата процессора принудила написать пять благодарственных слов, причем самостоятельно. Получилось в духе подростков, понятно, без «клево», «типа», «прикинь», «гонишь» и проч., но все же:

«...теперь Мика и Зезя почешутся. А все grandfathers – тип-топ!» – Мерзавец владеет иностранными language, да не одним, и получше своих училок. «Овода» прочел по-английски, а «Трубку Мегрэ» – по-французски.

Этому разбойнику все простишь, уж очень удался. Подарок по электрону разобрал и собрал, похоже, лучше, чем японцы, при этом напевал английские и украинские песенки точнее многих богатеньких звезд. Ради такого на все пойдешь.

3

Вдоль забора старик шел, словно впервые, покачивался, нащупывал дорожку подошвами и, похоже, считал опоры. Хотя даже ежик поймет – он уже устал ожидать.

– Простите, я вас вчера не поблагодарила как следует. Здравствуйтесь! Вот вам от сыночка. И от меня. Записка, конец пирога...

– Записка – хорошо, пирог – лишнее. Как к вам обращаться?

– Назову себя Гантенбайн.

– Что-то знакомое.

– Швейцарец. – Я хотела понравиться сразу: обликом, живостью и начитанностью. – Макс Фриш. Но меня зовут короче – Ганна.

– В таком случае, я – Штиллер. Только зовут меня Евгений Евсеевич. Профессия – пенсионер, покинутый, что ли. Супруга давно-давно исчезла, поехала в Италию, на заработки, по догадкам, там и осталась. Вернется – внесем исправления в анкету.

Для начала можно распространяться долго и подробно. Вообще же я не имею времени на разговоры. Тащить тележку с мусором, готовить завтрак, предаваться базарчикам на обочине и секондхендам, особенно в дни дешевой распродажи, – это

дело. А пускать в мир слова, от которых и без моего красноречия тесно, говорить подробно то, что понятно с первого звука, – не мое. Для начала следует расшаркаться, как пишут классики, и удалиться, как это – восвоися, деликатно и с достоинством. Но так хочется оставить след в памяти щедрого старика – такой может пригодиться.

– Еще и еще раз большущее вам спасибо, уважаемый Евгений Евсеевич. И – я бегу, ждут большие дела, совок и метла!

Снова получилось почти стихами, хоть и с чужого голоса. Наверное, мне сподручней было бы сидеть в больших аудиториях, потом в редакциях журналов, но... судьба-злодейка привела рабу божью к мусорникам. Ах, ударим горем оземь, будем вертеть мыслишки в голове и тем забавляться.

Мой добрый знакомый уступчиво посторонился, кивнул. Я одарила его улыбкой, списанной с экрана ТВ, и оттуда же перебросила фразу:

– Может быть, мы когда-нибудь встретимся!

Он ухватился за ее конец:

– Я тут часто прогуливаюсь. Живу рядом... с семьей сестры.

...Назавтра мы снова столкнулись у черной калитки, нарочито и как бы невзначай. Я торопилась, но больше делала вид, что тороплюсь. Он даже виду не подал, что хочет задержать меня. А может, ему это ни к чему? Весь день я с остервенением лопатила накопившиеся отходы жизнедеятельности школы, драной верейкой тащила к мусоровозу. Напарница удивлялась моей прыти. А толкала меня внутренняя колготня. Отчего это другие дамочки могут позволить себе принарядиться, уцепиться под руку к богатенькому, пускай поношенному, как шутят мои напарницы – молью траченному папику, и пойти в ресторан (или тайно свернуть в сауну, в конце концов – на хату). Отчего это в городе в три раза больше людей так называемой свободной профессии: начальнички, рантье, их драгоценные мажоры, бездельники и их обслуга, – больше, чем нас, чернорабочих? Они позволяют себе посиделки, полежалки. У них и время и деньги не дефицит. А тут и рада бы, и подвернулся бы случай, так нет ни времени, ни денег. Ото сна и сладостных мечтаний сразу к печке и команде огольцов, из домашней юдо-

ли – к обширному двору, который, словно яма, чем старательней раскапываешь, тем она становится обширней. В большущий перерыв тоже варка-стирка-построение своих молодцов, а еще те круизы в поисках дешевизны на зуб и на задницу, о которых я говорила... И снова круг мыслей по новой: почему в городе больше начальников, налоговиков, учителей, контролеров, рассказчиков о жизни, чем людей самой жизни, то есть тех, кто пашет мотыгой и метлой? И почему у них больше времени и, главное, больше денег?!

Ах, пошли они на хер! Я научилась даже получать удовольствие от своей карусели... Ах, пусть им пусто будет, я завтра примчусь к черной калитке пораньше – и мы бросим треп с милым Евгением Евсеевичем, хоть короткий, но наш.

Домашнюю работу я переделала с большим ражем, принимала душ так, словно наладилась в постель к новому знакомцу. А спала без снов. Утром вспомнила скромный анекдот о голодном, которому приснилась каша, но не было ложки; на другую ночь положил под подушку ложку, но не приснилась каша... И сильно хотелось любви, самой откровенной, до самого доньшка. С тем и побежала к метле.

Приготовила «доброе утро» с прибауткой, но стояло недоброе утро. Собиралась морось, и моя хворостяная подруга не соберет как следует окурки с проталин между плитами двора. На ходу, поправляя пояс, несчастливо, наотмашь задела битую калитку и поранила костяшку на правой руке. В довершение заметила, что мой славный рассветный собеседник вольготно уходит от ограды, и по его сонным, апатичным телодвижениям не видно, чтобы он помнил меня, ждал встречи. Но не на ту он наехал. Я просто должна показать ему свою благодарность за подарок. У меня нет ни рубля, ни интересных знакомств, чтобы свести его с просвещенными остряками, рыбаками, «доменщиками», театрами и развлечь. Я одна, и все мое – со мной, могу занять человека только собой. С женщинами такое не проходит, с мужчинами пока – да. Догоняю его, как бы собираясь сегодня пройти во двор через парадные ворота, и этак по-мальчишески окликаю:

– С дождичком в четверг вас, Евгений Евсеевич!

Он приостановился, почувствовал, что инерция моя толкает его идти рядом, ступил дальше:

– Я и не сориентировался, что сегодня и дождик и четверг.

– А я как раз торопилась поставить вас об этом в известность.

Мы оба поняли, что разыгрываем комедию, искренне рассмеялись.

– Постоять бы где-нибудь под навесом. – Это он.

– А лучше посидеть в уютной обстановке. – Это я.

И я почувствовала, что можно пойти на многое. Отчего? Да оттого, что не только головой, но и всем телом вспомнила ночную тягу к нему, оттого, что мне нечего было терять, а еще – он выглядел таким беззащитным и неоперившимся, точнее, потерявшим перо воробышком. И, оправдывая мое видение этого почти преклонного мужчины, Евгений Евсеевич сказал:

– Мне больше не с чем к вам прийти.

Я положила свою левую ладонь на правую кисть, зажала сочащуюся ранку, столбенела. Он виновато свалил руки вдоль туловища, вперился в меня и, сдается, отключился. Нам обоим было очень хорошо.

– Ганна! – слышалось из-за забора.

Понятно, корявая моя напарница сегодня явно под хмелем, иначе не посмела бы орать. Я вызывающе не обращала внимания. Лицо Евгения Евсеевича ожило улыбкой провинившегося школьника. Он игриво сказал:

– Кажется, вас зовут Ганна. Вы не забыли?

– Да, я вынуждена подчиниться.

– До завтра? – Он не прощался, спрашивал.

– Завтра я выходная. Потому встретимся на Приморской, девятнадцать. – Я не предлагала, я рекомендовала. – И непременно условие – с пустыми руками. Первая благодарность – с моей стороны!

– Время, время? – опрометью залепетал он

– В десять вас устроит? – я спросила, но так, что поправок не ждала.

4

В мозгах заработала вычислительная машина: пошли подсчеты предстоящих трат: на звонки, на «хату». Вечером ищу вырезки, где значены и пока не тронуты номера телефонов, нахожу тот, что на Приморской, – звоню.

– Это Приморская, девятнадцать? Простите, я по объявлению.

– А вы откуда? – не голос, а щупальцы, звук подавленный и вроде старушечий.

Я злюсь и тем энергичней говорю:

– Снявши голову, по волосам – что? Правильно, не плачут. Раз уж предложили в газетке комнату, да еще с пометкой «почасово», то чего уж!

Голос прокашлялся:

– Да знаете, в теперешних властях вдруг проснулся интерес к морали обывателя. А тут еще насилие в городе, слышали?

– Наслышана, только насилуют мужики, а я женщина, потому про насилие – в последнюю очередь.

– А может, вы наводчица?

– Вы дура? – Я спросила запросто и готовилась бросить трубку.

– Нет-нет! – Возглас предупредительный, вдруг помолодевший и естественный, видимо, последний вопрос убедил хозяйку: мы одного поля ягодки.

– А раз нет, то к делу. Написано – тридцать гривен час...

– Тридцать. Но ведь еще теплая вода, полотенца, свет. Объявления пишутся, чтобы привлечь клиента и не дразнить власти.

– Ну и?..

– Семьдесят-восемьдесят.

– Это чересчур! И свет отпадает, я на десять утра. Тут – снижку бы...

– Ладно, шестьдесят.

– Как организуем?

– Я по бедности сдаю собственную комнатку. – Все же доля вранья просочилась: на случай наводки будет куда отступить. Нищету даже наши зажавшиеся власти уважат. Она про-

должала: – Потому: вы приходите – я ухожу, я прихожу – вы уходите. И ровно час.

– Для нас, женщин, можно уложиться. А у мужика может не сработать. Потому – пятнадцать минут туда-сюда...

– Господи, поразумеется! Я ведь только начала, и не с доброго дива...

Она еще накатила плацдарм для отступления, а мне накинула еще несколько копеек. Накрутило пару гривен. Теперь – откуда оторвать эти шестьдесят деревяшек? Убеждаю себя: первый сервис за мой счет, от «а» до «я». Процессор стоит сотни, а скорее – тысячи. Да-да, три тысячи! Изнутри чувствую, что старик пошел на крайности. Из каких благих побуждений? Действительно увидел в Арике то, что первой почуяла я, а потом инженеры из станции юных техников, а потом жюри и наших и столичных конкурсов? А может, тут заурядное: путь к сердцу матери – через ребенка? Да не один хрен! Старик – качественная особь, мне он выгоден и приятен.

Роюсь в углу, за образами, тут загашник. Деньги на еду семье и на проезд для моего гения до далекой спецшколы и до станции юных техников, все по должным купюрам – в шкатулке. А вот на непредвиденные траты и на женские штучки – за образами, туда моя борзая команда не лазит. Бог простит, я там и презервативы прячу.

Без четверти десять я звоню в чужую дверь. Треснутый звонок, облупленная дощатая створка, стенок, слева и справа, щетка не касалась годами. Да что, у этой бабы руки не оттуда растут? В каморке ее, наверное, дерюжки да мусор. Загляну и... откажусь.

На пороге молодая фифа, лет эдак под тридцать, во всем коротком, и физика удачно подрисована.

– Я, наверное, ошиблась дверью?

– Нет-нет. Проходите.

Однокомнатная квартирка на последнем этаже «хрущевки»; убрано, квадратный диван под тонким покрывалом, дверь в ванную открыта, и там порядок.

– Простите, мы не закончили ремонт, – начала была хозяйка.

– Ладно, не будем терять времени.

– Я не буду торопиться, вы дверь плотно прихлопните. Тут – замок, ключ у меня.

Так бы в открытую и сразу. Я необъяснимо задержалась:

– Договорились. Вот шестьдесят гривен.

Расстались. Я села на край дивана и вертела в голове все разом – и предстоящее свидание, и противоречивость слов хозяйки – по телефону и с глазу на глаз. И мои сексуальные ощущения, тоже противоречивые: абстрактная жажда близости и – подростковый стыд перед солидным, более того старым, человеком. Отблагодарить его надо, а иных средств, кроме натуре, у меня нет... Тьху, я это уже передумала сто раз, только нервничаю.

Встала у двери. Потом вспомнила, что я не назвала ему номер квартиры, что подъезд внизу может быть захлопнут. Отвела защелку, чтобы не заскочила и у меня не получился «разговор с голым инженером», как у Ильфа и Петрова. Спустилась к парадной – и сразу наткнулась на Евгения Евсеевича.

– Здравствуйте! Я вас жду... – Зачастила, дурковато засмеялась и пошла впереди, пусть смотрит снизу вверх на покачивающиеся бедра, это вместо эрекции, эгоса и прочих поднимающих тонус снадобий. – Лифта тут... у нас... нет. Пятиэтажка. – Почему «у нас»? К чему примитивная ложь?

– Ради Бога, ради Бога, – тихо и тепло успокаивал меня мой гость.

В слегка затемненной комнате Евгений Евсеевич смотрелся здорово. Прическа под старинное каре, серая куртка в обтяжку, довольно узкие брюки – ну, хват, хоть в карету и на позднее сватовство, как в старых книжках. Стоял точно посредине комнаты и доставал из узкой сумочки бутылку и снесь. Я ахнула:

– Вы на что это настроились? «На хате» не приняты выпивки-закуски. Тут время коротко, только свидание.

Старик явно впервые в такой кутерьме, явно человек ископаемый, из запретных времен.

Я убрала его сумочку на столик и ударила во все тяжкие. Поворачивала его к окну, стягивала с его плеч курточку, расстегивала рубашку. Он вздыхал:

– Я угадал вас по вашему сыну. Увидел издали, стремился к вам, пришел... и не смею. Не могу же я отнимать вас у ваших сверстников.

– Мои сверстники не годятся для полноты... – я не все слова помнила из книжек. И пошла говорить по факту: – Сверстника жди, придет – не придет. Потом пои, корми, ублажай и еще на обратную дорогу дай. Наше время – не ваше время...

Я осеклась: получился острый намек на старость Евсеевича. Спотыкнулась на словах, но словно не я, а кто-то другой во мне рьяно взялся за его змейку на брюках.

– Я... вы... – Он краснел лицом, дрожал телом, пыхтел, разводил руками, как бы возражая, но, по сути, потворствуя мне.

– Раз уж мы сошлись...

Настолько Евгений Евсеевич смотрелся подтянутым и свежим в костюме, настолько же – размякшим и опущенным неглиже. Загорелое лицо покрылось испариной, да просто выглядело вареным, белая кожа на груди обвисла, брюха не было, на его месте висела дерюжка, покрытая изморозью. Ноги и руки вырисовывались странно: кожа и кости отдельно, а дряблые мышцы при сем присутствовали. В зобу у меня возникло два противоречивых позыва: смешинка и тошнота. Но раз уж сошлись, раз уж я затеяла!..

Я не помню секунды, даже мгновения, когда я содрала с себя платице и трусики. Я застала нас уже на диване. Видимо, я толкнула обессиленного, полуобморочного партнера в грудь, а он покорно упал на спину. Видимо, я устроилась над ним и чувствовала себя коршуном над битым голубем. Мне сладкой чудилась эта истерзанная кем-то до меня туша, я жаждала ее.

Может быть, у нас что-то не выходило. Но если долго мучиться, что-нибудь получится! Только в самый разгар моих трудов, когда я еще не употребила все мое, и не только мое, но накопленное всеми любовницами мира искусство, Евгений Евсеевич стал задыхаться, то вытягиваться, то каменеть под руками, холодеть... Наконец откинул голову и с последним выдохом прошептал:

– Когда-то... в молодости... я шутил... умру на женщине...

Человек умер в минуту оргазма. Это лучшая смерть...

Но что делать мне? Первое побуждение идет от моей одинокой, деятельной, привыкшей полагаться только на себя и стоять за себя натуры. Одеть труп, вытащить в подъезд, волоком спустить двумя-тремя этажами ниже и звать на помощь. Мол, невинно шла, увидела и, естественно для женщины, испугалась. В мои горячечные планы ворвалось трезвое «я»:

Следователь спросит, куда и к кому я шла? Черт его знает!.. Не только в этом подъезде, но и в этом доме у меня не было знакомых. К тому же медики найдут на старике следы близости, возьмут анализы у меня... Есть выход: бросить покойника и убежать. Пускай расхлебывается хозяйка. Она меня не найдет, не знает адреса... Нет, найдет – знает в лицо. Главное же – совесть меня замучает. Эта внутренняя свекровь во мне жива и держит в узде до чертиков. Сколько подлостей я ни придумываю, страх перед душевными страданиями отменяет их, я поворачиваю к смирению. Сижу и рыдаю. И это здорово, легчает. Сознаю, что последний раз я рыдала над больным Ариком. Но то были подавленные, бессильные слезы. А тут вызывающий рев, а с ним ругательства, скандал, тьху!

Я, голая, нащупываю мобильный телефон, звоню в скорую, звоню в милицию. Сижу, не одеваюсь.

5

Следователь – полутяжеловес с обветренным крестьянским лицом и взглядом до того тупым, что смотреть ему в глаза опасно. Кажется, по простоте души, без помехи просвещения и трудов мысли, а может, благодаря невежеству он видит людей такими, какие они есть на самом деле, то есть мелкими или крупными преступниками. Остается только выяснить, в каком роде злодеяний задействован этот или эта...

– И как вас угораздило стать причиной смерти уважаемого ученого?

– Что я должна отвечать?

– Ну, вы были последней в его жизни. И следы ваших рук остались на всем его теле.

– Была и осталась. Между прочим, последние слова Евгения Евсеевича были вот какие: «Я умру на женщине». Я только случилась той женщиной, на которой ему повезло умереть.

– Медэкспертиза к вам претензий не имеет. Но у меня есть.
 – Вашей конторе в текущем месяце для плана не хватает одного убийцы?

– Прекратите! Вы на допросе.

– Да, но только как свидетель.

– Как свидетель смерти. Но замешаны вы и в ином нарушении закона. Вы потворствуете сутенерам и... этим невинным квартирным хозяйкам – «на сутки, на час». Это же, извините, чистой воды проституция.

– Чистой воды? Не грязной?

– Не ловите на слове.

И пошли вопросы издали. Семейное положение, место работы и заработок, давно ли занимаюсь «этим постыдным делом»?

– Одинокая мать, трое детей. Делом «чистой воды» не занимаюсь. Встретилась из самых добрых побуждений. Евгений Евсеевич мне был очень по душе.

– Но вы знали, что пошли «на хату», то есть в притон свиданий?

– Думала, что женщина из бедняков, потому не приучена извлекать выгоду из всего, что попадает под руку. Такая уступает площадь интеллигентному мужчине по душевной слабости и безвозмездно.

Я красиво уводила от себя все обвинения. Покойник – не ответчик.

– Да! – рыкнул крестьянин в капитанских погонах. – Эта ваша «женщина по нужде» держит на самых разных улицах четыре однокомнатные квартирки под «хату». И таких у нас на крючке до полусотни. Вот как развилась индустрия сексуальных услуг в нравственной стране!

– В нравственной? Наезды, рэкет, коррупция, кумовство, бравада ворованным, засилие мажоров, продажное радиотелевидение...

Я готова была еще перечислять. Раньше не выстраивала в один ряд все эти познания, но капитан-крестьянин сам разбудил во мне зверя. И пристукнул рычащим басом:

– Вы не то выбираете из моих слов! Ключевое – у нас на крючке полсотни «хат»!

Я и тут нашлась:

– Что, и на все «хаты», это пятьдесят множественное на четыре, на все двести квартирок хватает клиентов? Вау!!

Бас ослабел до баритона:

– Ну, пятьдесят, я загнул. Но за четырьмя особами мы следим...

– А не берете почему? Не созрели, или их хорошо крышуют?

– Послушайте, уважаемая, у нас не кухонный разговор. Я при исполнении!

Капитан-крестьянин еще долго воспитывал меня. Среди прочих упреков был и такой:

– Вы хорошо устроены, получаете зарплату – как вы могли пойти по рукам?..

– Пока не ходила. А зарплата у меня в листопад и снегопад доходит до тысячи двести. А в пригожую погоду поменьше. И горбатиться мне приходится с шести утра.

Он посмотрел в документы, убедился, что я не вру, и вздохнул:

– Да, а эти бляди получают в день, по меньшей мере, триста-шестьсот.

И тут универсальный специалист, пользуясь отсутствием третьей пары ушей, в весьма дружеском тоне, похоже, тенором и пьяно, дополнил:

– Понятно, у блядей тоже заметные расходы: на жилплощадь, этим владельцам «хат»... треть... на крышу. – И, не то спохватившись, не то наводя на мысль, снова на низах добавил: – Но жить уже можно.

Слова о крыше выделялись. Мой Арик сказал бы: курсивом, петитом или черт знает чем, в большую или меньшую сторону... однако я перехватила мыслишку. Оба мы помолчали, он дал мне срок понять, и я поняла. Себе в тряпочку я сказала: а ведь чудак в погонах намекает: продолжай, ходунья, легкий промысел, только не бескорыстно, сама выживай и другим помоги пожить. Опекать тебя могу я. Да, он даже долю, треть, ему причитающуюся, назвал: треть на крышу.

Я встряхнулась, выпрямилась, молча просигналила: вас поняли, беремся за голову. Таким образом, от правосудия я

отделалась даже не испугом. И без мимических упражнений слишком надежные аргументы были на моей, теперь заодно со следствием, стороне. Капитан-крестьянин во главу оправдания поставил процессор. Дорогой подарок среднему сыну говорил следствию о добрых отношениях не просто двух взрослых и одиноких людей, но чуть ли не о дружбе семьями. Хозяйка злополучной квартиры перемигнулась со мной, когда капитан отвернулся. Потом она посигналила капитану, когда я наклонилась поправить туфлю. И запросто уверила, что звонил ей Евгений Евсеевич; значит, и тут вина на покойнике. Трое детей у меня на шее и отсутствие всяческой поддержки со стороны беглых отцов и непостижимого здравым умом государства хранили меня пуще древнего талисмана. Там же я поняла, что хозяйка злополучной «хаты» не впервые перемигивается с правосудием.

Меня отпустили с извинениями и сочувствием. Квартирную хозяйку наш гуманный тиран приглашал еще дважды. На чем они сошлись, дело тонкое и освященное аурой нашей житухи. Увиделись мы с нею три дня спустя и мило посоветовались, как жить дальше. С этой матерой пройдохой нас сплотила общая беда державы, то есть – органы милиции. А характерами мы просто совпали. Она меня выручила чуть-чуть, а я ее – всю.

Потом целую неделю я горько размышляла. Не у каждой свободной женщины случается смерть любовника в постели. Я слышала где-то, что так умер не один волокита: за год на женщинах, чужих и своих, умирает до пятидесяти тысяч страсто-терпцев, от алкашей до президентов. Читала у писателя Тополя, что на лужайке от страсти одновременно умерли молодожены из бедняков.

Странно другое: чем дальше уходил из нашего мира старик Евсеевич, тем милее и чище вырисовывался он в моей памяти. Я вспоминала других мужчин, близких к пенсионному возрасту или пенсионеров, и убеждалась, что к ним душевная тяга у меня была чувствительней, чем к сверстникам. До Евсеевича в этом я просто не отдавала себе отчета. Господи, я, наверное, должна была родиться поколением раньше. Там круги мои,

там мои мужчины. Захотелось достать фотографию этого «известного ученого», как назвал его капитан-крестьянин, и повесить над кроватью. Он примелькался бы, тяга к нему при-тупилась бы. А то – надо бы клин клином, но другие стоящие мужчины мне не подворачивались.

Я снова стала много читать, и все литературу особого рода – сексуальную. Мои познания заметно расширились. Я поняла, что плотская любовь терзает не только меня, что в грех впадает каждая вторая или третья женщина, надо только точку везения.

Еще в течение нескольких недель я раскладывала по местам все, сказанное капитаном из крестьян. Нашла в его словах много интересной и полезной правды. Сто раз прожевала под-сказку, насущное руководство к действию. Просчитала мою жизнь и мои заработки, сравнила с жизнью и доходами некоторых моих сестер по несчастью, то есть тех, кого угораздило родиться в моей стране и в мое время. Дотошно разузнавала про тех из нас, кто ударился во все тяжкие и...

* * *

...Минуло чуть больше двух лет. Всякое утро я позволяю себе просыпаться позже даже моих повзрослевших парней. Хожу в модных блузках и свитерах из мериноса, на высоких каблуках. Питаюсь сама и кормлю свой эскадрон летучий из хороших магазинов и домашней кухни. На лето отправляю младших детей на море; старшему, Игнату, даю достаточно денег для его амурных нужд. Ночью сплю без кошмаров и поллюций.

Да! – продала свою ночлежку, добавила доллары, ну и не без помощи государства купила в рассрочку небольшую трехкомнатную квартиру.

...Причина моего процветания негласная. Моя новая подруга, хозяйка уже пяти квартир под почасовую и посуточную сдачу, утвердила меня в правоте поступка, то есть смены скучной профессии дворничихи на доходную – путаны. Она же навела меня на свою свекровь, у которой я недорого сняла заброшенную дачу. Окраина города, рощица, совсем близко последняя остановка двух маршруток. Без посторонней помощи я

обустроила подход к этому приюту любви. Недолго сочиняла скрытные объявления для Интернета и для частных газетенок, дальше пошло по линии «ОБС», только не «одна баба сказала», а «мужик – мужику», которые в сплетнях ушли дальше баб. Вскоре поймала золотую жилу. Привадила клиентов только почтенного возраста, вроде Евгения Евсеевича, – надежный народ. Вдовы старики или семейные подстарки, дома лишенные восторгов любви, люди при деньгах, они обычно жадны к воспоминаниям молодости, к упругому телу. Ценно то, что они блюдут свое здоровье, а попутно соблюдут и мое. У меня их целый штат. С каждым из них я стараюсь жить его блажью. Один предваряет акт историей из своей служебной, спортивной или амурной жизни – я слушаю и переспрашиваю, да так горячо, будто только и жду его рассказней. Другой – с порога требует ласки. Этого я раздеваю, ставлю под душ и протираю уже в порыве объятий. Третьему подай восторги и стоны, четвертому выложи всю свою подноготную, пятый требует «гробового молчания» и клятвенных заверений, что я о нем ничего не стану расспрашивать и, тем более, никому не передам его тайн. И все ждут комплиментов их потенции. Я птица стреляная, баба начитанная – и крылышками помашу, и песенку насвищу на любой лад. Скажете, пошло, коварно, подло! Увы, почитайте кое-что о гейшах. Да что там развитая Япония! – послушайте правду про чукчей, уж на что народ из анекдотов, но и они в науке страсти далеко ушли от нас. Дорогому гостю хозяин жену на ночь подкладывает. Я работаю над собой, трачусь на подходящие фильмы и книги, даже репетирую вычитанные или увиденные приемы. В наше время – хочешь жить по-человечески, становись настоящим профессионалом. Замечу: я не разбиваю семьи, даже не огорчаю пожилых женщин и старух, как правило, сплошь фригидных, больных и уставших от жизни, а более – от своих мужей, не способных поднять им настроение и...

Да! – крышует меня майор (подростий на службе капитан с крестьянским лицом) – надежный мужик. Работа у него такая. По своим каналам напоминает коллегам по ремеслу, что я неприкосновенна. Изредка сигналил на мой мобильный, что в

сторону моей худой дачки направляется милицейский патруль. И – каждый месяц снимает с меня, наверное, не менее, чем вторую свою майорскую зарплату. Полагаю, что у него таких налогоплательщиков, как я, не одна: в условное место ко мне за мздой он подкатывает на новеньком «порше».

C'est la vie! – как говорят там, где моя работа есть работа, а мне все такое по-французски и по другому поводу сказал мой средненький сынок, Арик, которому теперь мамиными сомнительными трудами торится дорожка и в университет, и в аспирантуру, и в порядочные люди.

Только приходится торопиться: все труднее выгладеть на первые тридцать пять лет. Главная же опасность: власти, исчерпав нравственные источники дохода в бюджет, планируют узаконить проституцию – и пойдут мои каторжные доходы на их скромные налоговые и карманные нужды.

ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Явились две мужеподобные дамы. Осмотрелись и притерли доцента Ивана Миновича Хлопотова к столу.

– Дома – никого?

Не знаешь, что и отвечать. Если это грабители, то лучше бы в комнатах был кто-нибудь еще. Однако правда всегда перла из квелого преподавателя наобум: род самозащиты.

– Сын... у девушки. Жена... дочь... никого.

– Мы с вами подпишем контракт.

И водрузили на столешнице крохотный, но дутый саквояжик.

– Тут сто тысяч. Деревянными. – Рядом лег «гербовый» лоскут бумаги с цифрами и росчерками. – Подмахните. От вас требуется только одно – молчание. Вас не потревожат, если не проболтаетесь. Купюры ваши. Но распустите язык... вы, ваша супруга, дочь, сын, вместе с его телкой...

Благоденствие под амикошонским гарниром. Но ведь манна небесная при полставке доцента, надомной работе Анны Николаевны, сыне-дипломнике, дочери-выпускнице!.. Дверь в пред-

банник рассыпалась, коммунальные платежи – в долг, в отпускные дни – пятый год на привязи!.. О чем разговор? О чем молчание?! Тяжелые взгляды незнакомок теснили. В угаре раздумий доцент подписал, заикаясь, не находил слов, чтобы выяснить, какой это жгучей тайной он вдруг овладел. Устрашающие дамы исчезли. Хлопотов застыл изваянием с руками на молнии саквояжика.

* * *

– Несешь книжечки к букинисту? Давно пора. Только кто теперь читает!

Это Анна Николаевна вернулась с летучего рынка. Сухие ребрышки, позавчерашняя зелень, полбуханки черного хлеба, столько же белого – рацион семьи на день. Прошла на кухню – слава Богу! Пошуршала пакетами, звякнула утварью, потопталась у раковины. Спрятать бы тем временем саквояжик: спросит ведь, откуда такая обновка. И правда, за спиной голос с горчинкой:

– А носильные принадлежности выдали на каникулы? – И сочувственный смехок человека, привыкшего к лишениям.

Иван Минович даже глаза зажмурил: примется осматривать, пробовать молнию и ощупывать изнанку. А там! Собственно, а что там? Фантазии притомленного мозга, мираж, как у жаждущего в пустыне, голодные спазмы, как в студенческие годы, да и ныне и присно. Скорее всего, разыграли матроны простака перед выборами... Впрочем, именно на переломе и случаются чудеса – Гоголь, Гофман, Булгаков. Дернуть застежку, но – тут явление жены из спальни, и если все же купюры – конфискация. А ты еще не знаешь, твои ли это средства и, главное, за что тебе отвалили... За молчание? Но какое? Может, вообще не говорить вслух? Ученый эксперимент на немых? Допустим. Но он может участвовать только до первого сентября, до вступительной лекции по классической литературе. А там заговорит и – верни денежку! А эта теперь отнимет... Нет, нет, тут скрывать нужно что-то конкретное, опасное для правящих сил. Так доцент знает только то, что могут пересказать видящие, которые видят, и слышащие, которые слышат. А

вдруг молчать означает не голосовать? Ерунда, за голос нынче платят полсотни тех же деревянных и больше. Верно, милые дамы оговорились: тут сто гривней на все семейство, которое с правом голоса, а саквояж – вроде презента.

Супруга топает на кухню:

– Неси, неси, разгрузи букинисту и скажи, пусть забирает все, не артачится, у тебя товар стоящий.

И понесет Иван Минович, только не букинисту, а в свой подвальчик, задвинется бревном и распустит змейку, сосчитает: сто или сто тысяч. Сто тысяч!

Это же больше, чем его многолетняя зарплата. Поправишь здоровье, прибарахлишь свою молодежь, уймешь вечные стенания благоверной... Только бы не очередное надувательство. Дамы уж больно крепки и с виду и на слово: подмахните, деревянные, телка – сплошной сленг.

Хлопотов изобразил на лице полное соответствие своей фамилии и образу жизни, для шумового сопровождения – вздохнул и взялся за ручку драгоценной носильной принадлежности.

– Я через часик! – заурядно бросил через левое плечо.

А сам подумал о валидоле. В полутьме дернет застежку, увидит лоснящиеся сотки-двухсотки – и с копыт? Пощупал нагрудный кармашек: спасительные средства на месте. А жена – вослед:

– Будет еврей артачиться, забирай домой, не унижайся! Подумаешь, Мендель-букинист! Только саквояжик не оставляй ему!

Инструкции получены. Но как их выполнить? В подвальчике окажется, что внутри таки деньги. Их надо затолкать в тайничок. Хорошо бы в этой искусственной кожице! Но придется разгружать за сырые доски. А там мыши... Как же устроиться, чтобы и клад упрятать, и этот мешочек для путешествий предъявить благоверной? Еще одна незадача!

– Ладно, ладно! – бодренько крикнул с коридорчика, сокрушенно потрогал разбитую дверь и замер.

Найдется тряпка завернуть деньги, принесет жене емкость, так она тут же потребует стоимость литературы! Тут на

хромой нас не объедешь: букинист выплачивает после реализации. Все оттянем минуту расплаты.

Но не успела спасительная мысль влететь в голову, как навстречу – Рома со всем триумфом молодца, крепко переспавшего с любимой девушкой, и – счастливый баритон начинающего спеца:

– Папан! Ты куда? Давай я оттарабаню.

Этику следует поощрять, даже при таком наглom посягательстве. Но из самого горла доцента вырвалось с долей страдания:

– Нет! – и обе руки прижали поклажу к животу. – Это книги!

– Я столь же дорожу твоим хобби... – начал было сын в отцовском духе, однако понял, что старания здесь напрасны, и только округлил глаза.

Хлопотов благоразумно не пошел через двор прямо к подвальчику, а сделал круг мимо соседнего, двадцать шестого номера. Мысли стремились в разные стороны. Назад, к Роману, мол, слишком сильно рывкнул на него «папан», невольно парень примется расспрашивать у «маман»: что у вас случилось, опять поцапались? Надо бы следить не только за словами как таковыми, но и за их произношением. А вперед, обгоняя доцента, мысль моделировала выемку в стене, смещенные и задвинутые доски, замену лампочки в чуланчике на слабенькую, чтобы ковыряния и крепления не бросались в глаза. И тут же его оседлала красивая идея – эдакая выходка по возвращении: мол, оставил все же саквояж у букиниста, вдруг да не продадутся реликтовые издания, что их – под мышкой нести обратно! Нет, «реликтовые» – словцо это надо исключить: примется допрашивать, что из редкостных книг уходит на пропитание, придется выдать пару названий. Анна Николаевна разберет мужа по косточкам и по каждой косточке ударит. Потом глянет на полки, во второй ряд: что же осталось? И обнаружит поименованные вещи на месте. Соврал! Зачем соврал?! Получается, дорожную торбу оставлять нельзя. Подумаем-подумаем. На грех, думалка захромала. Даже внутренний монолог стал сбивчивым, а лексикон – далеким от преподавательского. Что-то мещанское, затрапезное лепилось.

В подвальчик Иван Минович ступил не сразу. Как бы походя долго осматривался по сторонам, с лентой отворял – замок не подавался, а открыв, оставил зев нараспашку, кому-то пробормотал:

– Пусть проветрится...

Разговор самого с собой смутил подстарка и живее толкнул в полутьму. Изнутри повеяло безопасностью, надегой... Тьху ты, что за ляпсус, с какого криминала? Но, тем не менее, тут можно перевести дух и пока еще при не отключенной властями, едва дышащей лампочки вскрыть, вспороть, отвергнуть сундучок. Ну, впрямь тебе скупой рыцарь из Пушкина. «Нет правды на земле, но нет ее и выше!» И читал, читал доцент взаперти, как на кафедре. Взбалмошная память не делала ошибок в тексте. Руки закупоривали вход изнутри, ноги покошачьи ступали взад-вперед. Наконец уселся на трухлявом чурбане, поставил меж колен ношу, подумал: перекреститься, что ли? Сорок лет от роду держали товарища атеистом, десять лет назад позвали в церковь. Прежде Бога не поносил, ныне молитв не творил. Но тут само изнутри взывало к сверхъестественным силам: помогите, не слукавьте, не подвергните еще одному испытанию, душа не выдержит. Пауза. Что считать испытанием: приятие этого, вполне возможно, данайского дара, который поведет к падению того, хотя бы паршивенького Рима, в котором обитает его интеллект, или же балаган, который устроили пришлые гренадеристые молодки. Может, лучше, если в чреве этого мякенького сундука – зияющая туфта. Ей-богу, лучше бы завершилась вся эта суета сует и томление духа нарезанными и спеленутыми бумажками. Знает же родная классическая литература вопиющие примеры. Хотя бы Иван Тобилевич, «Сто тысяч», Калитка, куклы-пачки...

Небрежно, с легким презрением, чтобы не задохнуться остатком воздуха в гортани в случае афронта, Иван Минович отодвинул саквояж. Потом возвел очи горе и неуклюже перекрестился, даже перстами задел свой остренький носик. В общем, заходил с двух сторон, от Бога и от милиции, как учил современный классик Шукшин.

И распорол змейку с зажмуренными глазами.

Открыл один, кажется, правый глаз близорукий.

Прокладка из толстого целлофана. Разумно и обнадеживающе: пачки-куклы с такой тщательностью не укладывали бы. К тому же можно еще пожить несколько секунд в неведении. Надеяться. Надежда – это самая сильная сторона христианской религии. Скажем, на царствие небесное в случае, если земное подведет...

Уже с расширенными глазами потянул целлофан. И кощунство, и крест – забыты. Отмежеванные от стенок сумки в жилой истоме прижались друг к другу чистенькие пачки купюр... Как котята под кормящей мамкой, как ладони в сердечном пожатии, как Мцыри с барсом... Что там еще? «...Сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей»... Такое описать могли только великие.

Верхняя заклепка, видимо, тысячная, тут же была разорвана. Все то же – Шевченко!

Но у Тобилевича пробная пачка была неподдельной. Рука выхватила из середины вторую, разняла, третью – то же. Подлинники. Обе руки Хлопотов запустил в недра саквояжа – воистину пушкинский скупой.

Долго унимал глупое сердце, потом вспоминал свое раннее марксистско-ленинское воспитание и позднее – ветхозаветное, от Исхода, то и другое учило стоять выше алчности и денег. Но все это формулировочки, чтобы не чокнуться. Похоже, первый удар в мозжечок он уже получил: купюры в горсть – и по всему телу разлилось тревожное безразличие. Он на пике Гималаев, цель достигнута, то есть карманы полные – все доступно. Подобное состояние Иван Минович вкушал не раз: зимой долго заворачивает дырявый носок под пальцы, украдкой обувается, – все равно ведь от пищи не оторвешь пятерку, – и вдруг размечтается о шерстяных, с молдавской оторочкой да по самые колени. И возвращается к мечте перед сном, носом в подушку, когда другие спят, когда другие мужчины пересчитывают свои плотские победы и планируют пополнение донжуанских списков. Бредит вечер, еще вечер, может быть, месяц – вдруг! Утром в прихожей, под обувницей, на его видавших виды полусапожках лежат роскошные, молдавские, с оторочкой и до колен... Хорошо, но о чем же мечтать теперь перед сном?!

Успокоился и тут же взволновался. При Тобилевиче-Калитке куклы изготовлялись так: сверху и снизу настоящие купюры, а вся пачка – канцелярские обрезки. Теперь техника пошла на семь миль вперед, сегодня ничего не стоит на компьютере наштамповать все сто соток, и тысячу, и десять. Фальшивки это в саквяже! Выдергивал по одной, смотрел на просвет в сторону ехидно подмигивающей шестидесятиваттной лампочки, настроился было помять, но осекся: вдруг придется предъявлять в банке, пересчитают, осмотрят, что подумают о его порядочности? Эк, достать бы на стороне хоть одну с Шевченко, сравнить бы!

Пауза. Есть способ: считай про себя до сотни, успокойся – мысль придет. И пришла: взять одну из середины, самую заурядную, и сходить в пункт обмена валюты. Мол, нашел или ткнули на сдачу... Нет, сдача – это глупо. Из какой это денежки Гаргантюа дают сдачи сотенными? Лучше нашел, только находят мятые, хотя бы примоченные. А портить – окстись! Выпить бы, пришла бы смелость, а то, гляди, – идеяка подержче. Из каких выпить? Из неприкасаемых же? Нет, обойдемся без стимуляторов.

Хлопотов сделал три вдоха, выбрал одну сотенку, отложил. С несвойственной ему ловкостью разнял старые доски, сунул туда сумку от Шехерезады, свел края обшивки вместе, загримировал липкой землей с пола и трухлявым сеном. Постоял, подумал, может, перекрестить? Но решил, что это будет уж слишком лицемерно. Бог не поверит. Посмеется. И сам улыбнулся: «Господи, ты же учинил всю эту комедию, так уж доиграй ее до конца. Не требуй от меня лишнего, мы же с тобой разумные существа. Ты – поболее, я – поменее, так уж руководи, коли ты и в самом деле есть. Сделай хеппи-энд, не добавляй в мире уныния, ибо, по Твоему же Писанию, уныние – великий грех».

* * *

И зачем доцент упомянул имя Господа всуе? Минутой спустя черт толкнул, да не под локоть, а в сырую дверь чулана. В проеме нарисовались контуры двух гренадерских фигур в юбках. А из горла ученого вырвалось:

– Не отдам!

– Мы ошиблись адресом.

В нынешнем деловом мире много времени не тратят на разъяснения и увещевания. Нынешние крутые и около не приучены считаться с чувствами ближних, а тем более дальних. Узловатая десница сгребла шиворот Ивана Миновича и запросто откинула все его поношенное тельце к противоположной стенке.

Подруга, то есть – сообщница, в первое же мгновение сориентировалась на запах валюты.

Доцент потерял голову, сгреб задвижку двери, ринулся колотить ею по женским спинам и по головам, которые проповедовал прежде студентам – уважать...

Был профессионально избит: под дых, в чело, в скулу и снова под дых. Затем старым тюфяком выброшен за дверь...

Долго не возвращался домой. Сооружал версию, куда девались сто тысяч... Тьху! – уникальные книги. Догадывался, что редкие издания в стенном шкафу. Да, но саквояж? И вообще, откуда подтек у левого глаза, ссадина во всю скулу, одышка?.. Вроде заплакал.

Таким его и нашла Анна Николаевна. Даже обняла и ахнула. Он гундосил:

– Ограблен. Два амбала... вроде Романа... может, студенты...

– Вот жизнь пошла! – сокрушалась супруга уже на кухне, ставя примочки. И утешила совсем в духе времени: – И все же что-то в жизни меняется. Видишь, не крышки люков, не кошельки, а ценную литературу начали грабить. Помаленьку возвращаемся к нормальной жизни.

Д Ж О Н Н И И З Р А Й О Н А

Я заметила его с первого семестра. И ждала. Я горожанка испокон, он – Джонни из района. Помните, сто лет назад хохол перепевал, кажется, мексиканца:

Я до тэбэ так и сяк,

Ты до мэнэ, як босяк.

Джонни, мабуть, ты з району!

В селе его окрестили Никитой (Мыкытою), сокурсники звали Ник. В отличие от джинсовых мальчиков и девочек, он ходил в легком костюме, сшитом продуманно по его скроенной по лучшим образцам фигуре. Говорил на суржике, но с первого раза слова подбирал точно по смыслу и не любил повторяться.

Схожих ребят, от первого до пятого курсов, было несколько, но то были городские, сплошь качки и мажоры, пусть мелкого пошиба. А Ник был из деревни и как-то естественно хорош собой, чертовски аккуратен и нахватаен основательно.

Мое внимание он остановил еще при сдаче вступительных экзаменов. В буфете, за соседним столиком, он рассказывал про свою временную хозяйку:

– Гиблая молодница. Потратила весь свой запал на переселение из хутора в город, да еще силилась перетащить за собой своего тяжелого на задок Грицка. Долго дралась за угол дворика, за прописку, за то, чтобы признали своей на слободке. А когда осела, оглянулась: хатенка коммунхозовская, Грицко сбежал, служба – при метле в собесе. Теперь вымещает обиду на властях, на ценах, на жильцах. Перехожу в общагу.

Кругозор, лексика, гонор – откуда в деревенщине! Озадачил меня парнишка. Как он будет тягаться со сверстниками, у которых связи, обжитые кафешки, папа-мама под боком?

Приживался широкими шагами; деликатно, с малых услуг подкатил к дипломнику, мажору Артуру. Нашел с ним общий язык – футбол, тусовки, со временем и какое-то общее дело, что-то негласное, загадочное. «Старику», видимо, кстати пришелся «салага».

Артур звонил Нику по мобильному, часто эти одного роста и хорошей пробы парни рядом спускались по длиннющей университетской лестнице, переговариваясь шепотом, вдруг оставались, возвращались. Понятно, всякому рыцарю нужен оруженосец, а протаку хочется поскорее нажать навыки и повадки коренных хватов.

Интерес к Никите у меня был нездоровый, то есть необъяснимый, вроде бы даже греховный. Копала вокруг него незримо и постоянно. Узнала, что за род он оставил в деревне. Раскопала драму.

Отцу парня, – редкое имя, Гурий, – едва сорок лет. Он долго служил в тридцати километрах от дома, на атомной станции, пожарником. Потом вдруг увлекся... телятами. Да, да, купил клочок заброшенной, поросшей кустарником, ягелем и листовницей долины. Получил в приданое домик и сарай, оградил все это валежником. Сбросил униформу спасателя, надел спецовку скотника, скупил за бесценок пять, потом пятнадцать молочных бычков. Косил траву – благо вдоль пересыхающего ручья она стояла лесом, – протянул трубу к сараю, к загону, установил желоба. Назвал себя ранчером, в короткие часы отдыха, упав под копну, читал книги только о фермерах и ковбоях. В первую же позднюю осень сдал посредникам два десятка быков, раздал долги, купил трепаный пикап. Нанял пьяницу-отставника, даже бывшего старшего офицера, себе в ковбой и возрадовался. Но только на час.

Мать Никиты была и оставалась красавицей и модницей. До шестнадцати лет она жила в глуши, которая называлась Деревня – одна улица. Но эта улица была сплошь утыкана фруктовыми деревьями, которые цвели и распускались весной, плодоносили летом, их кора творила стойкий аромат зимой, в мороз и оттепель. За каждой из двенадцати хат в причудливой природной ограде бушевал присмотренный, потому щедрый огород. В садиках роились миллионы пчел. Чистота, аромат, достаток. Людей мало-мало, но все по-гоголевски коренастые, ряженые и красивые. И как такое выжило в колхозное время, а потом в разруху независимости?! Просто – власти забыли про степной хуторок и его смиренных и себе на уме обитателей. А среди них оказался один подлинный кулак, то есть породистый хозяин, – это был дед Даши. Староста или сотник – негласный авторитет, благой и чистый, он и держал душу в телах казаков.

На голове у девушки в теплую пору пестрел веночек из полевых цветов, зимой отливала серебром ушанка мехом наружу; в садах ее не кусали пчелы, в сараях и гумнах от нее не улетали ласточки; в холод к ней за кочаном кукурузы прибегали зайцы. И круглый год почталъон, проезжающий из района, слезал с велосипеда или бидарки, заговаривал с полевой царевной, дарил ей книжки. Сказка – ожидался принц.

Такой явился на пожарной машине с целой командой крепышей в касках и с брандспойтами. Пожар случился на холме, в коровнике, и упражнявшийся неподалеку отряд из атомной станции заметил его и помог погасить.

Воду в крохотной бадейке, такой же сказочной, как она сама, вынесла Даша:

– Мама сказала – попейте и умойтесь.

Умывался один видный парубок с шутками-прибаутками, Гурий. Потом он заезжал на выходные, как бы попутно. Год спустя явился с отцом и матерью. Сосватали. Даша согласилась: в районный центр ведь переезжает, хоть и поселок, но городского типа...

Там выучилась на бухгалтера. Статная, ухоженная, с манерами панночки, она была приглашена помощницей в приличную фирму.

Эти двое, Гурий и Дарья, растили сына по-городскому, ни в чем не отказывая: велосипед, компьютер, поездки в город, только учишься и выходи в люди. Выходи в люди – пунктик матери...

Я избрала Никиту. Ждала. Он подошел как бы проходя мимо, споткнулся о мои глаза перед экзаменами:

– Хочешь автомат по праву? Сто долларов Федюну. – Федюн – это его другой приятель, выпускник.

И, хохотнув, убежал. Шутник – хоть поверьте, хоть проверьте.

И снова долго смотрел поверх меня, хорошо, что и мимо других девушек. Странно, с битыми ребятами он вступал в дискуссии на равных, порой даже нагло перечил лекторам, неуважительно отзывался о власти предрежащих, а девушку за руку взять не решался. Потому не танцевал на вечеринках. В бар заходил со старшими и как старший, но спиртного, даже пива, в рот не брал. Когда закуривали, отходил «подышать». И, словив одну бровь, эдак заученно и к мысли говорил:

– Я запрограммирован на восемьдесят пять лет, как в приличной стране. Урезать свой век никотином не стану. – И держался, хоть поверьте, хоть проверьте.

Моему лисьему терпению приходил конец. Возраст – все больше тянуло к этим, в брюках. А они подкатывали, кто со

смутными намеками на общее будущее, кто по-современному – сразу «на хату» звал. Я отшучивалась, оставляя надежду, а сама сторожила этого, выскочку – Джонни из района, Ника. И однажды меня прорвало. Он пригласил Федюна – этого барчука и любителя новых впечатлений, – с его машиной на экскурсию, в хуторок его деда, в Село – одну улицу. Случилось это на кафедре, при мне. Меня пронизал ток: шанс ведь! Смежив веки, похоже на манеру Ника, полушутя напросилась. Хоть поверьте... стыдно, но я навязалась. А хозяин транспорта поддержал:

– В дороге всегда не хватает спутницы...

Федюн, насколько я его знаю, сообразил, что в аромате степи неплохо бы испытать еще одно ощущение – потискать известную на втором курсе недотрогу. Прихватили меня.

Была дорога, вначале гладкая, потом с выбоинами, далее – проселок с красивым шлейфом пыли за спиной. Пыль долго стояла в небе и в горле.

Но был и урок для души. В Селе – одна улица жила крохотная церквушка. Ухоженная, огражденная старинным камнем, с прозрачной банькой и канатом от главного колокола до паперти, чтобы слепому сторожу сподручно было звонить. Ник взмахнул ладошкой машина встала у ворот. Парень не приглашал нас. Мы машинально вошли следом за ним. На открытом клиросе уныло пели три старухи, из-за царских врат, размером с форточку, подавал голос священник. В узеньком нефе – ни одного прихожанина. Церковка пустела вослед за хутором.

С порога мы, двое спутников деревенщины, формально перекрестились, Федюн иронично, я – ни туда ни сюда. Никита же подошел близко к алтарю, истоиво крестился, шептал молитву звучно. Потом взял «хустку», лежавшую рядом с иконой Христа, медленно, почтительно наклонился, поцеловал лик Божий и трогательно протер образ со следами своих губ. Да-а... Мне захотелось поверить в Бога.

Обедали в хижине прадедушки Никиты. Малая чарка – только старик и Федюн. Я бы пригубила, но не пил Ник, и у меня рука не потянулась. Потом прошлись по пасеке... брызгались студеной водичкой из чистой криницы... распугивали стайки певчих пичужек. И правда, страна забыла о хуторке без

названия, он жил вечной, исконной, изначальной и высокой жизнью. В нем было много нового для меня, цветного, ароматного, напевного и – нетронутого, полудикого. Но я замкнулась на выходце из этих отсталых, роскошных в своей бедности земель – на пареньке, которого здесь звали Мыкытою.

В обратную дорогу я завлекла Ника на заднее сиденье и сама взяла его руку. Как бы для того, чтобы обратить общее внимание на перебежавшего дорогу фазана. И не отпускала.

В город мы вернулись затемно. Это прибавило мне смелости. Прощаясь, я подставила Федюну щеку, а Ника ухватила обеими руками за голову и поцеловала в губы.

– Это пока! – Я, кажется, удачно скаламбурила.

И тут поворот судьбы. Начался он в райцентре, у родителей Никиты.

...Почти три последних года, отправив сына в большой город, Дарья жила, сжавшись в комок, выступала в двух ролях по очереди. В приемной управляющего сидела дамой с верхней полки, подкрашенная, слегка надушенная, с тонким маникюром и приветливым говором. Дома переодевалась в длинную блузку и потертые джинсы, поспешно грела воду в летней кухне. Приносила туда чистую рубашку и полотняные бриджи для Гурия. Каждый раз встречала супруга у ворот и просила, все крепче сжимая челюсти:

– Раздевайся в подсобке, мойся и протирайся травкой, ради Бога!.. Только после – пуцу к домашним, за стол.

В комнате, особенно в спальне, смотрела, даже дышала в сторону, все чаще вздыхала.

Были короткие разговоры:

– Брось ты эту свою ферму.

– Дак интересно же. И доходно. Жить с чего-то надо...

– Найди работу без этого кизяка. Он меня преследует даже в управлении, в магазине... в постели. И вот, за столом. Ты принюхался – не слышишь...

Укор в самый корень.

Были долгие молчанки – накопидь обиды.

И вдруг Дарья тихо взбеленилась:

– Сына вырастили... Третьекурсник... Я не могу. Я еду в город. В столицу. Школьная подруга там... крутая. Поможет устроиться..

– А мы?..

– Сын вырос. Ты? Хочешь со мной, а хочешь, как хочешь. Я не могу больше терпеть твоей вони...

Гурий мог по-деревенски обложить жену матом, мог уйти к другой... Гурий не мог, он испечен из другого теста и сильно любил Дашу. Но так же сильно привязался к бычкам да коровенкам. Потому вежливо простился, уехал на своем роллере на ферму. Там у него была ночлежка для ковбоя, нашлось место и для хозяина.

Дарья и в самом деле была на пределе – уехала в Киев. У нее и впрямь была надежная подруга, которой при ее фирме нужен был надежный бухгалтер.

Полгода, почти год Гурий жил один. Топил горе в навозе. Потом, с подачи своего вечно пьяного ковбоя, – в самогоне. Осенью сдал посредникам из Одессы все рогатое и комолое поголовье. Хозяйство распалось сразу.

Землю с рощицей и строениями никто не покупал – большое село, как и райский хутор, заметно пустело.

Ник к четвертому курсу остался сам на себя. Приуныл, сжался внутренне, а мне казалось, и внешне. И стал сторониться меня. Женский гонор требовал от меня терпения. Я снова ждала. И узнавала про парня такое, что подсказывало: стыдится он не своей вдруг свалившейся бедности, а чего-то подспудного, может, самого себя, своих замыслов. Только об этом я догадалась позже.

К началу занятий на четвертом курсе он явился в общежитие неделей раньше других. Достал ключи от комнат, где должны поселиться первокурсники и девушки всех факультетов. Собрал прикроватные тумбочки и занес в свою комнату. Выдраил их, починил. А когда появились студенты, на правах мнимого старосты общаги выдавал к каждой койке, но! Тумбочка – бесплатно, а вот ремонт ее и доставка да установка – пятьдесят наших дешевых гривен. Я была огорошена, не шулерство ли? Хотела вмешаться. Но в голове у меня затормози-

лось: я ведь очарована этим мальчишкой, приписывала ему все возможные человеческие достоинства. Неужели я заблуждалась?

Дальше – больше. Второкурсники, а потом и старшие студенты, у кого остались с весны «хвосты», втихую встречались с Ником и передавали взятки для педагогов. Вместе с зачетками. Известный Федюн, уезжая на работу (не знаю куда), оставил Нику свои широкие полномочия – тайные связи с лекторами. Да-а!..

Переломив себя, я дождалась случая и в темном скверике нагнала Никиту.

– Я не спрашиваю, почему ты меня забыл. Разочаровался, тут ничего не поделаешь... Но каким неблагоприятным промыслом ты занялся?

Парень не спрашивал, каким это промыслом, не выкручивался. Ответил сразу:

– Я не привык жить без копейки. И потом, не я, так другой займется тем же. Система...

– Ник, я тебя умоляю, брось!

– Да ладно. Ты не кручинься, я тебя не опозорю. Я ведь все равно перевожусь в Киев.

– В Киев?.. Как?..

– Надышался провинцией. И за столом, и скоро в постели вонять буду провинцией. Это как моя мама надышалась отцовской фермой... А в столице – родимая, наши с нею запросы как-то ближе. На первых порах она меня поддержит... да и мы сами с усами... рука набита для мелких афер... умеем ловить момент...

Боже мой, Боже, как я обманулась! Первое увлечение... Впрочем, у всех первая любовь ни к чему хорошему не приводит.

Первая, даже с испытанием – несчастливая... как и у крепыша Гурия. На днях узнала, что мужик полгода носил глубоко в своей тугой груди депрессию. Внешне пытался балагурить на посторонние темы, даже напевать своим коровкам фольклор. Не запил, хуже – завербовался на Алтай – ведь десять тысяч верст. Под поселком Пышка открылась молочная ферма. Ин-

тернетом связался с владельцем, его пригласили, долго проверяли, не закодированный ли, не алкаш, не дурак ли... Вскоре назначили заведующим.

Да, большая любовь, наверное, у всех неудачная.

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ, ЛОТ!

*...не имеющий здесь пребывающего града,
и града грядущего не взывающий.*

(Писание)

На углу Садовой и Морской можно было встретиться и вчера, и сто раз до вчера – центр города. Но случилось только в это пасхальное утро, когда многое дозволено. Православные выходят из церкви и целуются с ближними, желают исполнения всяческих произволений. Родиона Трушина донимало одно: греховное желание – женщина. Но, кажется, и это ныне дозволено – Великдень, праздник ведь. И вот вполне реальный вариант – Раиса Личутина.

Короткая хроника. Близок рубеж тысячелетия, выпускной класс в далекой и заброшенной деревне. Летом Бакшала мелкая, воды на метр, а под ней – жидкого ила на полтора. Пацаны ныряли белыми, а выходили из купели неграми. Зимой одна радость: спуск с обрывистого холма – Бабы Катри, кто на чем: девчонки на салазках, ухари-парни на коньках, малыши на брюшках. Вся культура – танцы по воскресеньям и дважды на неделе кино, все это в длиннющем амбаре, перелицованном в клуб.

В сельской школе «под язык» репетировали танец «тройка». Три девятиклассницы в упряжке и одна – при вожжах; три в трепаных хитонах линялого бежевого оттенка, одна ряжена Снегурочкой. Громче всех подавала мелодию Снегурочка – Рая Личутина. Классом старше, переросток Родька сильно хотел ее. Но как подкатить? Взрослая сестра ее растила младшую в умеренном православии – семья жила сразу за церковной оградой. Дед ее, глухой долгожитель, служил звонарем и плоским лицом походил на святого, а отец, шофер и атаман деревенских водителей, слыл силачом и бывал буйным в праздники.

Только угнездившаяся в созревающем парне жажда оказалась сильнее страха побоев и позора. Он подкатывал к Райке на лужке, где сходились девочки похихикать и пощелкать семечки; норовил поднести ее верейку на полевых работах, однажды сильно ударил сверстника за то, что тот при подружках обозвал ее засранкой.

Худо-бедно, Родька и Райка стали возвращаться из школы вместе, и жила в нем одна радость – Рая Личутина, белокурая, смазливая девочка всего одним классом ниже, но уже заметно фигуристая: волосы не заплетает, грудки топорщит, ступает по битым в сушь и скользким в дождь дорожкам продуманно, зная, что кто-нибудь да смотрит в ее сторону. Родька Трушин написал ей на страничке в клетку, мол, что ты ходишь павой, смотришь выше моей головы, зазнайство не к лицу деревенской девчонке... Не ждал ответа, но на втором же уроке получил через руки одноклассницы свою страничку в клетку. Хотел не разворачивать, так и выбросить. Но рассмотрел. Находчивая, шельма! Сама писать не стала, сделала правки в его тексте синим карандашом: все обращения в женском роде переделала на мужской род, так же согласовала падежи и все другое. Получалось, что это он ходит павлином, смотрит выше ее головы и что зазнайство не к лицу деревенскому парню. Такая выходка доконала Родьку: не только красивая, но и умная эта Райка Личутина!

Сегодня.

Р о д и о н . Ну, Раиса Алексеевна, вы вся из себя!

Р а и с а . А вы, Родион Алексеевич, ходите с теми же пунцовыми губами, что и в молодости!

Р о д и о н . Да, тридцать лет – это уже «с базара».

И быстро-быстро думал мужик: надо с ходу, а то заболтаешь ситуацию, еще всплывут комплексы, откуда ни возьмись, придет скромность, и – момент упущен.

Р о д и о н . Зайдем ко мне, я тут рядом, за святым местом...

Р а и с а . Неудобно. Супруга ведь?..

Р о д и о н . Один, аки перст указующий. Это тебе следует оглядываться.

Р а и с а . Рада бы, не на кого.

Р о д и о н . Если ты, подобно чеховской Акулине, скажешь: я жила только с вами, больше ни с кем – не поверю.

Р а и с а . А если ты скажешь, что десять лет искал только меня, я поверю.

Р о д и о н . Да пусть это будет твоя последняя неправда! Стены моей каморки краснеют от лжи. А я недавно поменял обои на голубые.

На втором этаже хрущевки – однокомнатная хижина с пятиметровой кухней.

В прихожей было тесно двум вертикально стоящим, валялся мусульманский коврик – тут приличествует снимать обувь, как перед храмом. Комнатка на первый взгляд вызывает слабое «ах»: пол покрыт двумя сшитыми матами и сверху, на все шестнадцать метров, дешевым турецким ковром. На затененной стенке, на уровне головы, – лихо принайтован телевизор, на подоконнике две раскрытые книги и полупустой стакан с запахом малины. В углу, прямо на полу, – икона Божьей Матери.

Р о д и о н . Образ уникальный, имя ему – Взыскивание погибших. Оригинал.

Р а и с а . И это все?

Р о д и о н . А что еще нужно для счастья?

Р а и с а . Ну, хотя бы укрыться в зиму.

Р о д и о н . На балконе проветривается шкура из старого топтыги и плед из дюжины кроликов.

Р а и с а . Питание, понятно, на кухне. А лучшая твоя половина?

Надо шутить дальше, да так, чтобы в сказанном была только доля шутки.

Р о д и о н . Так вот же она!

Он ткнул пальцем между ее грудок. Не сговариваясь, пошаркали босыми ступнями на кухню.

Р о д и о н . Тут все, что надо: газовая печка, холодильник, раковина с немытой посудой, две пустые пивные бутылки, обе схваченные паутиной. Даже мухобойка и карманный пылесос.

Возникла пушистая смешинка, разделилась на две и попала в рот обоим: хихикали на всякую пустяшную реплику, то он, то она, то вместе.

Р а и с а . Скромн раб Божий, чувствуется соседство храма.

Р о д и о н . Соседство уже слегка примелькалось. Лоб крещу, только когда тревога. Или к радости, вот, по случаю явления твоего народу.

Удачно сказано, даже присели от смеха.

Р о д и о н . Чай, кофе? Можно с коньячком.

Р а и с а . У тебя запасы?

Р о д и о н . Никаких. Но я сбегаю.

Р а и с а . Ограничимся чаем.

Р о д и о н . Так и заварки нет.

Ну, тут уже смех полился праздничный.

Р а и с а . Только не оглядывайся, Лот!

Р о д и о н . Не будем, так и досмеемся до конца.

Вопреки ожиданию, в жестянке оказалась ложка зеленой китайской трухи, а в сахарнице – наш, голованевский, рафинад. Можно было сидеть друг против друга, беззвучно прихлебывать, всматриваться и узнавать друг друга от гребенки до пят.

Р о д и о н . Чем кормишься, Рая?

Р а и с а . Сейчас придумую, как объяснить.

Р о д и о н . Напоминаю: мои стены имеют свойство краснеть.

Р а и с а (*после паузы*). Теперь распространилась новая профессия: реализатор. В моем случае, наверное, реализаторша.

Р о д и о н . Где-то рядом магазин, если встретились тут?

Р а и с а . Перехожу из рук в руки. Рыба ищет, где глубже...

А ты, если уж заполнять анкеты?

Р о д и о н . Служил правительственной партии.

Р а и с а . В деятелях, поди?

Р о д и о н . Сошка. Перекладываю, клею, сжигаю бумагу.

Р а и с а . Из этого безделья выгорела квартира в городе?

Р о д и о н . Иногда придумываю тексты для тупых боссов. А при счастливой мысли – «мэссиджи» и даже направления мысли. За эти трюки недоученные начальники хорошо платят. Вернее, раньше хорошо платили, когда при власти. Теперь нужда в моих выходах отпала.

Р а и с а . Кошки под тельняшкой не скребут?

Последнего вопроса Трушин не слышал, он уплыл в далекую десятилетнюю давность. Она взгляделась в помутневшие глаза некогда обожаемого мужчинки и тоже отключилась.

Хроника.

На леваде Родьку достали бутсом в пах. Заезжий хирург в райцентре заштопал ему плевую под кожей – и через неделю выпускник был на ногах. Однако парню захотелось покрасоваться больным. Придумал наголо побрить голову и походить, держа руку в кармане, как бы зажимая рану. Раю это тронуло, девушка поджидала Родьку после уроков и провожала до дома, там и начали целоваться. Стоя в тени вишняка, сгорали от прикосновений рук и губ, шарили друг по дружке бесстыдно. Месяц спустя, в уже опавшем, но еще сухом палисаднике, свалились, это было двадцать третьего октября в десять вечера, – она на спину, он на нее. Парень полез девочке под юбку, стаскивал ее короткие, уже местами влажные штанишки. Она не прогибалась, не корчила из себя недотрогу, даже не стонала и не ойкала. Она совсем не дышала, только донельзя вытянула руки за голову, нащупала сухую веточку, с треском ломала и дробила, дробила ее в одеревенелых пальцах, потом тащила в рот и кусала.

Сегодня.

Она так же бессознательно упала на турецкий ковер, закинула руки за голову, искала, нащупывала сухую ветку. Ветки не было, тогда она ногтями впиалась в волокнистую ткань и выдергивала по миллиметру ворсинки. В ней сегодня было много нового. Ее ласковое дыхание в такт его движениям, ее встречные толчки, желанные и неожиданные, горячая дрожь и живой, радостный плач, тихий, мелодичный и милосердный. Ему тоже захотелось плакать. Это счастье.

Хроника. После выпускных экзаменов они расстались просто. Он со второй попытки сдал экзамены в Николаев, в кораблестроительный, – была большая надежда устроиться на крупном заводе и никогда не возвращаться в запустение села, в болото Бакшалы, к обноскам и вечному недоеданию. Раю, после неудачи в Одессе, родители увезли в Кировоград: там была пробивная тетя, которая обещала, не с первой, так со второй-третьей попытки, пристроить девушку в университет. Проща-

лись в глухой лесополосе, извалялись в августовской травяной и цветочной пыли, облепились колючками верблюжьей травы и репейника – не чувствовали боли и печали. Впереди подъем по мраморным ступенькам – в люди. Что было в прошлом – знаем, что ожидает в будущем – узнаем, хуже не станет!

Институты закончили.

Сегодня... кто они сегодня? Оба поняли, что жизнь – это не то, что ты задумал, и совсем не то, что ты проживаешь; но то, что сложилось по воле рока, и то, что творит с тобой общий коловорот бытия.

Посидели голенькие на матах, перешли на кухню, допили чай. Этого было достаточно, чтобы рассмотреть ее пересохший, сбитый маникюр и длинные заусеницы, прожилки на натруженных кистях: подкрашенные через один и забытые ногти на ногах. Самое жуткое: от ее великолепного тела отдавало кислотатым крестьянским потом, а еще – хронической усталостью.

Расставались замедленно, с тягучей любезностью, чтобы скрыть поспешность, попытку не замечать еще многие детали своего теперешнего прозябания в городе.

– Ты заходи иногда, Раечка.

– Да как-то выберу время, Родик.

Она не сказала ему, что уже неделю ищет угол для проживания на окраине города, чтобы подешевле, и меняет хозяина магазинчика, липкого и липучего прилипалу, ищет поговорчивей да без приставаний, как этот – в подсобке, грубо, жирными лапищами в пыли и ворсе, по самым сокровенным долькам тела... Не сказала, что уже эту ночь ей негде переспать.

Он не сказал ей, что его донедавна правящая партия изгнана в оппозицию, приработки чувствительно сократились, а если сказать так, чтобы не краснели стены, – исчезли, местный босс намекает на сокращение штата и смотрит на Трушина поверх головы – начнут с него...

Они не обменялись номерами мобильных телефонов – если у Раисы вообще была мобилка, не переспросили адреса...

Только потом-потом, в легком забытии полуночи, в эротическом полусне, Родион сознавал, что лучшие мгновения его жизни были не в дни, когда он придумывал удачные «мэссид-

жи» и получал крупные «уе». Даже не во время даровых поездок за рубеж и посещения продажных красавиц... Но только в те недолгие часы, те мгновения во всей его биографии – с Раисой Личутиной, наивной, целенаправленной и самоотверженной самочкой. Понимал и тут же изживал в себе это понимание – не складывалась жизнь для такого счастья.

Не оглядывайся, Лот!

Раиса же однажды на вопрос товарки по прилавку, кто ей больше всех нравится из знаменитых киноартистов, вдруг ответила:

– Родька Трушин.

Не оглядывайся, Лот, погибнешь!

И все-таки она оглянулась. Трижды топталась у церкви на Садовой – все надеясь перехватить Родиона. Повела себя хитро: узрев его походку из-за забора, отвернулась и пошла впереди по его дорожке.

– Эй! – крикнул он, захрипев от внезапности. – Дамочка, вы у нас причащались-исповедались?

– Ой, снова ты? – Рая даже оступилась от неожиданности, артистка.

...Шагнули на его обжитые маты. Выпили запасы вина, повторили знакомый акт, впитывая друг друга и выдергивая бахрому из коврика. После шумных вздохов и дурковатых смешков Родион вдруг сказал:

– Ты побудешь у меня месячишко, а? Что-то одиночество достает, запью...

Она ударилась взглядом о потолок, еще хохотнула, по инерции, подсчитала вслух:

– Сегодня двадцать девятое июня. Месячишко... Ладно, хоть Божью Матерь в красном углу прикреплю.

Местные политики затеяли новую грызню, Трушину пришлось заседать и орать до хрипоты в штабах, в мозговых атаках. Потом возить «уе» в районы – средства на оплату яростным сторонникам его партии. Только все усилия его были направлены не на победу идиота от верхушки его партии, но к тому, чтобы поскорее избавиться от трудов на чужого дядю и оказаться на своих матах, рядом с Раисой. К тем забавам, что

принято называть политикой, даже к заработкам, – он потерял интерес. Его занимала странная землячка. Голенькой она могла конкурировать с победительницами конкурсов красоты. Слетали с нее бедные уборы – оставалась богатая натура. Отдавалась она истово, с напевами и пританцовкой – стоя... опускаясь на колени... перекатываясь от стенки к стенке... с неженской силой сжимая его всеми четырьмя точеными конечностями... потом вдруг исчезая и появляясь с другой стороны. Чудом угадывала его желания за миг до их возникновения...

И все же это у Раи было не главное. Интересна она была в обиходе.

Ночь, за окном пустился упругий ливень; ветками бьет в стекла, угрожающе шумит, озаряет комнату частыми молниями, в форточку дышит осенним холодом. Вздремнувший в углу спальни Родион просыпается от глухого речитатива. Приоткрывает один глаз: Раиса стоит в полушаге от окна, обнаженной спиной к нему, и сама себе красиво нашептывает:

– Степь кругом, ни души, ни зги. Я оставлена на самой середине мира. Вдруг – воробьиная ночь, синие молнии, сухие разряды. Мне страшно, страшно! В какую сторону бежать, где укрыться? За что на меня такое?..

Родион приподнимается, неслышно подходит к женщине со спины, почему-то робея, кладет ладонь на ее плечо:

– Укроемся вместе...

– Отойди! – вдруг обидно чужим, низким голосом обрывает его Раиса. Плечо ее стряхивает теплую руку Родиона, он даже отступает.

– Чокнулась, что ли?

Она не оглядывается, широкими глазами бросается за окно и шепчет, шепчет:

– Сотня, тысяча, миллион – под кровом, сытые, обласканные... Но одна – в степи, брошенная и голодная. Это я. Жуткое одиночество, холод, вечность... Так в степи возникают каменные бабы...

Родион не дурак и к тому же довольно безразличен к чужим закидонам. Свалился на свой мат, уснул. Утром не вспомнил о ночных гастролях партнерши. Сразу вскочил и пошел на

кухню. Ан, не первым он проснулся. Рая уже похозяйничала: бутерброды на столе, кофе в термосе. А сама невинно досыпает, поновляет ночные траты.

Субботний вечер. Включен телевизор на стене, хозяин развалился после трудов праведных, смотрит все подряд. Раиса как-то демонстративно уходит на кухню, потом в ванную и снова на кухню, до обидного долго копается там. Он жаждет женщину рядом, даже выглянул:

– Ты что?

– А я не люблю телевизор!

Однако в двадцать один час Родион уличил ее:

– А вот смотришь и даже улыбаешься.

– Это «Хит-парад живой природы». Снято скрытой камерой.

– Зверушек любишь?

– В моем обиходе сильно не хватает правды. А тут – душу отвожу.

– Странно! Про мохнатых и пернатых – подай. А про людей?

– Про людей... Одно и то же, одно и то же. И все – фальшь.

– В церкви тоже одно и то же.

– Не позволяй себе говорить такое. Есть каноны, а есть трафарет. Первое – истина, от святости, а второе – от лени ума. Не люблю!

– А что ты, кроме зверушек, любишь?

– То, что могу сама...

– А что ты можешь сама?

Уже не первый раз злой нерв пробегает по ее лицу:

– Интересно, хоть один чудака на этом свете знает, какая собака в нем зарыта?

Сказано просто, однако сразу не поймешь.

Как-то под вечер Раиса протирала полы на кухне. Родион подпер створку двери плечом и рассматривал ее обтянутый плавками и выступавший из-под стола упругий задок. Из-под столешницы послышался ночной ее речитатив:

*Летят года, как снег, как дым,
в безумном Броуна движении –
ты остаешься молодым
в моем больном воображении.*

Он прыснул смешком:

– Эй, там, под столом! Девушка, это ваши стихи?

Она вывернулась к середине кухни и села на скамеечку:

– Разве это стихи?

– А то!

– Я и не знала.

– А что ты знаешь?

Смятение и растерянность расхаживали по ее румяному лицу:

– Пожалуй, я, как и все, ничего не знаю.

На такой мелочный вопрос столько энергии отдавать!

В душное воскресение после домашнего симпозиума, что по латыни означает: после обильного возлияния и приятия пищи, возлежание в кругу гетер, – Трушин возлежал не в кругу, но рядом с одной, стоящей многих. На тех же покрытых коврикком матах. Руки и ноги раскинуты, дыхание раскочанено, воля вольная, хочешь – протяни руку и накроешь пышную, даже жесткую растительность на милом лобке пылающей женщины. Все до того хорошо, что в голову полезли печальные мысли. Родион почувствовал вину перед Раисой.

– Эй, там, на борту, вы еще живы?

– Как никогда, кэп!

– Я задумался... Скучно я обустроил твои вакации. Десять часов по будням ты при своей лавке. У меня ты стряпаешь, убираешься, крупные и мелкие постирушки устраиваешь. Отдых тоже в трудах... любви. А не сходить ли нам куда-нибудь?

– Куда?

– В театр.

– Не хочу.

– Ты просто не знаешь, что это такое.

– Знаю. Была... трижды. Приукрашенные подстарки выходят под фонари и громко, для людей с дефектом слуха, произносят молодые слова, сочиненные лысыми, забывшими правду стариками. Да отобранные, придуманные мысли, чтобы не обидеть и власти, и зрителей. На подмостках царит договоренность: актеры наперед знают, что будет, в зале тоже знают все наперед, но принято взаимное уважение – хозяева и гости...

Вот так два часа уважают, а потом пять минут хлопают в ладоши. Ладушки-ладушки!

Родион принялся хохотать, Раиса примолкла.

– Девушка, телевизор тебе претит, театр ты не признаешь, книжки читать, при твоих трудах, некогда. Что же составляет твою духовную жизнь?

– Ты забыл, что я жила у храма, пока его не закрыли, что мой дедушка был церковным сторожем и звонарем, за что Бог продержал его на свете сто пять лет...

– А-а-а, в свободное время ты молишься? Но я не замечал...

– Молитва – святой акт. Лучше ночью, когда ты одна перед Богом. А стоять на юру на коленях, когда по тебе ходят, над тобой галдят... один солидарен, а другой презирает, а все вместе вносят в душу суету и сумятицу... Давай об этом не говорить. Это только мое.

– Понимаю. Но искусство? Ты же читаешь стихи про себя, целый день носишь с собой какую-нибудь мелодию, запоминаешь ситуации от классиков, добрые и дурные, учишься следовать им или отказываешься от таковых. Где-то все такое нужно набирать. С экрана, со сцены, из книжки...

– Набираю с природы. Живу. Встречаю в житейские ситуации и играю в них свою роль. Там фальшивить не удастся – сразу выбросят из житейского спектакля. А если фальшивят партнеры, я ухожу, отказываюсь от роли.

– Со мной ты тоже играешь?

– Это моя лучшая роль!

Не женщина – леший знает, кто!

Впрочем, Раисино нежелание искать развлечения объяснялось и другим. Как-то она заикнулась об отсутствии в городе и округе свободного пространства, рощ, лугов. Полуостров Богом и светлейшим князем Потемкиным был предназначен для двадцати-тридцати, ну, на худой конец, – ста тысяч обитателей. То есть на одну верфь с прочей выгодой и услугой, или, по-нынешнему – инфраструктурой. Милитаристы построили три завода и, естественно, отняли у Бога всю площадь между лиманом и рекой. Продохнуть негде, потому и на воздух не хочется. Теперь заводы развалились, а инфраструктура, эдакий

муравейник с муравьями, осталась. И совсем убедительная причина домоседства женщины: хорошо отдохнуть, с поездкой в дальние края – нет средств, а кое-как – она не желает. То есть дома с давно обжитым Родионом ей лучше.

Такое неожиданное заключение вызвало первый тихий, тут же подавленный гнев у Трушина. Маленькая серая кошка поскреблась в затылке: подумаешь, запросы у крестьянки! В болотистой, тощей деревне было комфортней, была та еще инфраструктура!

– И все же мы здесь, – вздохнул он с нарочитым облегчением, пробуя поставить точку на этакой домашней философии. – Мы осели в городе.

И напросился.

– С чем мы перекочевали в город, в эту, пусть серенькую, но уже обкатанную, притершуюся цивилизацию? С мешками, портками и опорками, с психологией хуторян, с привычкой врать и воровать? Поселяемся, где Бог и работодатель позволит, мусор выбрасываем за дом – ветерок разнесет, как в степи. Кланяемся всякому невежде, ждем от него подачки. На воле, в степи, мы зависели от природы: от родника, от пчелы, от соседа... Худо-бедно – сам себя кормишь. А тут природа исчезла: камни валяются – мостовая, битый асфальт торчит; дома затмили свет, нет сил в небо посмотреть... Боишься каждого встречного. А то надеешься – может, это твой родник и твой кормилец. И мы от ужаса сразу силится отрешиться от своей простенькой, привычной веры, от своего, пусть куцега, но понятного не только звуком, но и дыханием языка, перекочевываем на чуждый суржик – «по-руськи какось легче». Ни лица на нас, ни достоинства при нас, и тут приходится играть чужие, не интересные роли. Мы, своеобычные и талантливые люди, становимся бездарными актерами...

Раиса говорила, а Родион думал: не голая и аппетитная женщина лежит рядом с ним, а сухой и нудный законоучитель, мужик в рясе или профессорском колпаке. И что есть настоящее в этом ладно скроенном и переполненном здоровьем существом? Женщине приличествует, прежде всего, быть самкой, притом несколько недалекой и лишь достаточной для утех

самца, для домашних забот, ну, в какой-то мере – для украшения быта. Как у правоверных мусульман: проще, примитивней, подвластней. А эта? Да, она удовлетворяет всем требованиям дома: те же – стиралка, стирка, уборка... Отдается и ласкает она с восторгом и талантом. Но внутри у нее – еще большая потребность думать, рассуждать. В погонях за куском хлеба и тряпкой на задницу – где берутся у нее силы и время для философии?! С такой недолго потерять эрекцию. Тяжелый характер, и только.

Хуже то, что рядом с Раей он вдруг почувствовал себя простолудином, довольным малым и почему-то виноватым перед женщиной. Еще одна, уже крупная и черная, кошка исподволь поскребла темя Родиона. Чтобы сменить пластинку, а может, само собой, невольно, из подсознания, прошептал:

– Сегодня красивый день... Двадцать седьмое.

Слева, из-под его руки, из тихих уст Раи донеслось:

– Двадцать девятое послезавтра...

Двадцать восьмого июля, вечером, с пакетами со снедью под мышкой и едва ли не в зубах Трушин открыл дверь своей хрущевки – Раисы Личутиной не было. Вещичек ее – тоже. Не разворачивая пакеты, он сел на кухне, ждал весь вечер. Не помнит, как перешел в спальню, упал на маты, заснул. Утром проснулся – ее все нет. «Месячишко», вспомнил он, «месячишко» прошел. «Итак, все кончено», как поет классик.

* * *

Три года спустя – сообщение по радио: грабители ворвались в пригородный дом под столицей. Искали большие деньги. Допрашивали прихваченных в спальнях хозяйку, тридцати трех лет, и мальчишку – шестнадцати. Убили их. Денег не нашли. Вызванный из командировки хозяин-бизнесмен горько плакал над могилкой семьи. Дотошные журналисты нашли в бумагах покойной стихи и набор рифм к слову «Родион» – «он, огорчен, удален...»

Имя это не принадлежало ни мужу, ни его погибшему сыну от первой жены...

Позже Трушин узнал, что Рая Личутина три года назад вышла замуж за преуспевающего землевладельца с тринадцатилетним сыном. Жила под Киевом, пустилась в роскошь.

Может, сообщение об убийстве – про нее?.. Не хотелось так думать. Не думал, только песенка Раисы, с некоторой переделкой мужского-женского рода, как некогда в его первом письме к ней, сама собою повторялась:

*...ты остаешься молодой
в моем больном воображении.*

Не оглядывайся, Лот!

СОН В РУКУ

На Территории царит уныние. То, что может содержать род, заброшено; то, что дает доход, прихвачено и не требует рук смерда. Уже двадцать первый год, уже второе поколение обирают Дон и его профосы и обобранных смердов оставляют в лачугах, заменяя пищу телесную пищей неосязаемой. Навязывают сказки вместо былей, побрякушки вместо орудий труда. Сбитый с толку швец и жнец поставил перед собой малый экран и услаждается прелестными шоу. Вот они: пары в платьях на просвет вызывающе танцуют. Если вскинет партнерша ногу, то по самое нельзя, и дух у смерда улетает из рваной пазухи, а сердечко катится-катится к пяткам, даже в мошонке щекотно, как при внезапном падении. Если сгребет бравый Эскамилио свою Карменситу и швырнет к колосникам или к кулисам, то убогая кормилица в хижине зажмуривается, хватает опавшей грудью чадный дух и воспаряет к херувимам. Что-то туманное реет в голове, в сердце щемят цыпки, а душа то пламенеет, то гаснет. Потом долго болит, и нет гроша, чтобы купить снадобья и приглушить томление.

Хуже, когда, – в роскошных шатах и при забугорном декоре, – пред очи отошавших затворников всплывают обещальники. На экране «пушкинской луной на онегинском небосводе» восходит упитанный лик хозяина Территории, осьмипудового Дона... или лисья физиономия его «не туды попавшего» васса-

ла Санчо. Первый, хозяин, с отсутствующим видом и с полным безразличием к своему чтиву, набранному челядью на под-сказчик, гудит про молочные реки и кисельные берега, про меры, которые принимает его интеллект где-то там, далеко. Так далеко, что колебания раздобревшей его воли гаснут на полдороги и не доходят до смердов. Второй, профос, лепечет на суржике одни и те же псалмы, со страхом озирается на Дона.

Дон же, сам цепенея от вида творения рук своих, прячется за живым частоколом, систематизирует благоприобретенное, алкает новых приобретений... и горько ненавидит свой пипл, тот самый, от которого текут к нему неисчислимые даяния.

Уныние легло на Территорию, аки мор на люди.

И тут в крайнюю хатку столицы постучался прохожий. Праведник, без которого и граду несть стояния, тот, от которого исходит все сущее... Старый смерд окинул взглядом пришельца: нагольный хитон, босые ноги. Благообразный лик с пахнущими ладаном усами и бородкой; чистый-пречистый взгляд гостя, из-за привычного душевного оцепенения, остался смердом незамеченным, бархатный голос не слышанным. Мужик промырлил:

– Тут нечего подать.

– Я не себе просить пришел, а вам подать пришел.

– У нас давненько не видали руки дающей. Щас возьму решето, кинешь.

– Я не сухарь принес, а слово.

– О, словами мы сыты. Со словами иди на Форум, а оттуда на экран. Там тебя и разглядим.

И прогнившая, покосившаяся дверь со скрипом задвинулась. Пришелец отступился и едва не упал.

На Форуме делили шкуру едва ли не последнего медведя. Между двумя алкавшими и оттого вспотевшими трибунами – у микрофона вдруг оказался Праведник. Техника исчезла, звучал живой, бархатный голос, как с амвона:

– Я пришел к вам со словом.

В левом клиросе вскочил седовласый Емеля:

– А кто сие глаголит? Почему не по кондуиту?

– Я Иисус.

Зал распахнул общий зев. Из жевальника Емели вырвалось:

– Это который Иисус? Христос? Ни в одной партии у нас такой не баллотировался! – На почин седовласый хихикнул и вертикально махнул рукой. Левое крыло натасканно поддерживало поставленным хохотком. Пришелец возвел очи горе, переждал.

– Я пришел со словом.

– Слыхали, брат! Ты нечто существеннее можешь? Мы тут сами забавляемся словами!

– Спасти вас хочу...

Тут уже пополз смешок и по левому клиросе.

– Извини, бродяга, нас спасать – только воздух сотрясать. У нас все сбалансировано и – о'кей!

– Стоп, стоп! – подал голос премудрый, потому одинокий, пескарь. – Да пусть что-нибудь намелет, а вдруг да поможет оградиться от смерда!

Праведник со скорбящей радости улыбкой спросил:

– Вы знаете судьбу болгарского царя из кузнецов?

Оба крыла молчали; помнил царя-кузнеца один пескарь.

– Ну, из простолюдин возвели, потом сами же зарезали.

– А вы помните историю братьев Гракхов? – Это снова смиренный пришелец.

Эту историю не помнил никто, даже премудрый пескарь.

– Да что он от нас требует знаний да памяти! Для того ли мы тут собрались?!

Свято переждав гомон, Праведник сказал:

– Единомыслие и невежество не спасут Территорию. Надо избрать Главой сразу двух, да братьев-близнецов, да мудрых, аки Козьма да Демьян, Петр да Павел, Иван да Марья...

Выкрики прервали неслыханную речь:

– Тут и одного мудрого найти не удалось, а он еще двух, да братьев-близнецов!

– Это провокация! В киреев суд его!

– На вечное... без права баллотироваться!!

И этот рокот блаженно переждал Праведник.

– Есть у вас на Территории такие мудрые, да не одна пара. Скажем, братья Димитр и Виталий, мудрецы и красные летописцы.

– Го-го-го! – пошло по Форуму.

– Знаем таких! Так они же не нашего поля ягоды!

– В том их цена, – тихо, однако звучнее всех оратаев молвил Праведник.

– Знаем. Только мы на Форуме ничего не решаем! Иди к Дону!!

За семимильным забором из чугуна, за живым и при пищалях частоколом живет себе Дон... Холеный да напомаженный, персидская парча прикрывает срам, страусовые сандалии отделяют от почвы. Ест устрицы, с холопской непривычки плюется, смачно отгрыгивает в серебряный таз и снова ест заморское; закусывает суши и еще с горшим послевкусием блюет – уже в золотой унитаз. Непечатно удивлялся, что вот харч идет мимо, а холка нарастает и брюхо грузнеет. Потом, для разгрузки, по совету иноверцев, ступает с пня на пень, два-три раза, а шестеркам велено считать двадцать-тридцать раз. Потом топает вокруг бассейна, отсапывается, а шестеркам велено сообщать медиа и миру, что плавает тремя стилями одновременно...

Праведник встал перед всемогущим владельцем внезапно, так что тот со страху зажмурился и кликнул охрану.

Незваному гостю заломили руки, прошлись тренированными кулаками по голове. Только после этого Дон перестал трястись:

– Ты как тут оказался? Ты, видать, журналист из цветных? Я тебе не завидую. Сейчас тебя выбросят через семиметровый забор. Если останется душа в теле, сообщи смердам, что я так хлопочу о них, так хлопочу, что утратил радость и от бассейна, и от пней. А питаюсь только варениками да галушками. При чем пустыми.

– Я пришел спасти тебя, о, иегемон, – путая первый век нашей эры с двадцать первым, прошептал зашибленный Праведник.

– Распни его! Распни! – закричала стража.

– Распнуть успеем, – как в минуту редкого прозрения, молвил Дон. – Может, он и впрямь спасет нас от смердов... Говори, бродяга!

– Уйти тебе надо, иегемон...

– Распни его! Распни! Уйдешь ты один, иегемон, куда же мы, которых легион?!

– А зачем мне уходить? Я вот только наладился порядок наводить...

– Не будет при тебе порядка, – как-то даже ласково сказал Праведник. – Ты утратил любовь. Еще в подростках утратил. Ты не живешь по заповедям Исхода...

На лунообразном лице хозяина в кои веки забрезжила мысль. Он крикнул через голову гостя:

– Эй, Ломовой, сделай мне подборку заповедей, да не более двадцати... Прочтешь за массажем спины. – И свысока кивнул: мол, как у меня теперь служба служит?!

– Ты не боишься семи смертных грехов, – продолжал пришелец.

На слове «боишься» Дон сильно вздрогнул, а прелаты снова схватили пришельца за локти. Однако хозяин совладал с паникой и рыкнул другому служке:

– Эй, Дробила, подбери мне пару смертных грехов, прочтешь, когда будешь пятки чесать.

И вдруг посуровел, взял пришельца за лацканы:

– Ко мне приходят не поучать, а служить. Вот коли ты такой мудрый, исполни три мои желания.

Праведник смутился и молчал.

– Диктую, – сказал Дон. – Первое: усмири мой пипл. Второе: урежь его персонально. Третье: убери-ка пипл как таковой!

Пришелец ожил, даже улыбнулся:

– От тебя убраться их?.. Могу.

И Праведник разом растворился в эфире.

Дон возликовал, встряхнул своими массивными плечами, крикнул:

– Эй, Ломовой, Дробила, Шустрик, подите-ка сюда!

Никто не подошел. Взор хозяина стал свирепым:

– Эй, мордилы! Где вы? Уволю без выходного пособия!

И тем более – никого.

Дон круто взвился и потопал в замок: ни стражей, ни горничных на месте. Раскалился взгляд хозяина, раздулись щеки.

Пошел он по флигелям, игорным домам, беседкам да интимкам. Топтал клумбы, наступал на собак – человеческого лика не встречал. Самое близкое в его душе чувство – ужас – заныло и подсказало наихудшее: его оставили. Взгляд потускнел, туман заволок и покрыл сыростью и дворец, и все владения.

Посидел Дон в ужасе. Набрал один телефон – с другого конца связи не взяли трубку. Набрал другой, третий – ни привета, ни отклика. Страх совсем сковал жилы, в зобу дыханье сперло. Не понимая себя, Дон подбежал к металлической ограде – она сплошная, высокая, не выглянешь. Попытался взобраться на нее – семь метров, – не вышло.

День прожил в растерянности, ночью ждал худшего: раз свои ушли – должны прийти чужие. Никого. Потя от слабости, подумал: да хотя бы уже чужие явились... На другой день заныло под ложечкой. Поискал устриц, суши – ничего такого и в помине. Сухой корки хлеба не нашел. Дворец походил на лачугу смерда. Пробовал собственной вещью рукой состряпать хотя бы яичницу – ни яиц, ни масла не нашел. Ослабел, провонялся сухим потом. Даже помыться и переодеться не осилил.

Что же получается: сам он ничегошеньки не может? И все имение, вся роскошь, что была единственной целью его деяний, теперь ему только в тягость? Теперь грозит ему голодной и холодной смертью?!

Проломил хозяин в заборе дыру, перебрался через заполненный водою ров, не чуя себя, побежал в город.

– Спасите! – орал пока что в душе. Потом и в голос.

В городе тоже ни живой души.

Заорал во всю глотку, замахал руками, засучил ногами.

Так и проснулся.

Над головой сияли хрусталь и позолота, полог откинут, дышит ветерок из рощи, вдали перекликаются экзотические птицы и животные. Со всех сторон со всей готовностью склонилась челядь...

– Господи, коли ты все-таки есть, сделай так, чтобы сей сон да не был в руку...

Дон шептал, а челядь дивилась... Знала, что сон в руку...



О Д Е Р Ж А Н И Е

ХУДШИЙ ИЗ ПОРОКОВ	
(роман)	3
ПЬЕСЫ ИЗ ПСИХУШКИ	153
Стукач	153
Проблема – раз	197
НОВЕЛЛЫ ДНЯ	223
Тьма блаженная	223
Привкус столицы	228
Свой круг	234
Взятка... плюс	245
Что есть истина	251
Рассказ 2013 года	258
Герантофилка	267
Шальные деньги	288
Джонни из района	295
Не оглядывайся, Лот!	303
Сон в руку	316

За свои восемьдесят лет Маляров пешком прошел десять тысяч верст, выслушал десять мудрецов и тысячу глупцов Украины, России и Закавказья, прочел и перечел три-четыре сотни лучших книг... поставил две дюжины спектаклей на телевидении и дюжину – на подмостках театра... написал три тома прозы и том пьес... посадил не дерево – рощу, родил сына, получил от убогой державы «хрущевку» о две комнаты. «Худший из пороков» – останется в литературе; «Новеллы дня» – маленькие шедевры; «Пьесы из психушки» – находка для лицедеев.

Тарас КРЕМИНЬ